80 КОП.

ИНДЕКС 73274

НАШ СОВРЕМЕННИК

Наш современник, 1989, № 8, 1 – 192.

НАШ СОВРЕМЕННИК 1989 8

ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

8 · 1989

РОССИЯ — РОДИНА МОЯ



Страда. XX век. *Фото В. Алексеева.*

НАШ СОВРЕМЕННИК



ОСНОВАН А. М. ГОРЬКИМ В 1933 ГОДУ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

8 · 1989

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА», МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

Анонс «Нашего современника» на 1990 г. читайте на стр. 28.

Технический редактор **Л. Л. Ежова.** Корректоры **С. Л. Колганова, М. И. Кононова.**

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 200-24-94 (заместители главного редактора), 921-43-59 (ответственный секретарь), 931-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-76 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 928-32-16 (международный отдел), 200-24-32 (технический редактор), 200-23-54 (корректоры), 200-24-12 (зав. редакцией)

Сдано в набор 12.05.89 г. Подписано к печати 03.08.89. А 02975
Формат 70×108 1/16. Бумага типографская № 2 Печать высокая.
Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 21,85 Тираж 250000 экз. Заказ 1263
Цена 80 коп.

Издательство «Литературная газета», 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография газеты «Красная звезда»,
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Иван КОРНИЛОВ

ГЛОТОК ПОСЛЕ ЖАЖДЫ

ХРОНИКА ОРОШЕНИЯ САРАТОВСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ НЕ В ЦИФРАХ, А В СУДЬБАХ

Сейчас полностью пересматривается вопрос о мелиорации в сельском хозяйстве. Долгие годы существовавшая система приводила к огромным затратам, не принося желаемых результатов, а во многом наносила вред природе... Что касается объектов строительства, то здесь заказчиками должны выступать колхозы, совхозы и союзные республики, то есть те, кто лучше знает, что требуется земле.

Из выступления **Н. И. РЫЖКОВА** на Съезде народных депутатов СССР 7 июня 1989 года.

ПОЧЕМУ не в цифрах? Да потому что из меня и моего поколения очень долго, целенаправленно, а порой, кажется, даже и преднамеренно веру в цифру выколачивали. И своего добились. Я и нынче, во времена демократии и гласности, часто ловлю себя на том, что к цифре, особенно «официальной», отношусь настороженно, с большим недоверием.

Как это делалось? Элементарно. Вот вам одно, самое заурядное, но, по-моему, в то же время и очень убедительное тому подтверждение. Обыкновенный, ничем не примечательный избирательный участок, идут выборы в депутаты местного Совета. Мне еще нет и тридцати, я — член избирательной комиссии. Вечерест, а избирателей так много еще не явилось... Те, кто помоложе, начинают беспокоиться об их гражданском, как тогда говорилось, долге. И только пожилой председатель избирательной комиссии, послуживший уже и в райкоме партии и в райисполкоме, был абсолютно невозмутим и даже весел. Причина его оптимизма открылась несколько позже, когда пришел час подсчитывать голоса. На избирательный участок в тот солнечный день явилось, согласно спискам, лишь три четверти взрослого населения. Конфуз? Неизбежный разнос со строгачом в придачу? Ничуть не бывало! Посмеиваясь и напевая бодренький мотивчик, наш председатель открывает тумбочку, выгружает на стол гору «запасных» бюллетеней. Отчитались «не хуже людей» — 99,98 процента...

Если верить цифре, то в те годы, когда партийную организацию Саратовской области возглавлял А. И. Шибаев, по производству важнейших продуктов питания она неизменно шагала в гору, и только в гору. Об этом не забывали напомнить почти на каждом партийно-хозяйственном активе, это подхватывалось и прославлялось местной прессой. Но вот у руля области встал В. К. Гусев и в первом же своем докладе — опираясь опять-таки на цифры — убедительно показал, что сельское хозяйство нашей области много лет топчется на месте, а по производству мяса мы даже сильно «сдали»...

А сколько изведали мы «липы» местного, районного масштаба! И сколько всесоюзной, о которой если не знали наверняка, то догады-

вались — по полупустым прилавкам и все удлиняющимся очередям в магазинах.

И последнее. Я заметил, что цифра вообще нынче как-то уже перестала впечатлять, тревожить. Появляется статья в газете или журнале, приводятся порой прямо-таки «убийственные» цифры, характеризующие убытки, которые несет государство по вине конкретных лиц, а потом глядь-поглядь, разбитое в пух и прах ведомство на эти цифры никак не отреагировало, а виновники всех этих безобразий как вытворяли «чудеса», так и вытворяют. И уж совсем удивительно: почему-то во всей стране не находится сил, чтоб это ведомство или бюрократа «поправить»...

Вот почему человеческая судьба представляется мне надежнее и нагляднее любой цифры. Вот почему обращаюсь я не к цифре, а к судьбам людей.

Итак...

ГОД 1975-й. РАССКАЗ А. Я. ЗИМИНА

В домашнем моем архиве много лет хранится не знаю уж от кого оставшаяся реликвия. Уникальный, исполненный аккуратным, «бисерным» почерком документ — таблица урожайности основных для нашей зоны культур с далекого 1890 года. С пятидесятых годов эту таблицу заполняю и поражаюсь убийственной, будто самой природой заданной цикличностью урожайности — почти фатальной. Так, самые хлебные сезоны почему-то чаще всего выпадают на годы, оканчивающиеся «восьмеркой». Например, 1908 год, 1958-й, 1978-й. А недороды — можно проверить — любят годы с «единичкой» в конце: 1891-й, 1911-й. Ужасный голод 1921 года. Сухие лета 1951-го и 1981-го. Изредка большой урожай с восьмерки может «перебежать» на семерку, как это случилось в 1937 году, а недород с единички переползет на соседнюю двойку— небывалая сушь 1972 года. Но это — исключения. А в целом хлебные и неурожайные годы, повторяю, чередуются с какой-то непонятной закономерностью.

Сознаю, что все эти «подсчеты на счетах» могут вызвать саркастическую усмешку у специалистов сельского хозяйства, но фатальная периодичность недородов угнетает. О них и речь, потому что недородов в нашей зоне рискованного земледелия гораздо больше, чем урожайных лет. Что случается с природой, какие срабатывают в ней силы, но настал «нечетный» год, и хоть ты испашись-изборонуйся, хоть сделай землю-матушку пух пухом и закорми ее удобрениями, не собрать тебе и тех пяти мешков зерна с гектара, которые по весне ты вбухал в почву семенами. Причем такая закономерность существует и при дедовской сохе, и при нынешних мощных «алтайцах» да «кировцах». Удивительно? Нет. В такие годы над всем Нижним Заволжьем словно бы устанавливается гигантский столб жары, который отталкивает от себя все способные принести сюда дожди циклоны, все ветры и влажные воздушные течения. По соседнему обдонью льют дожди, а у нас — пекло. Хотя бы капелька с неба за все лето упала... Не лучше, когда в июне завернет вдруг горячий, будто из-под самого солнца, ветер. У нас его в одних местах «афганцем» зовут, в других — «киргизом». Но всего понятнее — суховей. Самый беспощадный враг хлебороба. Даже если в мае и прошел дождь, но явился «афганец», считай, все твои старания — насмарку: в два дня «осадит» своим горячим дыханием и без того низенькие ячмени, а стебель пшеницы, вчера еще зеленый, скрутит в бледную трубочку...

Одним словом: зона рискованного земледелия. Точнее не скажешь. Не нами, не в наши дни дано нашему краю это определение. Его можно встретить в научных трудах известного почвоведа В. В. Докучаева.

Недород. Засуха. Бесхлебный год. И хотя они наведываются в наши края все чаще и чаще, привыкнуть к ним, как ко всякой беде, невозможно. В сельском хозяйстве, известно, все взаимосвязано: не вышел урожай зерновых — хозяйство осталось без соломы. А без грубых кормов как быть в животноводстве?

Так что же, сдаваться на милость слепой стихии? Нет и еще раз нет. Вот наше село, например, издавна славится своим колхозным огородом. Клин земли по масштабам здешних хозяйств небольшой — всего семьдесят три гектара в пойме реки Большой Иргиз. Капуста. Помидоры. Огурцы. Иной год может сложиться поудачней, иной — послабее, но — гарантия: без огурца и помидора не останешься никогда. Ни один даже самый жестокий «афганец» не способен оспорить силу воды, животворное влияние влаги на растения. Сколько помню, все годы берем с этой плантации вполне приличные урожаи: и своих колхозников обеспечиваем овощами сполна да еще и соседей частенько выручаем.

Помню, лет двадцать назад по нашей Саратовской области пошла молва о чудесах большого орошения. Решили попытать счастья и мы. Все условия у нас для этого. Поля накатистые, ровные, часть из них омывает Большой Иргиз — речка глубокая, полноводная. Запала думка в голову: отвести этак триста-четыреста гектаров под полив, сей по ним кукурузу да люцерну — и не боли душа за колхозный скот: урожай будет гарантирован.

Саратов для нас не близкий свет — триста с лишним километров, но я не поленился — поехал, разыскал институт Гипроводхоз и честь по чести заказал им проект на орошение нашей колхозной земли. Однако проходит год, минует другой и третий, мы о себе напоминаем и письмами и телефонными звонками, но институт помалкивает. А тут к нам в колхоз по чистой случайности заглянул А. И. Шибаев, работавший в то время первым секретарем Саратовского обкома партии. Ехал он в соседний Ивантеевский район, а наша Большая Таволожка лежит как раз на самом большаке, вот высокий гость и сделал у нас остановку. Я, конечно, и воспользовался моментом, попросил его «подтолкнуть» товарищей из проектного института.

Помогло, сработало без осечки! Вот он и проект на орошение без малого шестисот гектаров земли. Правда, межхозяйственный. Отчего межхозяйственный? Да оттого, что поля нашего колхоза и соседнего — имени XXII съезда КПСС — одна и та же равнина, разделенная всего лишь проселочной дорогой.

И дело пошло. На берегу выросла подстанция, а строители начали копать траншею. Завезли немного труб. Строители, хорошо это помню, тем летом очень спешили: в газетах постоянно мелькала двузначная цифра — столько гектаров орошаемой земли Средневолговодстрой обещал «подарить» земледельцам к открытию очередного партийного съезда. (Средневолговодстрой в этих заметках будет упоминаться еще не раз, и давайте для краткости условимся называть его водным Главком. — И. К.)

Однажды, как сегодня это вижу, где-то около десяти утра заходит в мой кабинет человек средних лет, здоровается и представляется: «Заместитель начальника водного Главка Макрушин». Приехал организовать работы по приему орошаемого участка.

Я посмотрел в лицо гостя внимательно и попытался понять: шутит? Нет, вроде бы не шутит. Но о чем же тогда речь? Труб, например, нам надо проложить восемь километров, а их завезено всего метров четыреста, насосов нет, дождевальной машины — ни одной... Понятное дело, говорю: «Извините, никакого акта подписывать я не стану». — «А ты решение облисполкома получил?» — припугнул меня Макрушин. Нет, говорю, никакого решения в глаза не видел. Гость достает из желтой папки бумагу. «На, ознакомься». Читаю. Так называемый «проект согласования» о вводе орошаемых земель по временной схеме. «Э, нет, говорю, это не решение, а филькина грамота. Она никого ни к чему не

обязывает. Подписывать не стану». Макрушин сердито сощурил глаза и решительно стукнул по столу костяшками пальцев: «А мы тебя заставим!»

В то время человеком был я довольно молодым и потому невозмутимым, а тут, чую, меня начинает злить, но сдерживаю себя, креплюсь. Демонстративно бросаю взгляд на свои наручные часы и говорю: «Ого, скоро одиннадцать, а я еще не завтракал. Пора перекусить», — и со второго этажа двинулся на первый. Непрошеный гость — за мной. «Извини, погорячился. Давай говорить в ином тоне». Что ж, крестьяне — люди не гордые, я вернулся в свой кабинет. «Так и быть, — говорит Макрушин, — поставим тебе пять движков, один у самой воды, а четыре — цепочкой наверху, они создадут давление, и дождевальные машины у тебя пойдут».

И точно. Расторопный Макрушин привез вскоре двигатели и вместе с ними добрый десяток мужиков с портфелями и папками — рабочую комиссию. И они подсовывают мне под руку бумагу: акт приемки подписывай! Но разве можно подписывать, если дождевальных машин я еще в глаза не видел? Нет, говорю, дорогие товарищи, я подожду, когда вы включите моторы и дождевальные машины, мы создадим свою рабочую комиссию — из колхозников, — вот тогда и поведем разговор о приемке орошаемого участка. Но они окружили меня, наперебой требуют своего и для пущей важности здесь же, у меня на глазах, ставят на акте свои подписи. Что ж, расписываться так расписываться: подвинул я к себе их бумагу и пониже всех их подписей сделал свою приписку: «Орошаемый участок к эксплуатации не готов. От приема его отказываюсь». И вот тут-то я расписался — да как можно разборчивей.

Мужики уставились на меня как на инопланетянина, молчат. А Макрушин и говорит: «Ладно. К концу сентября доведем дело до ума, и тогда уж приемка окончательная... То есть государственная комиссия».

Через два дня первый секретарь Пугачевского райкома партии Федоров приглашает меня в райком и один на один начинает уговаривать: «Надо бы, Александр Яковлевич, подписать»...

Позиция секретаря райкома меня огорчила. Партийные работники, совесть народа, комиссары! Они по долгу службы своей обязаны стоять на страже справедливости, бороться за чистоту дел и помыслов людей. Тогда еще не было известно ни «узбекского», ни «краснодарского», ни прочих нашумевших дел. Разумеется, я знал, что первый секретарь нашего райкома и начальник водного Главка Кузнецов — сваты, но не придавал этому никакого значения: родственные отношения — одно, и совсем другое— служебные. «Как же так, — в полном недоумении возражал я Александру Васильевичу, — если наш колхоз «Россия» продал, к примеру, сотню тонн пшеницы, никто же не зачтет нам двухсот!.. С какой такой стати подпишу я акт приемки якобы уже готового участка, если там не сделано и трети необходимых работ?» — «Подпиши, Яковлевич, не упрямься. Они обещают доделать... Немного попозже». — «А вдруг подведут? Как я своим колхозникам в глаза глядеть буду?.. Нет, не уговаривайте меня, на сделку с совестью не пойду».

Затем меня вызвали на бюро райкома, потом — еще раз. «Песня» одна и та же: советовали подписать акт, не упрямиться. Я же стоял на своем: «Когда мелиораторы доведут дело до ума, тогда я и подпишу».

Такая вот канитель тянулась с августа и аж по самый декабрь. Рабочие бригады водного Главка по-прежнему ничего существенного не делали, а вот акт приемки подписать склоняли меня любой ценой.

Тем временем всех председателей колхозов и совхозных директоров пригласили на семинар в Давыдовку. Тамошний председатель А. И. Гузев, по диплому инженер и человек дотошный, пустил в дело

кормоцех, а в то время это было новинкой, и мы приехали посмотреть агрегат в действии, поучиться. Семинар вел второй секретарь райкома партии М. И. Носачев. Вдруг Михаила Ивановича вызывают к телефону. Вернулся он взволнованный, тотчас отозвал меня и председателя колхоза-соседа имени XXII съезда КПСС Небалуева в сторонку и говорит: «Государственная комиссия нагрянула. На вертолете. Сейчас будет бой быков».

Едем из Давыдовки в наш райцентр — город Пугачев, я и говорю Небалуеву: «Сам я акта ни за что не подпишу. Прошу тебя: не подписывай и ты». Решил заручиться его поддержкой, потому что догадывался, каким сильным будет на нас нажим «сверху», и понимал, что двоим нам держаться будет легче. Я сказал Небалуеву, что бояться ему нечего, председатель он молодой, только-только принял колхоз, так что снять его с работы не снимут. Тем более что в его хозяйстве мелиораторы не сделали ровным счетом ничего... Небалуев заверил меня, что никакого акта он не подпишет. У меня на душе полегчало.

Народу в кабинете второго секретаря было человек пятнадцать-семнадцать. Люди в основном все незнакомые. Председателем государственной комиссии был некто Безверхов. «Мы приехали принимать орошаемые участки», — заявил он нам с ходу. Тут я, как старший по возрасту, задаю встречный вопрос: «А что принимать? У нас в «России» участок не готов и на треть, а на полях соседа моего и конь не валялся».

Начался на нас нажим со всех сторон. Уговаривали. Обещали. Грозили. Смотрел я, слушал и ни глазам, ни ушам своим не верил: да мои ли это современники? Да коммунисты ли это? Все при портфелях и папочках, все ходят в начальниках, все с партийными билетами в карманах, а ведут себя... Прямо-таки настоящая мафия! Какая сила понуждает этих разгоряченных чиновников так рьяно идти на заведомый подлог? Какие цели преследуют они и чьи интересы отстаивают? А если вдруг возьму да подпишу этот злополучный акт приемки, где-то в другом крае, области подпишет кто-то другой и третий? И что же от такой вот «солидарности» в итоге все мы, наша страна, будем иметь? А ничего, дутую цифру! Чистейшей воды «липу» и приписки...

Цели, оказывается, преследовались. Исключительно всеми, в этом кабинете присутствующими. И узковедомственные и кое-какие другие. Целое лето «обрабатывая» меня то поодиночке, то группой, каждый в перспективе имел для себя определенную корысть. Позже, почти через год, я узнал, что Саратовский водный Главк отметят орденом, а наиболее усердные его работники получат звание «Заслуженный мелиоратор РСФСР», ордена и медали, огребут приличную сумму премиальных...

Первый секретарь Пугачевского райкома партии Федоров «подыгрывал» областным верхам тоже не из бескорыстных побуждений — впоследствии его рвение будет оценено по высокой шкале: из провинциального городка его переведут работать в областной город.

Но самый солидный кус от пирога удачи отхватит тот, кто обрабатывал меня всех сильнее, — Макрушин. Много лет спустя я прочту о нем в саратовской областной газете «Коммунист»: «Строительство курировал первый заместитель начальника Главсредневолговодстроя В. Макрушин, человек, известный своей энергией, эрудицией и умением всучить заказчику дом не только без крыши, но даже без этажей... Владимир Александрович жаждал успеха и славы. Он преуспел в этом... Наверх полетели рапорты, а вслед и сам Макрушин — на давно облюбованное место в министерстве»... Вот так-то: этот метил сразу в Москву, в стольный город!

Но это я узнаю потом, а пока мы с Небалуевым, со всех сторон окруженные напирающими на нас, возбужденно выкрикивающими или приторно улыбающимися, выдерживали мощную осаду.

Небалуев сопротивлялся ровно три часа, потом вдруг схватил авторучку и со словами: «Да подавитесь вы своими гектарами, только отстаньте!» — размашисто подписал акт: все, мол, участок у меня готов! И пряча от меня глаза, удалился...

Меня держали еще час. И акт почти под самое лицо подсовывали, и авторучку готовы были в пальцы затолкнуть, но я предупредил: «На меня не тратьтесь! И рук мне не выкручивайте! Хоть из пистолета, хоть из автомата стреляйте, липы вашей не подпишу».

Тогда взмолился председатель комиссии: «Да пощади ты нас, Александр Яковлевич! Мы ведь на вертолете прилетели. Каждый час обходится нам знаешь в какую копейку!» — «Не кощунствуйте, — отвечал я, — эта копейка не из вашего кармана — из государственного... Улетайте. Я не звал вас сюда».

Так и отбыли они ни с чем. Вышел, пошатываясь, из кабинета и я. Перенервничал в тот раз, оказывается, дальше некуда. Ноги едва держат, голова кружится. Чувствую себя стариком, развалюхой. А мне всего-то сорок восемь лет тогда было...

После этого у меня началась самая сложная за все годы полоса жизни: попал в немилость к местным властям. Наш колхоз «Россия» в районе был на хорошем счету, а стало быть, не последним выглядел и я. За восемнадцать председательских лет имел почетные знаки ВДНХ, медаль «За трудовую доблесть», ордена «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени. И все это — не побоюсь показаться нескромным — по праву.

И тут стал я замечать, что районные власти и ко мне, и к нашему хозяйству вдруг как-то разом и все дружно охладели. Проявлялось это охлаждение в мелочах, но чувствовал его отчетливо. То тебя вдруг стали обходить приглашениями на торжественное заседание, то однажды «забыли» поздороваться, то явно урезали лимиты на запчасти к машинам и бензин.

В феврале 1976 года в нашем колхозе проводилось отчетно-выборное собрание. Но перед общеколхозным, как это было в те времена принято, провели партийное собрание. Одним из пунктов повестки того памятного для меня собрания райком предложил поставить вопрос... о замене председателя колхоза. То есть меня. А я полон замыслов, на здоровье не жалуюсь, колхозники меня уважают. От райкома партии присутствовала на собрании третий секретарь Рассохина. Не стесняясь, в моем присутствии, настраивала она коммунистов против меня. Но тщетно. Партийное собрание по предложению райкома мы вынуждены были собирать дважды, и оба раза коммунисты колхоза отстояли меня на удивление дружно.

Еще более мощную поддержку получил я на отчетно-выборном собрании колхозников. На новый срок они меня избрали почти единогласно.

И вот тут я почувствовал всю силу немилости местных властей. Вскоре после собрания начальник районного управления сельского хозяйства Потапов прислал в Большую Таволожку комиссию. Цель ее: отыскать компромат — серьезные упущения в моей работе за несколько последних лет. Работала комиссия с документами тринадцать дней, но уехала ни с чем. Конечно, я догадывался, что за всем этим стоит жесткая направляющая рука первого секретаря райкома партии Федорова.

Но я по природе своей оптимист. Как бы там ни было, а все эти комиссии, ревизии да проверки, рассуждал я, со временем отпадут сами по себе. Когда-нибудь достроится наш орошаемый участок, и мы будем с него брать много кормов, а стало быть, по-прежнему думать надо о дне завтрашнем, об увеличении количества общественного скота, и прежде всего — коров. Мы собирались построить просторный коровник и телятник. 1975 год, помню, был у нас очень засушливым. Денег на колхозном счету кот наплакал, решили взять кредит.

Однако наш кредит неожиданно был передан другому хозяйству...

Э, вижу, так дело не пойдет. Еду к первому секретарю райкома партии. «Поймите, вы не меня наказываете — вы не даете колхозу возможность увеличить свои производственные мощности, дать стране больше продукции. А в конечном счете — ущерб государству наносите. И не малый!» — «Не твое дело, — слышу в ответ. — Сняли деньги с «России»? Значит, так надо».

Дальше — больше. Ущемляют то в одном, то в другом. Вижу, со всех сторон обложили. Работать в такой обстановке становилось невыносимо, и я подал заявление: освободите по собственному... Перед районными верхами поставил, правда, одно условие. В председатели меня избрали из инструкторов райкома партии. Я попросил перевести меня на прежнее место. Просьбу мою удовлетворили. Но тут я немного забежал вперед. Лучше — по порядку.

Пятнадцатое июня 1976 года останется в моей памяти отметиной на всю оставшуюся жизнь. Отметиной, сделавшей на моем сердце жесткий рубец. В этот день я подписал акт передачи колхоза «Россия» новому председателю — С. М. Шилину. И в этот же день — так совпало, что ли, а скорее всего было условлено заранее, точно не знаю — в колхоз пожаловала все та же государственная комиссия по приемке все того же злополучного орошаемого участка. Только в этот раз все прошло тихо да мирно: новый председатель колхоза тут же, в моем присутствии расписался в приемке участка и поставил колхозную печать: удостоверяю, мол, что участок готов!

А между тем тот клин земли все еще не был подготовлен к эксплуатации даже наполовину.

Ровно два года спустя — в июне 1978 года — все та же саратовская областная газета «Коммунист» даст критическую статью: орошаемый участок колхоза «Россия» в эксплуатацию все еще не был введен...

К тому времени, правда, мой преемник Шилин в колхозе уже не работал. Сдается мне, что его и уговорили-то пойти на «Россию» временно лишь для того, чтобы он принял так и не доведенный до ума мелиораторами злополучный тот участок. Именно поэтому дальше его, Шилина, карьера круто пойдет в гору. Всего через год его выдвинут в начальники районного управления сельского хозяйства, а потом передвинут еще выше — в председатели Пугачевского райисполкома, где он работает и по сей день.

Но я опять забежал несколько вперед. Сдав колхозные дела, вместе с душевной опустошенностью я почувствовал боли в сердце и слег. В районной, а затем областной больнице меня, вчера еще здорового и сравнительно молодого еще человека, врачи ставили на ноги больше трех месяцев.

Год 1980-й. РАССКАЗЫВАЕТ В. В. СЕРЕБРЯКОВ

Есть люди, которым по складу своего характера на роду написано быть в центре событий. Где бы они ни появлялись, — одни их сразу же признают лидерами и стараются подражать им, другие, напротив, считают выскочками и ничего путного от них не ждут. Но говорят о них много, охотно и всюду. Такие люди не входят в новый коллектив — вихрем врываются в привычный, устоявшийся уклад жизни, во многом его изменяют, и все начинает вдруг под пришельца подлаживаться и сильно от него зависеть.

Вот такой человек и объявился в свое время в совхозе «Солянский» — главный агроном Василий Владимирович Серебряков. Высок, строен, подтянут — в юности увлекался коньками и лыжами. Чуть вы-

далась свободная минутка, он уже тормошит молодежь постучать мячом на волейбольной площадке, в другой раз устроит соревнование на велосипеде или на лыжах... Его моторности и двужильности поражались все. Многие удивлялись: когда он спит — и спит ли вообще? Надо же: совхоз даже по заволжским меркам громадина — тридцать с лишним тысяч гектаров! Чтобы из одной бригады попасть в другую, порой надо проехать в один конец добрые полсотни километров, а то и больше.

А между тем новый главный агроном взял себе за правило поспевать всюду и везде. Как бы далеко от правления ни пахал или ни сеял механизатор, но знал наверняка: хотя бы один раз в сутки — днем ли, за полночь ли, — а Серебряков непременно к тебе нагрянет. И обязательно качество твоей работы придирчиво проверит. На уборке урожая будь добр так отрегулируй свой комбайн, чтобы потери зерна были минимальными, пашешь — соблюдай заданную глубину, позаботься, мил друг, чтобы борозда лежала по линеечке, и в посевную о той самой линеечке помни постоянно. Он требовал от механизаторов красиво обрабатывать углы, а особенно концы полей. «Да поймите же, братцы, наша с вами работа у всех на виду! Вспаханное, а в особенности засеянное поле — как картина талантливого художника: люди должны им любоваться!»

И своего Серебряков добился: уже на другое-третье лето механизаторы работали без сучка и задоринки — было совестно им работать абы как. И районные власти на базе совхоза «Солянский» стали проводить семинары по качеству обработки полей. Вскоре совхоз стал лидером района по урожайности зерновых.

Главного агронома Василия Владимировича Серебрякова за умелую работу с людьми наградили медалью «За трудовую доблесть». Через год-два — орденом Ленина.

И вот тут разгорелись страсти. Директор совхоза посчитал, что Серебряков перехватил его, директора, заслуженную награду. «Позвольте, Александр Дмитриевич, но ведь за то, что совхоз отстает по животноводству, вам не то что орден — медаль давать нельзя!» — справедливо охладил пыл директора Василий Владимирович. Тот вроде бы и согласился, но обиду в душе все-таки затаил. Его мелкие придирки к главному агроному переросли в крупный конфликт, и Серебряков, нигде и ни в чем не терпящий компромиссов, заявил в райкоме, что готов уехать из «Солянского» «хоть к черту на рога». Так со временем он оказался на посту директора совхоза «Ершовский».

А там вовсю развертывалось большое орошение. Омывая огород Серебряковых, бежала и бежала речка Малый Узень: все лето в нее исправно и щедро подавал волжскую воду Саратовский канал. В совхозе «Ершовский» уже числилось три тысячи гектаров орошаемой земли. Числилось. Но это орошение еще почти не работало. Предшественник Серебрякова Михаил Васильевич Аксель предупредил нового директора:

— Не верь мелиораторам, ни одному их слову не верь. Ни начальнику местного треста Шашкину. Ни заместителям Кузнецова. Ни тем более самому Кузнецову.

Аксель знал, что говорил. Его «сам Кузнецов» провел с орошением как ребенка малого. Совхоз «Ершовский» был одним из первенцев большого орошения на Саратовщине, и это событие в то застойно-застольное время принято было отмечать пышно, митингами и банкетами. Вот и директору совхоза Акселю к условленному часу велено было собрать передовиков хозяйства в чистом поле у новенькой насосной станции. Здесь-то представитель водного Главка вручил директору совхоза символический ключ: воду мы вам, мол, привели, а вы теперь орошайте на доброе здоровье свои поля. Рабочие совхоза со слезами благодарности на глазах хлопали в ладоши мелиораторам, они верили товарищу из областного центра.

Верил ему и Михаил Васильевич Аксель, которому в доверительной беседе было сказано, что все «недоделочки» мелиораторов будут устранены сразу же после торжественного митинга. И он, поверив на слово товарищу из областного центра, подписал акт о приемке орошаемых полей, хотя яснее ясного видел, что насосная станция под номером 13-а к эксплуатации не готова, что две подстанции уже при испытании сгорели, трубы не того диаметра и уложены не на проектную глубину. Видел он и то, что один из «Фрегатов» по своим размерам «не вписывается» в поле, а захватывает лесополосу... Почти на всех дождевальных машинах отсутствовали моторчики. Но как было не поверить Акселю обещаниям людей таких высоких служебных постов, с орденскими планками, а один из них так даже при Золотой Звезде Героя Труда...

Но прошел митинг, отзвучали заздравные речи и тосты, и строителей водного Главка с участка совхоза «Ершовский» словно ветром посдувало. Гонялся потом за ними повсюду с липовым актом приемки немолодых лет Аксель, совестил, умолял, жаловался, а те и в ус не дули... Пришлось Михаилу Васильевичу бить челом своим механизаторам: «Помогите, братцы, залатать чужие прорехи...» И хотя механизаторов в совхозе и без того раз-два и обчелся, они и «Волжанки», и «Фрегаты» все же до ума довели...

Вот поэтому-то и советовал Михаил Васильевич Аксель Серебрякову не верить на слово мелиораторам.

— Со мной у них такой номер не пройдет! — жестко отрезал Серебряков.

Но он явно недооценил противника.

В «Ершовском», дальним его отделениям — первому и третьему, хронически не хватало рабочих. И не случайно в проекте вместе с возведением орошаемых гектаров предусматривалось строительство жилья, ремонтных мастерских, кормоцеха, котельной, комплекса водоснабжения под названием «Струя».

По логике, которую диктует сама жизнь, надо было сначала построить дома, чтобы было где жить приглашенным в хозяйство со стороны людям, а уж потом вести на поля воду. Но водный Главк поступил наоборот: сначала он привел на поля воду и лишь потом взялся за жилищное строительство.

Объекты жилья возводило одно из подразделений водного Главка — трест «Саратовканалводстрой», возглавлял который М. П. Шашкин, статный красивый мужчина лет сорока восьми.

Однажды Шашкин явился к В. В. Серебрякову в кабинет и с порога бодрым, радостным голосом прокричал: «Принимай работу, хозяин!» Серебряков знал, что трест достраивал почти десяток двухквартирных домов в поселке Полуденном. «Неужели готовы?» — «Все как один!» — «Что ж, поедем, Михаил Павлович, смотреть».

Недоделок — со счету сбились. А главное — котельная дурит, тепла в дома не дает.

Расстались сухо и, казалось Серебрякову, надолго. Однако всего через несколько дней Василию Владимировичу позвонил председатель Ершовского райисполкома Ю. Д. Агеев и попросил его зайти. Приехал к нему Серебряков, а в кабинете уже и первый секретарь райкома партии А. Д. Дмитриев, и во всей своей неотразимости — М. П. Шашкин. И начали Агеев с Дмитриевым уговаривать Серебрякова подписать акт приемки жилья в поселке Полуденном. Серебряков резонно им — встречный вопрос: а знают ли они, сколько там недоделок? Подлинного положения дел со строительством, как выяснилось, они не знали, тем не менее очень просят акт подписать.

«Бумагу подписать не сложно, — сказал Серебряков. — Но хозяйству позарез нужны люди. Где прикажете их расселять? На акте о приемке недостроенного жилья?» Так и дальше наладилась «беседа»:

председатель райисполкома и секретарь райкома напирали, а директор совхоза стоял на своем. Слово за слово — в голосе руководителей района появились сердитые нотки.

Молчавший дотоле Шашкин вдруг взмолился: «Ну, Василий Владимирович, ну подпиши, а! Конец года поджимает... У меня план синим пламенем горит». — «Обманешь ведь». — «Ровно через десять дней все хвосты зачищу, клянусь! Не веришь? Хочешь, в присутствии товарищей перед тобой на колени встану?» — «Не надо, Михаил Павлович, на колени. Ну, что ты! Ладно, давай уж твой злополучный акт, подпишу я его. И знаешь почему?»

До смерти обрадованный, Шашкин, кажется, не расслышал последних слов, он торопливо сунул бумагу под руку Серебрякову.

«Я подпишу этот акт потому только, что впереди у нас с тобой уймища объектов — на миллионы денег. Но учти: если подведешь с Полуденным, никогда тебе этого не прощу!»

После подписания акта строители дней десять штурмом делали засыпку на крышах домов поселка, где-то латали, что-то подкрашивали. Но вскоре отключили подачу электроэнергии, и оставшиеся без дела строители заскучали, запили горькую. Наступили холода — радиаторы отопления в новых домах разморозило, и людям, которые со дня на день должны были приехать в совхоз на постоянное жительство, пришлось отказать...

Взбешенный Серебряков примчался в трест, влетел в кабинет Шашкина, и, сдерживая клокотавшую в нем ярость, выпалил: «Теперь, Михаил Павлович, ты ко мне ни на какой козе не подъедешь! Пока последнего гвоздя в стенку не вобьешь, ни одного объекта не приму!»

Но трест, странное дело, не очень-то и спешил довести построенные им в поселке объекты до ума. Поставил мастерскую для ремонта тракторов и грузовиков — добротное здание из серого кирпича, остался сущий пустяк — подвести отопление. И вдруг — все бросили. Рядышком возвел кормоцех со встроенной котельной. Строение получилось капитальное: мощный, толщиной не меньше метра, фундамент, потолочные перекрытия из бетонных плит, оконные проемы выложены небьющимися стеклоблоками. Больших денег стоила «начинка» объекта: шесть котлов обмурованы жаропрочным кирпичом. Процентов на девяносто объект был готов, остался какой-то пустяк, но они вместо того чтобы его достраивать — снова в ножки Серебрякову: «Подпиши, друг, пожалуйста, акт приемки!»

Но Серебряков, уже наученный горьким опытом, вежливо, но твердо ответствовал: «Единожды солгавшему веры нет!»

И его опять то и дело вызывали в свои кабинеты начальники районного масштаба, уговаривали, принуждали подписывать акты о приемке объектов. Но Василий Владимирович стоял на своем. Тогда за дело принялись те, что повыше сидят. Однажды на областном партийно-хозяйственном активе начальник водного Главка И. П. Кузнецов в присутствии первого секретаря обкома партии и председателя облисполкома с высокой трибуны заявил: «Серебряков капризничает»... И к нему стали применять знакомый уже нам «прессинг»: «забывали» здороваться, приглашать на торжества, а совхоз начали обходить запчастями, новой техникой...

Василий Владимирович отчетливо видел, что своей неуступчивостью он значительно осложнил себе жизнь, но свои переживания держал глубоко в себе. Мужчина, считал Серебряков, никогда не должен выставлять своих чувств напоказ. Всегда раньше открытый и приветливый, он теперь стал с людьми вести себя официальнее, суше. Дома, чтобы о его душевном состоянии ни сын, ни дочка, ни тем более жена не догадывались, бодрился.

Однажды под выходной, хорошим зимним вечером, с улыбкой весело спросил: «Где же завалялось мое ружьишко? Тряхну-ка я стариной, сбегаю на охоту. На лося пойдем».

А на охоте, когда стоял в глубоком снегу «на номере», Василия Владимировича сразил обширный инфаркт... Почти два с половиной месяца пролежал он на больничной койке. Врачи предлагали перейти на инвалидность, но Серебряков верил, что закаленное спортом сердце его справится с болезнью. И оказалось, не напрасно: выдюжило сердце, не подвело. Василий Владимирович снова встал у руля совхоза «Ершовский».

Переехавшие куда-то на новые объекты мелиораторы больше не докучали директору, и только заброшенный вид не достроенных ими объектов не давал ему покоя ни днем ни ночью. Вроде бы забыли о нем и районные руководители. Но это только, как говорится, до поры до времени. На самом деле они только и выжидали какой-нибудь его осечки. И такая осечка случилась. На третьем отделении совхоза, в поселке Прудовом, никак не могли поделить власть два бригадира. Конфликт длился давно и обещал перерасти в вечный. Серебряков нашел единственно верный, как тогда ему казалось, выход: взял да и слил две бригады в одну. «Обиженный» бригадир немедленно побежал жаловаться в райком партии...

А тем временем назрел еще один конфликт. Перешагнув пенсионный возраст, управляющий вторым отделением явно стал тяготиться своими обязанностями, но стоило директору сделать ему замечание, как он становился в позу гонимого: «А я вот возьму да и уйду на пенсию!» Один раз так заявил, другой, а уж дальше Серебряков церемониться не стал: «Коли так, сдавай, Михаил Иванович, дела».

И этот побежал жаловаться...

В райкоме отреагировали на это немедленно и весьма своеобразно: «Ты, Василий Владимирович, неуживчив. Преследуешь неугодных тебе людей».

И тут, как назло, в конце уборочной заладили дожди. На одно из отделений, где осталась неубранной пшеница, Серебряков согнал двадцать четыре комбайна. Там и поле не сказать чтоб большое, а дождь убрать никак не дает. И хотя все видели, понимали, что непогода в этом виновата, но Серебрякову и это было поставлено в вину. В райкоме ему весьма прозрачно намекнули, что после инфаркта он «уже не тот», недорабатывает.

А между тем в его рабочем кабинете по-прежнему стояли знамена победителя соревнования — и столичное, и областное...

«Намеки» местных властей понимал Серебряков по-своему: ему не могут простить «строптивости», ему откровенно мстят за то, что не подписал «липовых» актов водного Главка.

Работать, когда тебя явно и расчетливо стараются подловить на любой, даже самой маленькой, твоей ошибке, Серебряков не мог. Уходя в очередной отпуск, он предупредил райком: «Считайте, что мое заявление об уходе у вас на столе, подыскивайте себе другого директора».

После отпуска он возглавил одно из самых запущенных подразделений района — объединение «Агропромхимия» и за три года вывел его в передовые.

А когда в районе сменили и председателя райисполкома и первого секретаря райкома партии, Василию Владимировичу Серебрякову предложили работать в Ершовском РАПО.

Год 1986-й. ПРОТЕСТ В. М. САМОХИНА

Жена Виктора Михайловича Самохина — Ольга Александровна, учившаяся в институте с ним в одной группе, рассказывала, что отличником Виктор никогда не был, но тем не менее, если у кого какая

сложность в учебе возникала, проконсультироваться или попросить помощи шли к нему. Объяснять Виктор умел доходчиво, толково. На редкость удался ему дипломный проект. За этот проект Виктор сразу получил два предложения, одно заманчивее другого. Первое: остаться на кафедре эксплуатации гидромелиоративных работ в своем же институте. Второе еще более интересное и... денежное: перейти в саратовский водный Главк. Оказывается, в государственной комиссии на защите диплома присутствовал кто-то из заместителей самого Кузнецова, дипломный проект Самохина произвел на гостя впечатление, и тот сразу предлагал работу с приличным окладом и гарантию на квартиру в Саратове или городе-спутнике Энгельсе.

Но оба предложения Виктор отверг. Почему? Скорее всего сработали тут два обстоятельства. Первое: голую институтскую теорию хотелось закрепить практической работой в поле. А прежде всего, возымел действие и долг перед земляками: на учебу направляла парня родная деревня Липовка, стипендию — 54 рубля каждый месяц — получал он из совхозной кассы. Односельчане тебя учили за свой счет, на тебя, твои знания они рассчитывают, и ты, будь добр, плати по векселям...

Ладно скроенный, плечистый, с вдумчивым взглядом спокойных серо-голубых глаз, Самохин и теперь, в свои тридцать пять, комплекцией напоминает спортсмена-борца. Кажется, выпусти такого на ковер — и через минуту-другую любого соперника положит на лопатки...

С дипломом инженера-гидротехника в сентябре 1976 года Виктор Михайлович Самохин вернулся в свой родной совхоз «Духовницкий». Но орошения у них в хозяйстве фактически еще не было, и молодому специалисту в течение четырех лет пришлось работать заведующим ремонтной мастерской и управляющим отделением — до того самого дня, когда к ним в совхоз мелиораторы привели «большую воду». Виктора Михайловича назначили главным инженером-гидротехником хозяйства. За дело он взялся горячо: наконец-то довелось заниматься тем, чему тебя учили в институте пять долгих лет.

Сложности на новой работе начались с первого же дня. Да только не там, где он ожидал их. Как-то директор совхоза А. А. Дубровский сказал ему:

— Михайлыч, нас просят подписать акт приемки еще одного орошаемого участка. У тебя там с техникой как?

— Как это — п о д п и с а т ь? Ты, Александр Анатольевич, не гони лошадей. «Фрегаты» еще не опробованы. И по «Волжанкам» у меня ворох замечаний.

— Видишь ли, на меня «сверху» давят. Вот-вот нагрянет государственная комиссия. Ты там со своими мужиками поторапливайся.

— Да какой может быть разговор о комиссии, если тут столько всего недоделано?

Самохин достал из кармана свою рабочую тетрадку с перечнем тех самых недоделок, которые обязаны были устранить мелиораторы водного Главка, и подал ее директору.

Пробежав глазами список, Дубровский помрачнел.

Что же делать? Болит душа у директора совхоза Дубровского — не завершено строительство жилых домов на центральной усадьбе хозяйства — в Липовке. А нет жилья — нет и людей. Кто будет обслуживать дождевальные машины? Позарез необходимы квартиры, жилье — те самые дома, что предусмотрены проектом обустройства орошаемых гектаров. Существуют уже эти дома и в натуре, строить их начали, но... Непонятна все-таки политика водного Главка: заложат фундамент под дома, возведут стены, а порой даже и крышу накроют, а потом вдруг — фьюить — и куда-то бесследно «испаряются». И стоят, разрушаются недоделанные, незаселенные дома. Какие тут акты, какой может быть разговор о приемке?

— А может, комиссия малость все-таки припоздает?.. Может, она возьмет да задержится? — высказал Дубровский робкую надежду.

Но комиссия явилась точно в срок. Отправляясь на ее заседание, Самохин и Дубровский условились «ни под каким предлогом» не подписывать липовый акт — поскольку и на орошаемом участке и в самой Липовке тьма не завершенного водным Главком строительства.

Человек не робкого десятка, Виктор Михайлович невольно замедлил шаг, когда у насосной станции увидел такое множество легковых машин, в основном черным лаком блестевшие «Волги». Одни из них прибежали сюда более чем за триста километров — аж из самого Саратова, другие — из Балакова, тоже не близкий свет. Комиссия принялась осматривать объекты. Шумели, спорили, высказывали свое мнение. Дошла очередь и до Самохина. Виктор Михайлович достал знакомую уже нам свою рабочую тетрадь и, заглядывая в нее, начал перечислять важнейшие недоделки: «На участке орошения установлено двадцать две дождевальные машины «Фрегат», а в работе опробовано лишь тринадцать. Причем не в движении, а на месте... Электрохимзащита трубопроводов не действует... Запасные части и инструменты от дождевальных машин хозяйству не переданы... На дождевальных машинах «Фрегат» недостает многих механизмов»... И так далее, всего девятнадцать пунктов.

Еще больше претензий к водному Главку набралось у инженера-гидротехника Духовницкого РАПО П. И. Землянникова.

Короче, ни В. М. Самохин, ни директор совхоза А. А. Дубровский акт не подписали. Самохину члены комиссии сказали «до свидания», а Дубровского пригласили проехаться в одной из залетных «Волг».

Поздно вечером Самохин узнал, что Дубровский тот самый акт приемки все-таки подписал...

Подписал директор, а все недоделки придется устранять инженеру-гидротехнику Самохину с его более чем скромной «командой» операторов, состоящей... всего из пяти мужиков. Это значит, опять же кланяйся в ножки все той же совхозной «палочке-выручалочке»: Петру Васильевичу. Да Клепикову Александру. Да Цепочкину Петру...

Наутро у Самохина с Дубровским состоялся мужской разговор. Самохин, правда, рта еще открыть не успел, а Дубровский ему:

— Не смотри на меня, Михайлыч, волком... Я и сам себе теперь противен.

— Но как же все-таки, Александр Анатольевич?.. Как все это случилось? Вместе же отбивались...

— Вместе — это одно. И совсем другое, когда остаешься с ними один... Ты не видел, как они тогда жмут? Нет? А я на собственной шкуре испытал... Шумят, «убеждают», давят... Осточертело огрызаться, взял да подмахнул: нате вам, только отстаньте!

Самохин слушал эти оправдания, и глаза у него мрачнели все больше и больше:

— Все равно подвел ты меня, Александр Анатольевич...

Прошло полтора года. Совхозу «Духовницкий» все подбрасывали да подбрасывали «сверху» орошаемые гектары. Почти пять тысяч гектаров поливного поля! Одних только «Фрегатов» понавезли восемьдесят штук да пятьдесят шесть «Волжанок». Если придерживаться проектной нормы, на обслуживание только «Фрегатов» необходимо, как минимум, двадцать рабочих. Два инженера-гидромелиоратора и один гидротехник.

А в совхозе — по списочному составу всего двадцать четыре механизатора числится. Вот и попробуй управься со всей этой техникой!

Спрашивается: зачем же столько земли выделяют под орошение? Кто будет обрабатывать такие огромные площади? И куда девать урожай, если вдруг он вырастет в пределах проектной нормы?

На это никто не ответит. Одно только ясно: совхозу такие площади ни к чему. Ему с таким количеством орошаемой земли ни за что не управиться.

Но... так спланировал водный Главк. Он по своей воле привел тебе воду, а ты что хочешь, то и делай с нею. Совхоз и рад бы ее на пользу делу употребить, да силенок не хватает. Из-за нехватки рабочих рук более двух десятков «Волжанок» на полях совхоза «Духовницкий» ржавеют в бездействии. А чтобы запустить «Фрегаты», гонят на полив порой всех главных специалистов совхоза — от зоотехника до бухгалтера. Своих служащих присылают райцентровские конторы. В последнее время дошли, как говорится, до ручки — стали приглашать уже и школьников... А между тем «Фрегат» — машина капризная, за ней глаз да глаз нужен. И притом — опытный. Но что можно спросить с человека, который встает за агрегат первый раз в жизни и все его обучение смахивает на издевательство над техникой: «Вот на эту железку нажмешь, и агрегат заработает. А если он вышел из строя, отключи вот так». Чуть недоглядел новоиспеченный поливальщик, и «Фрегат» «складывается» — одна половина стоит у него на месте, другая движется... Чтобы такую махину потом «растащить», скликáть приходится мужиков со всех близлежащих полей и маяться потом на этой дурной работе несколько часов кряду...

А водный Главк не дремлет, он подготовил к приемке еще одно орошаемое поле... Дубровский заглянул к Самохину: пора. Прибыла очередная государственная комиссия... Поехали. Ехали молча. У каждого на то были свои причины. Дубровский — от недобрых предчувствий, Самохина терзало свое. Сегодня он заглянул к мелиораторам и, осмотрев их работу, расстроился: «Опять сделали вы все через пень колоду... Акт приемки подписывать не стану». Вертлявый и щуплый мужичок засмеялся ему в глаза: «Подумаешь, шишка на ровном месте! Не гни из себя козыря. Не подпишешь ты — подмахнет твой директор. Он мужик тонкой кости, податливый».

И вот это определение «податливый» не выходило у Самохина из головы. Искоса поглядывая на Дубровского, искал его глаза, но тот упрямо смотрел в лобовое стекло, на дорогу. Когда до насосной станции оставалось совсем ничего, Самохин спросил:

— Анатольич, надеюсь, ты уговора нашего не забыл?

Шея у Дубровского побагровела. Ему ли не помнить! Неприятная в прошлый раз получилась история. А кому хочется ворошить неприятное?

Но и на этот раз все у них повторилось тютелька в тютельку. Вместе оба они липовый акт подписать отказались, но вот Дубровскому предложили:

— Александр Анатольевич, вам нужно проехаться с нами в райком партии...

Там-то Дубровскому выдержки не хватило.

И Самохин подал заявление на расчет.

— Уходишь... Далеко нацелился? — не глядя ему в глаза, спросил наутро Дубровский.

Самохину не хотелось говорить ни о чем, но он пересилил себя, сипло выдавил:

— Остаюсь дома. Хоть на трактор пойду, хоть на «Фрегат» оператором.

Его настойчиво уговаривали вернуться на прежнее место. И директор совхоза Дубровский. И жена Ольга Александровна. Первый секретарь райкома партии вгорячах назвал шаг Самохина отступничеством и даже малодушием. И на партийном собрании его увещевали и стыдили.

Но Самохин был непреклонен. Рассердившись однажды как следует, он сказал директору: «Отстаньте! А не отстанете — переeду жить и работать в другой район или в соседнюю область».

И от него отступились.

Он стал работать оператором дождевальных машин «Фрегат». Может быть, единственным на всю страну оператором с высшим специальным — подчеркнем это! — образованием. Оператором он показал себя отменным. При норме четыре машины он впрягся в шесть, а потом и семь и даже восемь «Фрегатов». И даже тогда, когда директора совхоза А. А. Дубровского перевели работать в другое хозяйство и новый директор совхоза В. Н. Филатов приехал к нему в поле «на дипломатические переговоры», Самохин сердито сказал ему: «С меня — хватит! В ваши игры я больше не играю. Мне здесь, у агрегатов, спокойнее...»

Год 1988-й. ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Училась Люся Перегудова в охотку — сначала в своей совхозной школе, потом в райцентре Ершове. Каждый день — три километра туда и три — обратно. Дорога в школу проходила и по мосту через Малый Узень. Речку свою любила Люся трепетно. Чистая она и очень глубокая: друг перед другом щеголяя бесстрашием, мальчишки ныряли в нее с прибрежных ветел.

С аттестатом зрелости, где красовались одни пятерки да четверки, поехала Перегудова Люся в Саратов. Выучилась на экономиста. Распределили ее в село, расположенное на правом берегу Волги. Но тянуло в Заволжье, к маме, на любимый с детства Малый Узень. И ее мечта вернуться со временем сбылась. В родном совхозе ей предложили должность второго экономиста, а через год выдвинули в главные специалисты хозяйства.

Радости жизни? Счастливые мгновения? Судьба не обделила ими, обижаться грешно! Была счастливая встреча на жизненном пути со статным и веселым парнем Юрием Чибисовым. Она уже давно не Перегудова, а Чибисова. Два замечательных сына у них — Юра и Алеша. Награждена орденом Трудового Красного Знамени.

И еще одно из самых ярких событий в ее жизни — это приход волжской воды к самому, почитай, порогу родного дома...

Вода здесь нужна была земледельцу как воздух. Год назад, в семьдесят втором, свирепствовала невиданная засуха. Все пруды пересохли до дна. Съежилась, прямо на глазах усохла и поблекла речка Малый Узень. На дорогах стоял неумолчный гул моторов и не спадала серая кисея пыли: сотни мобилизованных со всей области тракторов, молоковозов и бензовозов везли и везли для глубинных озинских и алгайских сел и чабанских точек... драгоценную пресную воду. Вскоре туда же повезли солому, а оттуда — коров, телок, овец. Тощих, чуть живых. Бесчисленные грузовики с худобой и пыльной соломой порождали всевозможные толки и домыслы. Появились слухи, что в Новоузенске-де воду продают уже за деньги и что из-за бескормицы и безводья в тамошних степях начался массовый падеж скота, а люди снимаются с обжитых мест и семьями уезжают куда глаза глядят.

Но местные газеты, телевидение и радио не переставали напоминать, что от Большого Иргиза через поселок Горный днем и ночью тянут Саратовский обводнительно-оросительный канал с волжской водой. Могучая водная артерия, протянувшаяся на сто с лишним километров, напоит живительной влагой безводные степи. Верилось и не верилось.

И вот долгожданное радостное известие: волжская вода пришла в степи! По всему совхозу из дома в дом передавали просьбу руководства хозяйства: всем, кто свободен, собраться на первом отделении, у насосной станции номер тринадцать: будет торжественный митинг по

поводу сдачи совхозу «Ершовский» строителями водного Главка первых тысяч орошаемых гектаров.

Немало лет минуло, но до сих пор это торжество помнится Людмиле Васильевне Чибисовой зримо, ярко. Конец июня. Поля — сплошная зелень. День от солнца золотой-золотой. Толпы людей. Радостная суета, десятки легковых машин. И улыбки, всюду улыбки. Кузов у грузовика с опущенными бортами застелили красным полотном — получилось что-то вроде сцены и трибуны одновременно. Все готово к торжеству, но ждут главного.

И главный явился. Да не как-нибудь, а с ясна небушка. На собственном, то бишь главковском вертолете, обдавшем людей тугими потоками воздуха из-под винта. На людях высокого ранга руководители улыбаются сдержанно, руку для пожатия подают не всем. А этот не улыбался — смеялся. Широко, от всей души. Здоровался за руку с размаху со всеми. Коренаст, с обветренным до красноты чернобровым лицом, гость каждым словом и жестом демонстрировал повадки человека свойского, крестьянских корней. Да так оно впоследствии и оказалось. Золотая Звезда Героя Труда на лацкане распахнутого пиджака вызывала к нему почтение.

— Сам Кузнецов, Иван Петрович. Он, — передавалось из уст в уста по цепочке.

Мощным прыжком Кузнецов взлетел на красный кузов. И с подкупающей простотой сказал, что вековечная мечта о воде крестьян-степняков сегодня наконец осуществилась. Живительную влагу здешние поля будут теперь получать регулярно и щедро. А это — гарантия богатых урожаев даже в самые засушливые годы.

Каждое слово высокого гостя находило отклик в душе Людмилы Васильевны. Она безоговорочно верила ему даже тогда, когда оратор вдохновенно обещал:

— Пройдет не больше двух лет, и ваш поселок Полуденный станет Лучезарным! Вот он и его парни, — Кузнецов кивнул в сторону Шашкина — управляющего тогда трестом «Саратовканалводстрой», — преобразят ваш поселок фантастически!

Улыбающийся Шашкин радостно закивал черноволосой головой: да-да, преобразим!

— Водный Главк, — самозабвенно обещал Кузнецов, — построит здесь жилье, котельную, мастерскую для ремонта тракторов, систему снабжения питьевой водой «Струя»... — От теплых слов выступающего, от грандиозных перспектив у жителей поселка Полуденный на глазах выступали слезы радости.

«Спасибо, — благодарили дорогого гостя степняки. — А то живем на отшибе, до центральной усадьбы два десятка верст с гаком. Наконец-то и о нас вспомнили».

— И все это, заверяю, будет! А для начала сдаем вам под ключ без малого три тысячи гектаров орошаемых земель! — воскликнул Иван Петрович и торжественно вручил местному бригадиру Кружилину огромный, поблескивающий никелем символический ключ.

Вскоре полуденновцы убедились воочию, что обещания Кузнецова — не пустой звук — строители начали возводить в поселке двухквартирные дома, ремонтную мастерскую, кормоцех со встроенной котельной. Но и это было еще не все. Строились ветеринарный изолятор, материально-технический склад, прокладывались коммуникации обещанной системы снабжения питьевой водой с ласкающим слух названием — «Струя»! Ей в поселке радовались, пожалуй, больше всего. Неужели и впрямь будем пить чистейшую прохладную питьевую воду? Испокон века брали воду для питья прямо из стоячего пруда, который уже к середине лета «зацветал», делаясь мутно-зеленым.

Но вдруг из Полуденного поползли странные, непонятные и неприятные вести. Будто бы дома в поселке главковские строители «сляпали абы как», ни тепла в них, ни надворных построек возле... Ремонтную мастерскую почему-то бросили, не достроив. Не заладилась у них и система водоснабжения, не подает воду. Остановлено сооружение кормоцеха с котельной. А потом еще новость: строители куда-то исчезли... Вести об их внезапном исчезновении пришли и с третьего отделения, из поселка Прудового.

Занервничал директор совхоза Василий Владимирович Серебряков. Похудел, потемнел лицом, бомбардировал разные инстанции телеграммами и телефонными звонками. Все напрасно — строители как в воду канули. Говорили, что они уже в каком-то другом районе закладывают новые объекты.

Минул год. О «преобразователях края» — ни слуху ни духу. Пролетели год, второй и третий — их по-прежнему не видать. Из-за неувязок со строительством В. В. Серебряков поскандалил с районным начальством, нажил инфаркт и подал в отставку. Директором совхоза стал А. Ф. Машков. Он сразу же завел несколько папок специально для деловой переписки с водным Главком, министерством и областными инстанциями, курирующими мелиоративное строительство.

А Людмила Васильевна Чибисова по-прежнему работала главным экономистом совхоза. Вскоре ее выдвинули депутатом областного Совета. Избиратели пяти хозяйств — а это больше десятка хуторов, поселков и сел — проголосовали за нее. Как депутату Людмиле Васильевне приходилось теперь чаще встречаться с людьми своего округа, бывать на их рабочих местах. И вот однажды ее поразила картина совсем, казалось бы, из далекого-далекого прошлого. В одном из коровников, согнувшись в три погибели, доярка тащила на себе неподъемный мешок комбикорма, отсыпая каждой корове на глазок килограмма по три-четыре.

Зрелище не менее удручающее открылось ей в поселке Прудовом. В двадцатиградусный мороз трактора стоят на снегу, и под каждым из них — горящая паяльная лампа. Пожилой тракторист Михаил Алексеевич Марченков носил ведрами горячую воду и заливал ее в радиатор «кировца».

— Это сколько же воды надо вбухать в трактор? — спросила Чибисова.

— В «кировец» — девять ведер, Васильевна, — устало ответил механизатор.

Муж Чибисовой, инженер совхоза, рассказывал ей о танталовых муках трактористов дальних отделений. Но одно дело услышать и совсем другое — увидеть самой...

— И что же... каждое утро — вот так?

— Каждое, Васильевна. А куда деваться? За ночь насквозь промерзает металл. Мы человека специально отрядили котел горячей воды к утру готовить. Видишь очередь? К нему выстроилась.

В ту ночь Людмила Васильевна не сомкнула глаз. Как же так? На дворе — конец двадцатого столетия, научно-техническая революция, а в труде работников важнейших сельскохозяйственных профессий не меняется, по сути, ничего. Вот мама моя почти всю свою сознательную жизнь проработала на птицеферме: рядовой птичницей, потом — бригадиром. Работала на износ. Орден Трудового Красного Знамени получила за работу эту. И к нему — жестокую болезнь ревматизм — ноги стали никуда не годными. Нажила она эту хворобу не где-нибудь, а все там же, на ферме. Птичники тесные, от постоянной сырости да грязи только в резиновых сапогах спасение. Но «глухие» резиновые сапоги — ноги в них «не дышат» — и привели ее к недугу.

Но мама когда еще работала-то! В послевоенные да застойные годы. Вон сколько лет с тех пор минуло. Много-то! А в дальних отделениях совхоза — все в тех же нечеловеческих условиях люди работают.

Кто виноват? Везде и всюду конкретные виновники есть. За безо-

бразия в Полуденном должен отвечать водный Главк Саратова. У него — проект, а под проект отпущены средства и на утепленную ремонтную мастерскую, и на просторный, современной планировки, коровник. И что самое удивительное и самое печальное: ремонтная мастерская в Полуденном в общем-то построена. Стены, крыша, окна и даже кранбалка — все на месте. Недоделок осталось совсем немного. Но недотянув эту самую малость, водный Главк из каких-то ведомственных соображений бросил недостроенный объект на произвол судьбы, а своих рабочих перебросил неизвестно куда.

Не могла понять Людмила Васильевна, что же это такое: недомыслие руководителей главка или смахивающее на вредительство глухое их равнодушие к нуждам людей и государственным средствам? А как необходимы совхозу кормоцех со встроенной в него котельной! Но безмолвствуют агрегаты-смесители. Не работали ни часа. Простаивают вот уже восемь лет! А коли цех не действует, то все в нем медленно разрушается или растаскивается. Дверей уже нет. С «мясом» выворочен из кладки огнеупорный кирпич, побиты стеклоблоки... Кто ответит за выброшенные на ветер народные деньги? В ремонтной мастерской (капитальное здание, выполненное, по официальному заключению экспертов, на девяносто процентов) уже восемь лет обитают голуби. Получилась самая, наверное, дорогостоящая в мире голубятня. Выходит, ради этой голубятни снесли старую машинно-тракторную мастерскую и обрекли ремонтников на мытарства в суровые морозы и метели?

Система «Струя» — особая боль. Вырыты и забетонированы огромные погреба — хранилища для пресной воды, установлены в них новенькие насосы. Угроблены сотни тонн отличного бетона, ржавеет дорогое оборудование. Прошли годы с тех пор, как хранилища сами собой заполнились соленой грунтовой водой, сокрывшей и насосы, и трубы... Что там от них теперь осталось?

Куда ни взглянешь — всюду громадные безвозвратные потери. И денег. И металла. И цемента, ставшего повсеместно дефицитом. Уж не оттого ли цемент в Саратовской области не достать ни за какие деньги, что сотнями и тысячами тонн его вот так, словно в бездонную яму, бросают в обреченные на бездействие объекты?

Не пора ли подсчитать весь этот урон и строго спросить за него с нерадивых руководителей. Материальные потери от незавершенного строительства подсчитать, наверное, не так уж и трудно. Но кто и как подсчитает потери от него нравственного порядка? Крестьянин, десятилетиями живший впроголодь, привыкший считать и свою и колхозную копейку, что думает он, видя, как на одном только отделении хозяйства брошены под ноги, пущены на ветер не сотни тысяч рублей, а несколько миллионов?! Поговорите о похороненных миллионах рублей с любым жителем Прудового или Полуденного, и вы услышите в его голосе недоумение, обиду, боль.

Вот супруги Алевтина Федоровна и Василий Иванович Комаровы, послушайте их. Хозяин дома, человек эмоциональный, на слово крутой и резкий, места себе не находит от негодования:

— Вы только подумайте: почти пять миллионов промотать без всякой пользы... Там зарыты, а тут псу под хвост кинуты. Где, в каком еще царстве-государстве можно встретить подобное транжирство? Вот я, механизатор, унеси завтра из бункера комбайна горсть зерна, мне знаете как за это влетит, если кто заметит! А тут... В открытую грабят нас. Деньги-то бюджетные. То есть наши, мои. Моей жены Алевтины. Моих соседей. На мелиорацию идут отчисления от нашего с вами заработка...

Никак не может успокоиться Василий Иванович. Он показал мне вырезку из центральной газеты:

— Посмотрите, вот здесь написано черным по белому: «Снабжать австралийских фермеров свежей водой будут теперь и советские водоочистные комплексы «Струя»... Австралийцев, вишь! Вон в какой дальний угол света наши мелиораторы забрались! Заморского фермера поить свежей водичкой будут, а свой брат степняк пусть по-прежнему пьет тухлятину из грязного пруда!

Поездив по депутатским делам, Людмила Васильевна убедилась, что обманут водным Главком не только совхоз «Ершовский». Примерно в такой же ситуации оказался и совхоз «Пахарь». А на Еруслланском канале, который мелиораторы много лет строили, да так и не достроили, обнаружилось столько недоделок, что государственная комиссия отказалась его принимать. И что же? А ничего! Четырнадцать лет — с недоделками, с огромными потерями воды из-за них и с большей ее замутненностью — не принятый госкомиссией канал этот продолжает функционировать, разрушаясь при этом все больше и больше. И это не мудрено: ведь за ним же никто не следит, профилактических ремонтов ему никто не делает... Возникает естественный вопрос, да возможно ли такое? Где-то, может быть, такой номер и не прошел бы, а в Саратовской области, как видим, водному Главку все сходит с рук. Как с гуся вода!

Не миновали подобной судьбы и другие регионы Заволжья. На центральной усадьбе марксовского совхоза «Орошаемый» вот уже примерно десять лет ветшают и медленно разрушаются недостроенные семь двухэтажных двенадцатиквартирных домов. Восемьдесят четыре двух- и трехкомнатных возведенных под крышу коттеджа! По сельским меркам — солидное совхозное отделение! Но дома стоят много лет незаселенными. Жуткое зрелище — этот мертвый поселок: разбитые стены, уныло глядят на белый свет черные пустые глазницы окон. Начинают рушиться потолки, лестничные пролеты и балконы уже без оградительных поручней, а детей и подростков тянет сюда как магнитом... По подсчетам совхозного прораба В. В. Бокка, стоимость этой «незавершенки» — не менее восьмисот тысяч рублей.

Мертвый этот поселок — тоже дело рук мелиораторов саратовского водного Главка. Чего только не делала председатель исполкома Каменского сельсовета Александра Федоровна Боголепова, чтобы вдохнуть жизнь в эти мертворожденные дома. Она может точно сказать, сколько писем лично отослала И. П. Кузнецову. Обращалась с письмом к Ивану Петровичу как к депутату Верховного Совета РСФСР и группа депутатов Каменского сельсовета. А что же он? Так и не ответил ни на одно письмо!

Такие же дома-призраки Главк оставил умирать и в селе Кормешка Балаковского района, и в Пугачевском совхозе «Крутое» — всего не перечислить. Всего «незавершенки» у Главка накопилось на сумму примерно в 460 миллионов(!) рублей. Цифра трудно укладывается в голове. Но даже такой астрономической суммой денег не выразить урон, нанесенный горе-строителями природе.

Взять Малый Узень, родную речку Людмилы Васильевны Чибисовой. Была речка, да кончилась, задохнулась под илом да глиной. Превратилась в сточную канаву, которую курица вброд перейдет. Полтора десятка лет подмывает волжская вода земляные откосы Саратовского канала. На всем более чем стокилометровом его протяжении нет ни метра защитной бетонной облицовки! И вымытые частицы почвы устремляются в пруды и степные речки. Оросительные системы забирают волжскую воду с мутностью 30—50 миллиграммов частиц в литре, а выбрасывают ее уже с мутностью до 12 граммов в литре. В Федоровском районе по реке Еруслан вместо воды зачастую течет жидкий глинистый раствор. В местах медленного течения воды он отстаивается, и осадок почти полностью заполняет русло реки. Еще восемь лет назад жители города Ершова летом с удовольствием купались в Александрофельском пруду, который был чист и глубок. Нынче этого водоема не существует, он — еще одна жертва несуразно осуществляемой мелиорации.

Людмила Васильевна не раз видела, как операторы вынимали из дождевальных агрегатов метровой длины «колбасины» из глины. И слышала, как честят они строителей канала: от мутной воды дождевальные установки выходят из строя на дню по десять раз и даже чаще.

Людмила Васильевна завела разговор с директором совхоза Машковым:

— Александр Федорович, вы все пытаетесь достучаться до водного Главка. Не могу ли я вам чем-нибудь в этом помочь? Все-таки я — депутат областного Совета.

— Наверное, не только можешь, но и обязана, — обрадовался Машков. — Включайся, Людмила Васильевна, помогай хозяйству.

Всю ночь сидела Чибисова над бумагой. К утру текст официального депутатского запроса был готов:

«4 мая 1988 года. Начальнику Главсредневолговодстроя тов. Кузнецову И. П.

ЗАПРОС

В опытно-производственном хозяйстве «Ершовское» с 1975 года по сельхозосвоению первой и второй очереди строительными организациями «Саратовканалводстрой» строятся следующие объекты. (Далее идет скрупулезное перечисление объектов. — **И. К.**)

В последние годы работы по строительству вышеуказанных объектов не ведутся.

Старая ремонтная мастерская в поселке Полуденный снесена, а новая до настоящего времени не введена в эксплуатацию. Весь ремонт сельскохозяйственной техники ведется под открытым небом. Все это отражается на здоровье людей.

В поселке Прудовой два животноводческих помещения пришли в ветхость и находятся в аварийном состоянии. Это ставит под угрозу содержание в них животных.

Кроме того, и в других хозяйствах Ершовского района ряд объектов строится вот уже в течение десяти лет. Так, в совхозе «Пахарь» не достроен кормоцех и система водоснабжения «Струя».

Не выполнены работы по строительству Еруcланского канала на сумму 318 тысяч рублей.

Общая сметная стоимость незавершенного строительства только по Ершовскому району составляет около двух миллионов рублей.

Прошу Вас разобраться и дать ответ по существу запроса. Когда же будет закончено строительство перечисленных объектов?

Депутат областного Совета народных депутатов от избирательного округа № 287 Л. В. Чибисова».

Тем же днем Людмила Васильевна отправила запрос в облисполком.

Реакция на него последовала до удивления быстро. Меньше чем через неделю директор совхоза А. Ф. Машков привел к Чибисовым гостя. Это был новый управляющий трестом «Саратовканалводстрой» В. А. Сенин, сменивший Шашкина. Владимир Антонович рассказал Чибисовой, что конкретно сможет сделать трест в ближайшее время по существу ее запроса. Обещания были не ахти какими громкими, но и им наученная горьким опытом Людмила Васильевна не очень-то поверила.

А еще через несколько дней ее пригласили в контору совхоза. В кабинете директора сидел первый зам самого Кузнецова — Н. Ф. Котельников. В свое время он возглавлял в Ершовском районе колхоз «Рефлектор» и оставил о себе славу хозяина рачительного, хваткого.

— Приехал познакомить вас с одной бумагой, — потирая пальцем седой висок, сказал Котельников. — Минут через десять-пятнадцать ее привезут сюда из райисполкома.

Бумагу привезли через полчаса. Прочитав ее, Людмила Васильевна посмотрела на гостя с недоумением. Документ был написан *как бы ею самою*, Чибисовой. Ей же надлежало эту бумагу и подписать. Суть послания такова: управляющий трестом Сенин ознакомил-де ее с планом мероприятий по завершению строительства брошенных в Прудовом и Полуденном объектов, она, Чибисова, этот план одобряет и просит начальника Главка включить эти работы в план 1988 года...

Пристыженная, словно она сама этот подлог сделала, Людмила Васильевна сердито спросила:

— Николай Федорович, а почему это «мое» письмо написано кем-то другим?

Котельников и глазом не моргнул.

— Понимаете, Иван Петрович, Героя Труда, человека *заслуженного*, немолодого, не грех и пощадить, не беспокоить по мелочам. Все это надо сделать проще, в рабочем порядке.

Установилось тягостное молчание.

— Нет, Николай Федорович! — решительно произнесла Чибисова. — Я как раз и написала запрос для того, чтобы начальник Главка всему народу, всем депутатам области объяснил, для чего затеваете вы строительство стольких объектов, а потом бросаете их на произвол судьбы и по десятку лет к ним не возвращаетесь. Этого письма я не писала, — решительно отодвинула она листок от себя. — И не подпишу.

Котельников встал, подошел к окну и сердито сказал:

— По вашей милости, Людмила Васильевна, Ивану Петровичу придется подниматься на трибуну. Учтите: по вашей милости...

От визита Котельникова на душе остался неприятный осадок. «Как-то очень суетно живем мы все нынче, — подумала Людмила Васильевна. — Век такой, что ли? Муж, совхозный инженер, из дому исчезает чуть свет — и ведь не с какой-нибудь любопытной инженерной задумкой носится: все больше в поисках запасных деталей к совхозной технике... У сына Алеши минувшее лето — сплошные экзамены: в школе — выпускные, потом — в институте — вступительные. Сама на службу тоже пораньше уходишь: дел у главного экономиста всегда под завязку. Лишь вечером, за ужином, когда семья в полном сборе, и отведешь душу в неторопливом душевном разговоре».

А вот о чем, любопытно бы послушать, говорят за ужином в таких семьях, как Котельниковы? Ну, к примеру, вернется сегодня Николай Федорович домой, и... о чем же он расскажет вечером жене и детям? Не будет же он им говорить о том, как за двести с лишним верст (а в оба конца добрые полтысячи набирается) гонял свою черную «Волгу», палил бензин только для того, чтоб уговорить какую-то строптивую женщину-депутата отказаться от своих слов, от собственного мнения... Но разве ж у первого зама такой огромной организации, как водный Главк, нет забот поважнее?

Очередная сессия областного Совета народных депутатов состоялась 9 августа 1988 года. Людмила Васильевна чувствовала себя еще слабой: со дня операции на щитовидке минуло чуть больше месяца; у нее еще не восстановился как следует голос. А до областного города путь не близкий — двести с лишним километров. Но на семейном совете было решено: рискнуть, но все же поехать на сессию. Откажись — еще сочтут тебя трусихой. Да и не чей-то — лично ее депутатский запрос на повестку дня сессии вынесен!

Перед открытием каждой сессии депутатам выдаются брошюрки с проектом решения, где сразу же прямо на обложке публикуется повестка дня. Людмила Васильевна с удивлением обнаружила, что ее запрос в повестке дня не значится...

Что это — «забыли», «учли состояние ее здоровья» или?..

Но тут председатель собрания зачитал ее запрос. И тотчас на три-

буну вышел депутат И. П. Кузнецов и начал читать ответ на запрос депутата Чибисовой Л. В. о строительстве совхоза «Ершовское» Ершовского района.

Вот текст этого ответа.

«Строительство ОПХ «Ершовское» начато трестом «Саратовканалводстрой» Главсредневолговодстроя в 1976 году. Общая сметная стоимость строящихся объектов составляет 5828 тысяч рублей. Выполнение работ на 1 января 1988 года на 4828 тысяч рублей.

По производственному строительству в поселке Прудовой на 1 января 1988 года осталось построить коровник на четыреста голов, кормоцех, котельную, доильно-молочный блок, инженерные сети и благоустройство с объемом строительно-монтажных работ на сумму 357 тысяч рублей. Все объекты включены в план 1988 года и будут завершены в ноябре месяце.

По производственному строительству в поселке Полуденный осталось построить кормоцех, машиноремонтную мастерскую, канализацию, станцию биологической очистки, произвести благоустройство. Объем строительно-монтажных работ по этим объектам составляет 506 тысяч рублей. По непроизводственному строительству необходимо построить водоочистную установку «Струя» с сетями водопровода (объем строительно-монтажных работ — 38 тысяч рублей). В октябре будет введена в действие машиноремонтная мастерская (объем СМР — 22 тысячи рублей)».

Людмила Васильевна почувствовала, что ей не хватает воздуха. И дело было не в перенесенной операции. Она поймала себя на мысли, что не может поверить ни единому слову Кузнецова, хотя они были произнесены с той же широковещательной легкостью на щедрые обещания, которая когда-то заставила ее саму и ее доверчивых земляков поверить ему и увидеть в мечтах чудный поселок Лучезарный. На том самом памятном митинге в чистом поле, куда Герой Соцтруда Кузнецов пожаловал на вертолете...

И вот опять... Легко и просто, одним махом от имени своего многотысячного коллектива берет Иван Петрович обязательство достроить все, что своевременно не достроил и забросил на долгие-долгие годы. Не оттого ли так прочно стоит он у руля могущественной организации, что наловчился завлекательно и масштабно обещать? Обещать, ничем особо не рискуя за невыполнение обещанного? Пустые обещания руководителя такого высокого ранга — те же приписки, только авансом.

«Вы обманываете нас уже много лет. Боюсь, и теперь из всего обещанного не сделаете ничего!» — хотелось сказать Людмиле Васильевне во всеуслышание с трибуны. Но голос... Он еще не повиновался ей! Чибисова надеялась, что кто-то из депутатов поднимется сейчас с места и скажет то, о чем она хотела сказать.

Рядом с Людмилой Васильевной сидел первый секретарь райкома партии А. А. Гладенин. Но он молчал. Сердито хмурился председатель Ершовского РАПО В. В. Серебряков. Никто не взял слова. Депутатский запрос Чибисовой был удовлетворен...

Помните, в своем официальном ответе на запрос И. П. Кузнецов заявил: «По производственному строительству в поселке Полуденный... в октябре 1988 года будет введена в действие машиноремонтная мастерская (объем строительно-монтажных работ — 22 тысячи рублей)».

Два раза автор этих заметок побывал в минувшем году в поселке Полуденный. В первой поездке моим добровольным гидом был председатель исполкома местного Совета В. А. Гейнц, а во второй — председатель РАПО В. В. Серебряков. Свидетельствуем: ни одна бригада строителей-мелиораторов к ремонтной мастерской в прошлом году в Полуденном так и не притронулась.

* * *

Такие вот судьбы. В чем-то разные, но и схожие. Если вглядеться в них пристальней, бросаются в глаза определенные закономерности. Их несколько. Первая: и до 75-го года, и в 80-м, и позже стратегия водного Главка по сути не меняется: силовое давление. Спешка. Волевой нажим. Как сделано, для Главка почти не имеет значения. Главное: пусть «липовый», но вырвать акт сдачи-приемки, а зачастую и снять финансовые пенки с несделанного.

Закономерность вторая: тот из руководителей хозяйств, кто сопротивлялся нажиму Главка и упорствовал, а фактически стоял за правду-матку, тот так или этак, а пострадал. Зато стоило кому-то раз-другой смириться, подавить в себе справедливые порывы к сопротивлению, как зеленый свет его карьере обеспечивался мгновенно. Головокружительная карьера С. Шилина яркое тому подтверждение. Стоило ему «подмахнуть» акт приемки совершенно не готового к орошению поля, как продвижение по служебной лестнице открылось для него воистину сказочное: в председателях колхоза «Россия» подержали его всего один год, явно «для анкеты», а потом первый секретарь Пугачевского райкома партии А. Федоров будто на блюдечке с голубой каемочкой преподнес ему кресло начальника районного управления сельского хозяйства, а потом и предрика...

А стремительный взлет Макрушина? Самый ретивый поборник выколачивания из хозяйственника липовых актов за не завершенные водным Главком объекты, он шагнет выше и дальше всех — аж в Минводхоз, в саму столицу!

И еще одна закономерность: типичность ситуации вне зависимости от времени и места событий. А. Я. Зимин живет в Пугачевском районе, Л. В. Чибисова и В. В. Серебряков — в Ершовском, а В. М. Самохин — в Духовницком. «Прессинг» применялся к хозяйственникам и в те годы, когда первым секретарем Саратовского обкома партии был А. И. Шибаев, ничего не изменилось и при его преемнике В. К. Гусеве, а потом и А. А. Хомякове.

В конце 60-х — начале 70-х годов закладывался Саратовский канал. В первоначальных проектах он значился лишь как обводнительный. И на то были веские причины. В полупустынном Новоузенске воду продавали на деньги — копейка за ведро. В Варфоломеевке привозную воду отпускали бесплатно, зато по жесткому лимиту: одно ведро в сутки на человека. В засушливом 67-м саратовское Заволжье недосчиталось многих и многих семей: покинули обжитые места из-за безводья. В 72-м, еще более знойном, многие хозяйства вынуждены были сократить поголовье скота наполовину: сказалась не только бескормица, но и безводье.

Вот почему когда затевали строить канал, установка была, по сути, одна: «Только вперед!» Канал гнали днем и ночью, в зной и в холода. И днище и откосы его, согласно строительным нормам, надо бы облицевать бетонными плитами. Да где там, некогда, сперва надо подать воду, остальное как-нибудь доделаем потом! Позже, когда к обводнительному одним махом приплюсовали и другое назначение — оросительное, установка «Только вперед!» срабатывала безотказней.

Вот эта эйфория, лихорадка спешки, похоже, вошла в «привычку» водного Главка, всосалась в его плоть и кровь. «Только вперед!» Отвоевать у степного пространства новые километры и гектары, а главное: поскорее об этом отрапортовать, отчитаться «наверху»... Эта спешка, эти стремительные «шаги саженьи» пожирали порой главное, ради чего мелиорация, собственно, и затевалась: качество орошаемого гектара и отдача от него урожаем. Так вот: проектной урожайности за все эти годы не дал практически ни один орошенный гектар.

Вот поле птицеплемзавода «Красный Кут». С виду поле как поле. Ровное. Распаханное. Но это поле не простое, оно — реконструирован-

ное. Не правда ли, диковато звучит этот чисто технический термин применительно к земле? Поле только что прошло «курс реанимации», и никто в точности не знает: оживет ли оно вновь? История этого поля наводит на грустные размышления. Совсем недавно было оно богарным, то есть не знало иной воды, кроме дождевой или снеговой. Потом его отвели под орошение. Но орошение, сделанное наспех, засолило землю — да так, что воды, поднявшись из нижних горизонтов на поверхность, погубили всякую на ней растительность.

И вот из богары поле вернули в богару же, но с какими громадными затратами! Насыпали канал. Это — деньги. Закупили дождевальные машины, а они стоят очень дорого. Потом выступила соленая вода. Два года она не позволяла въехать на поле ни сеялке, ни плугу — два года отдача от поля равнялась нулю. Новые потери. Потом канал осушили, завалили его и разровняли. Еще расходы. А дальше, чтоб восстановить плодородие поля, на каждый его гектар внесли... сколько, вы думаете? По сотне тонн навоза да по тридцать тонн гипса. Вон куда взметнулись расходы, под самую, как говорят, планку... И еще неизвестно, окупятся ли эти затраты, будет ли плодоносить эта многострадальная земля?

Такое же поле — только не вспаханное, а сплошь бурьяном заросшее и солеными водами подтопленное — встретилось нам прошлым летом и в совхозе «Волгарь» Балаковского района. Камыши в человеческий рост, «Фрегаты», еще по весне всосанные в грязь по ступицу и не вызволенные из нее, до сих пор разбросаны по полю. Из всех мыслимых и немыслимых севооборотов поле в добрые полтысячи гектаров выброшено, оно числится теперь в «списанных».

Только в 1988 году Совет Министров РСФСР вынужден был «списать» из орошаемого саратовского клина «кусок» в пятьдесят тысяч(!) гектаров вчера еще плодородной земли. Были пятьдесят тысяч — и не стало их... На ладан дышат, как уверяют ученые, еще около 100 тысяч гектаров. И все это случилось не за сотни лет, а при жизни одного поколения. При таком «усердии» недалеко и до катастрофы. Так ведь до того можно «дохозяйствоваться», что лет через сорок-пятьдесят весь обширный край может превратиться в пустыню.

С приходом волжской воды меняется ситуация не только в полях, но и в городах. Город Ершов подтоплен весь, погребов здесь уже не роют, их делают наземными, по типу термоса — с двойными потолками и стенами. В колодцах Новоузенска, извечно пресноводных, вода стала горько-соленой. В Красном Куте, городе прежде сухом и пыльном, вымокли сады и в несметном количестве расплодился болотный комар, а теплоцентрали в новых микрорайонах «во избежание сульфатной агрессии» градостроители вынуждены вести не под, а над землею — в деревянных коробах. Выглядит это не совсем эстетично, но куда деваться?..

Пока что мелиораторы осваивают наиболее сильные земли вдоль самой Волги, здесь они, как говорится, «снимают сливочки», но вотвот армада их могучей техники — тракторы «Т-330», «Т-500», «БелАЗы», шагающий экскаватор — вторгнется в Дальнее Заволжье, дергачевские, озинские и алгайские просторы. А там черноземы и темно-каштановые почвы все чаще уступают место белесым солонцовым пролысинам, там почвенно-геологические условия совсем как в известной песенке — «нежнее хрусталя», для ирригации практически неблагоприятны. «Здесь нужна особая осторожность при планировании оросительных систем,— предостерегает доктор геолого-минералогических наук Л. А. Анисимов.— Нужны широкие исследовательские и опытные работы, а не широкое наступление по всему фронту...»

Да, при одном только упоминании вот об этом «наступлении по всему фронту» саратовского водного Главка у меня, да и не только у меня, идет мороз по коже. А вдруг мелиораторы в очередной раз к мнению ученых не прислушаются? Вдруг в их горячих и доблестных

сердцах вновь бездумно сработает многолетний атакующий клич: «Только вперед!..» И тогда их «шаги саженьи» обернутся бедствием непоправимым.

Неужто у саратовских мелиораторов все так уж худо? Согласно статистике, благодаря орошению Саратовская область в последние годы значительно увеличила производство мяса и молока. И это хорошо. Но памятуя об этом хорошем, как не вспомнить тысячи и тысячи «списанных» по вине мелиораторов гектаров вчера еще плодородной земли, сотни и сотни дождевальных машин, так и не тронувшихся с места из-за нехватки людей? Ведь все эти просчеты значительно увеличивают себестоимость произведенных в области молока и мяса. Так, в орошаемом совхозе «Декабрист» каждый килограмм говядины (в живом весе) обходится в 9 рублей 21 копейку, а в соседнем безводном совхозе «Маяк революции» та же говядина стоит всего 2 рубля 15 копеек.

А закончить эти заметки хочется описанием одной из многочисленных встреч минувшего лета в заволжских просторах. С заместителем начальника Саратовского облводхоза А. С. Вороновым мы ехали с Еруслапского канала в Саратов. Возле рабочего поселка Мокроус «голосовала» на обочине худощавая, немолодых лет женщина. Остановились, посадили в «рафик». Костистые, изработавшиеся руки и плотный загар выдавали в ней потомственную крестьянку. Знакомства в дороге, известно, завязываются легко. Попросили женщину рассказать о своем житье-бытье. Она — телятница в совхозе, из райцентра добирается в село Еруслан, у нее пятеро, слава всевышнему, уже взрослых детей, есть уже и внуки, вот только муж к старости лет задурил: насчет выпивки слабоват...

Вдруг у нашей спутницы вырвалось:

— Господи, как же вовремя подняла я детей своих!..

Странно: не гордость, а скорее боль прозвучала в ее голосе. Увидев недоуменье на наших лицах, пояснила:

— Сюда, в Заволжье, приехали с мужем в шестьдесят четвертом году. Не скажу, чтоб в нашем сельском магазине прилавки от продуктов и товаров ломились, но и одежду можно было выбрать, и колбаса не переводилась. Печенье было всегда. О конфетах и говорить нечего: всегда никак не меньше десяти сортов на прилавках. А теперь? Загляните-ка в наш магазин. Там как в нищенской суме. Ни колбасы. Ни конфет. Ни чаю.

Сущая, к великому сожалению, правда.

Сегодня, отправляясь на какую-то сотню километров от областного центра, я, словно в таежную экспедицию, вынужден брать с собой и сахару, и чая, и масла, и даже... сухарей. В сельмагах кроме черствой буханки хлеба уже ничего не купишь.

— В райцентр вот, к дочке пришлось съездить. Продавец она. Не много, пусть всего три килограмма, но сахарку для меня нашла. И печенья с килограммчик. Будет чем угостить внуков!.. Нет, как же вовремя подняла я детей своих, как вовремя...

В салоне машины наступила напряженная тишина. И подумал я в эту минуту: не в этой ли скудости сельских прилавков не отчетно-бумажная, а истинная цена «большому орошению»? Да так ли делаем мы его? Ведь Саратовская область истратила на мелиорацию больше трех миллиардов рублей! В дело ли израсходованы эти рубли? Если судить по результатам — не кощунственно ли звучит нынче победный девиз водного Главка: «Только вперед! Без оглядки...» Он же явно необходим бюрократам только для громких отчетов и звонких рапортов, для премий и продвижений их по служебной лестнице — для карьеры, проще говоря.

В 1964 году, в котором приехала жить в Заволжье наша спутница, «большим орошением» в Саратовской области еще и не пахло. С тех пор площадь орошаемых массивов увеличилась на сотни тысяч гектаров. За эти годы в областные и столичные «верхи» столько отослано восторженных рапортов и реляций. Столько отшумело митингов по поводу очередных «побед» и «досрочных» пусков всевозможных главковских объектов.

А сколько на лацканы пиджаков навешано сверкающих новизной орденов и медалей! Скольким присвоено почетнейшее звание «Заслуженный мелиоратор РСФСР»!

А на прилавках магазинов области — в особенности сельских — как в нищенской суме: ни-че-гошеньки...

Доктор биологических наук из города Тольятти С. М. Коновалов вполне обоснованно считает, что «общество не может быть передовым, если его население не обеспечивается качественными водой, воздухом, пищей. Если общество не в силах этого сделать, значит, так и надо сказать, что оно недееспособно» *.

Итак, дееспособны ли мы? Кому-кому, а нам-то вроде бы прибедняться грешно: мы давно летаем в космос, создали космический корабль многоразового использования «Буран», строим атомные подводные лодки.

И неужели не хватит у нас ума, сил и желания навести должный порядок в мелиорации и не сгубить еще один обширный регион матушки-земли?

Той самой, что худо ли, бедно ли, а еще кормит нас и поит.

* «Волга», 1988, № 9, с. 9.

В ближайших номерах читайте в «Нашем современнике»:

Александр СОЛЖЕНИЦЫН. Статьи **«Жить не по лжи!», «Поминальное слово о Твардовском».**

Валентин РАСПУТИН. Статьи **«Из глубин в глубины», «Правая, левая где сторона!», «Смысл давнего прошлого».**

Письма Василию БЕЛОВУ.

Аркадий САВЕЛИЧЕВ. Роман **«Переборы».**

Гарий НЕМЧЕНКО. «Заступница». Повествование в рассказах.

Фатей ШИПУНОВ. Очерк **«Великая замятня».**

В 1990 году:

Александр СОЛЖЕНИЦЫН. «Октябрь шестнадцатого» (из цикла романов «Красное колесо»).

Юрий БОНДАРЕВ. Роман **«Желание».**

Сергей АЛЕКСЕЕВ. Роман **«Крамола»,** книга вторая.

Валентин ПИКУЛЬ. Роман **«Сталинград».**

Рубрика «Русская мысль»: труды Н. БЕРДЯЕВА, С. БУЛГАКОВА, Н. ЛОССКОГО, В. РОЗАНОВА, Е. ТРУБЕЦКОГО, Г. ФЕДОТОВА.

Материалы, посвященные русской религиозной мысли прошлого и настоящего.

Записки П. А. СТОЛЫПИНА.



Иван МАРКЕЛОВ

КОЛЛЕГИЯ

ПОВЕСТЬ

НА ПЯТНАДЦАТОЙ отметке эстакады номер пять утром обнаружили труп: аппаратчик Липкин лежал ничком, с пробитой головой.

Место происшествия уже осматривали двое в штатском и один в милицейской форме, когда на эстакаду за председателем профкома Полынковым стало взбираться и остальное заводское начальство: директор Зайцев, секретарь парткома Ровнов и начальник технологической установки Жеребин. Тяжело дыша и тесня друг друга, они сгрудились на площадке, чтобы не мешать оперативникам — железный настил с перильцами из уголка узок для стольких человек. Посматривали туда, где лежал труп. Ровнову, горячему, вспыльчивому, не терпелось сделать выводы, Жеребин присутствовал по обязанности — вдруг у следователя возникнут вопросы, а Зайцев мог бы и не подниматься по крутой лестнице с поперечинами в два круглых стерженька — ему тотчас, как только разобрались, доложили бы.

Под эстакадой, вычерпывая грунт из котлована, ревел экскаватор, у стены соседнего цеха ему вторил бульдозер — с натужным рычанием толкал перед собой земляной вал в перемешку со строительным мусором. И Полынков деловито отмечал, что с мучительным придыханием воют машины, голосят о Липкине, может, их рукотворное железо так же чувствительно, как и природа. Внизу, в котловане, вытянувшемся перпендикулярно эстакаде, он видел фигурки сварщиков, перед ними едва заметные, блеклые при ярком солнце, огоньки, и опять думал как о чем-то будничном, что огоньки притушены в знак траура, хотя сейчас на заводе еще мало кто знал о случившемся. Он понимал, почему администрация постаралась пресечь, хотя бы до похорон, расползание слухов о смерти аппаратчика: не надо портить настроение людям, отвлекать от работы. И люди работали по заведенному порядку, видел Полынков, пока шел к злополучной эстакаде.

Сейчас его взгляд был примагничен к трупу Липкина, а вернее — к черноте пролома на голове, около залысины. Рослый, крепко сложенный при жизни, мертвый Липкин казался удивительно маленьким и каким-то плоским, словно вжавшимся в настил под тяжестью нависавших сбоку от него и над ним восьми десятков труб. Переведя взгляд на пакет трубопроводов, напоминавший туго натянутые гигантские струны разной толщины, Полынков уловил гул ветра в них и вспомнил, как они вместе с Липкиным вселялись ветреным ноябрьским днем в новую девятиэтажку, в один подъезд. Всей мебели у них было — по

Журнальный вариант.

раскладушке, они взяли их напрокат в общежитии у коменданта. Тряхнув раскладушкой, Липкин сказал радостно: «Ничего! Была бы крыша, а богатство само подвалит!» — и устыдился своей радости, стеснительный, застенчивый.

Не отрываясь от застывшего в нелепой позе аппаратчика, Полынков вдруг осознал, что гибель близко знакомого ему человека не вызвала в нем горя или хотя бы сострадания. Страха смерти Полынков не знал, он со спокойной душой готов был принять ее в любую минуту, оттого, наверное, смотрел на труп, но не верил в происшедшее, не связывал воедино смерть с ее причиной и последствиями. Постепенно он выходил из оцепенения.

Внимание Полынкова привлек перекинутый на лямке через плечо аппаратчика противогаз. Поначалу он принял его за матерчатую сумку: вот, мол, прихватил ее с собой человек, в недальнюю дорогу собрался, да и ушел навсегда, ушел, а об этом еще не знают его дети, Саша, русоволосый, в отца, Юленька, наверняка будущая пианистка, усидчиво распространяющая из квартиры по всему подъезду торопливые гаммы; не знают его жена, Катя, библиотекарь медицинского училища, тетя Нина, его мать, приехавшая доживать свой век к младшему сыну.

Когда они узнают об этой смерти, размышлял Полынков, наблюдая, как следователь переводит лупу с пробитой головы на вентиль, с вентиля на мостки эстакады, а с них на трубы над головой погибшего, когда он, Полынков, сам поверит в эту смерть, печаль и страдания нарушат всеобщую гармонию, космическую: нарушат, потому что она, озаряющая светом прозрения, сама набирает силу от душевного света, от лада в человеческом бытие, а если их нет, то иссякает. Именно космическим явлением считал Полынков смерть человека, которая переводит его духовную энергию в иное измерение, не ограниченное привычными в этой жизни пространством и временем. Но почему космос выбрал Липкина, чему принес его в жертву: стремлению пресечь заключавшееся в нем зло или потребности обратить людей к добру? Понять это сейчас Полынков не мог.

«Вот тебе и крыша, вот тебе и богатство», — простодушно повторял он про себя, не выпуская из поля зрения оперативников: один смотрел через лупу, измеряя расстояния матерчатым метром, другой щелкал фотоаппаратом, третий, в форме, записывал короткие, не совсем понятные фразы своих сослуживцев. Полынков, стоявший к трупу ближе своих коллег, услышал за своей спиной возню, шарканье подошв по звучному металлу площадки, негромкий разговор. Он уловил озабоченность в словах директора:

— Теперь жди комиссию...

Какой ничтожной показалась ему эта озабоченность директора комиссией рядом со смертью человека. Он оглянулся — Зайцев стоял, положив одну руку на перильца и глядя вдаль, точно капитан на мостике, в другой руке вертел сигарету, подносил ее ко рту и опять убирал. Седой роскошный чуб разметывается на ветру, взгляд неподвижен — Полынков залюбовался: как бесстрастно, царственно смотрит директор на площадки своего завода, какой породистый, сильный человек! Умный, строгий и... — Полынков пригасил свою мысль, спрятал ее в подсознание, чтобы не думать о человеке дурно. То, что Зайцев без пользы вертел сигарету, выглядело невероятным — он даже на планерках, в присутствии женщин, дымил без конца, и ему прощали слабость заядлого курильщика: столько забот, на нервах держится. Отметив эту невероятную воздержанность, Полынков подумал, что теперь-то, в такой обстановке, директору подавно полагалось бы закурить, а подумав так, заподозрил неладное, даже почувствовал неясный испуг, похожий на испуг при роковой болезни, еще сокрытой, не обнаруженной в организме, но уже угнетающей психику. Он попытался вслушаться в себя, прояснить, задержать ускользающие мысли, но их

ход прервал следователь неуместно странной, до смешного избитой фразой:

— Шел, споткнулся, упал, — и для убедительности, поддернув рукав плаща, навел увеличительное стекло на вентиль. — Здесь кровь и налипшие волоски. Они по цвету совпадают с волосами покойного. Только вот не ясно, обо что он споткнулся, почему упал. Он один шел, рядом никого не было?

— Он был здесь один, — почему-то уверенно отозвался Жеребин.

— Пьяный напился, на ногах не устоял! — резко вклинился Зайцев. — Пьют! Никакие запреты на них не действуют!

— А чего пить-то? По всей округе — сухой закон, — возразил Ровнов, задетый косвенным упреком парткому.

— Заводской спирт воруют!

Полынкову стало не по себе от злобы в словах директора: живые выговаривают мертвому... Он ждал еще каких-то слов, но неестественная тишина поглотила все звуки — и многошумный гул завода, и треск сварки в котловане, и глухие шепотки оперативников. Наконец тишину разорвал рев землеройных машин где-то внизу, а у самого уха Полынков услышал робкое покашливание Жеребина.

Огорченный злостью директора, Полынков уже рассеянней наблюдал, как следователь пинцетиком что-то собирает с вентиля и складывает в пробирку. Теперь он, Полынков, пожалуй, соглашался с его заключением: да, вентиль, о него ударился Липкин. И вдруг взгляд задержался на противогазе. Завод еще строят, приказа снабжать персонал противогазами не было. А Липкина почему-то снабдили. Почему? Правда, он им не воспользовался, даже не распаковал... Полынков поднял воротник, поежился, но не от холода, хотя ветер и прошивал насквозь осеннее пальто, а как-то непроизвольно, как непроизвольно вырывается вздох у тяжело опечаленного человека. Подозрение захватило его мысли, и причина испуга стала ему понятной: кто-то виноват в смерти Липкина. Да, он ударился о вентиль, но с ним что-то случилось до удара. Что же?.. Испуг был настолько силен, что Полынков закрыл глаза, мысленно обратился к Ольге, позвал ее из беспредельности существования. И она откликнулась: к Полынкову возвращалось спокойствие, а с ним и уверенность... Он распрямился, отогнул воротник, опять стал деловито рассматривать соседние эстакады, нитки трубопроводов, технологические колонны — искал, где таилась причина смертельной травмы Липкина. Чувствовал, она связана с химией. Но пока не находил прямой связи.

Химия не интересовала Полынкова, и когда он, инженер по холодной обработке металла, поступил на этот завод, она все так же оставалась в стороне, вне круга его интересов. Ему, заместителю начальника ремонтно-механического цеха, забот хватало с железками, в химическую технологию он не вникал. Да и не до того было — захлестнули фланцевые соединения... Их завезли четыре года назад, свалили как попало вдоль заводских железнодорожных путей, потом переправили на временные базы оборудования, на бетонные площадки под открытым небом. Там фланцы благополучно проржавели — в плоскостях соединения появились раковины. Ржавчину теперь приходилось снимать вместе с «живым» металлом, наваривать новый слой, стачивать наплывы, шлифовать соединительные поверхности. Зайцев давил:

— Мне чтобы фланцы были! Я за тебя не буду отвечать на коллегии! Сам поедешь!

Он почему-то больше всего боялся коллегии министерства и ею стращал Полынкова. А тот понимал несуразность угрозы: чтобы какого-то замначальника цеха да на коллегию! И все же угроза оставляла тягостный осадок. Вернее, не сама угроза, не ее содержание, а состояние директора: Зайцев вдруг вспоминал, что Полынкову всего

тридцать четыре, и забывал, что восемнадцать из них он проработал на производстве, — обращался к нему на «ты» и цепенел, а его синие, все успевавшие подметить глаза словно проваливались в глазницы и мертвели. Видно, что-то жуткое случалось на коллегии с Зайцевым.

На каждой планерке, закурив и занеся авторучку над строчкой графика, вместе с дымом выдыхал директор один и тот же вопрос:

— Сколько фланцев сдали вчера, товарищ Полынков? — И если тот называл большую цифру, Зайцев, записав ее и успев затянуться, выдыхал с новой порцией дыма: — Молодец, молодец, герой перестройки! Невозможное делаете возможным.

— Из г... конфетку, — однажды уточнил Ровнов, вздохнув: он-то понимал цену ржавой рухляди.

Полынков считал, что всякое поощрение разжигает корысть и замутняет, ослабляет дух. Но похвала директора попадала в точку: была приятной. Он действительно держался на грани возможного и невозможного. Уже за полночь, когда дети спали и не могли своей живостью наполнять его отцовские чувства, он едва довалакивал ноги до дома, проглатывал ужин, который Лена держала подогретым, падал в постель. Мучительно просыпался от будильника, не восстановив силы, но в следующий миг заставлял себя сделать, экономя минуты, два-три самых необходимых упражнения, вызывающих наиболее мощную, психическую, энергию, и ехал на завод уравновешенный, с бесстрастием чуткой природы в глазах. Глаза льдисто сверкали или ненастно темнели, когда он вдруг ненароком замечал в дальнем углу цеха директорский катер, бросовый, купленный за гроши, поначалу ржавый, с дырявым днищем, а потом переделанный двумя рабочими вплоть до шпангоутов, одетый в нержавеющую сталь, с никелированным фальшбортом, но в то же время и как бы уродливо оголенный, в жалком ожидании какой-то особенной краски, поисками которой занимался отдел снабжения.

Полынков отводил глаза от предмета директорской корысти, и они опять обретали бесстрастность чуткой природы, ее покой самосозидательной работы. Он обсрегал этот покой, потому что множеству людей был нужен действующий завод, а без фланцев не свяжешь системы, не протянешь трубы, не пустишь ни один цех. Значит, нельзя позволять себе ни раздражения, при котором не сотворишь добро, ни злости, уничтожающей гармонию. Он мысленно сочувствовал Зайцеву, обреченному на неизбежные страдания, и, забыв о нем, хлопотал об угольке или досках, чтобы «буржуйка», возле которой обогревались рабочие, не остывала, торопился получить у снабженцев хоть сколько-нибудь шлифовальных кругов, абразивов, которых никак не напасешься при такой-то валовке, летел в кабине грузовика на кислородно-азотную станцию за дефицитными баллонами, просил у начальника транспортного цеха, а то и у директора самосвал или тракторную тележку, чтобы привезти заготовки с базы оборудования, звонил в управление энергосетей, когда вдруг отключали электричество и дымный цех погружался в пугающую тишину, писал себе в книжечку, подсчитывал, сколько фланцев сдали и сколько успеют сдать до конца смены, лез в станок, если наладчик не мог устранить поломку.

Все ему удавалось, дело заходило за дело, да и люди, хоть и терпели они бесприютство затяжного строительства, что требовало от них напряжения, которое пробивалось в раздраженных голосах, в угрозах кому-то пожаловаться, где-то найти управу, когда смотрели в глаза Полынкову и разговаривали с ним, вспоминали свою первородную человечность, изломанную и забытую в исковерканности строительства, и откликались на его просьбы. Особенно рабочие его цеха. Он подходил к каждому по отдельности, начинал завораживающими словами: «Завод надо пускать, а, понимаете ли...» — и просил повечерить, остаться, значит, после смены на часок-другой, при этом переживал стыд, угнетенность, поскольку сам видел, что в дымном недостроенном цехе

негде ни поесть, ни попить, ни справить нужду, что смена — и та горестно длинна. Однако рабочие оставались, допоздна обдирали, наваривали, точили. Иногда он с недоумением смотрел на груды ржавых фланцев, думал: чем так маяться, лучше, дешевле отправить их на переплавку, заказать новые — и тотчас отгонял бунтарскую мысль. Он хорошо знал металлообработку, ее состояние в стране, легко представлял себе заводы, станочные линии в механических цехах, отдельные станки — либо обтерханные, дышавшие на ладан от возраста, либо свежевыкрашенные, ультрасовременные, но обязательно с испорченной автоматикой, а кем испорченной, не найдешь: текучка. И на фоне этой мешанины из ветхого старья и суперстанков с изуродованной автоматикой, позарься он на новые фланцы, выглядел бы даже не бунтарем — наглецом в глазах заводов-поставщиков. И не стали бы они слушать, измотанные планом, что кладбище ржавчины вместо их изделий — тоже по причине текучки, что Полынков не виноват. Где уж тут переплавка! Лучше привычная, как на всех новых заводах, «реанимация» оборудования.

Жесткое давление Зайцева Полынков считал неизбежным, ведь на Зайцева давил министр: пусковые сроки сорваны, завод не пущен — пускать немедленно. «Пуск» на разные лады проникал в души, завораживал, будто манящее таинство космического пространства с его неведомыми, но, несомненно, лучшими, чем наш, грешный, мирами. Да и сам-то Полынков, признавался он себе, тоже ссылался на пуск, тоже давил на рабочих; что ни говори, а служебная просьба начальника, даже краснеющего от стыда, — это смягченный приказ для подчиненных. В давлении по принципу сообщающихся сосудов была своя гармония, но Полынков не принимал ее, видел: нижние слои испытывают постоянное и более сильное давление, чем верхние. Уровень сообщающихся сосудов Полынков рассматривал в пределах завода и пытался понять, за счет каких же самотворящих сил мнимая гармония может стать подлинной. Инженер, он предпочитал изображать всякую суть графически, рисовал схему управления заводом в виде горизонтальной волнистой трубки, один конец которой запаян, другой, открытый, поднят вертикально. Трубку он мысленно заполнял жидкостью, обычно водой, и от ее вертикального столбика (от дирекции) воздействовало давление: меньшее на изгибах вверху (начальники цехов), большее на изгибах внизу (рабочие); наклонные части изгибов обозначали начальников смен, участков, мастеров, бригадиров. Но этот сосуд не выявлял никаких самотворящих сил, и Полынков смотрел на него безысходно, вздыхал, подрисовывал к отверстию вертикального столбика воронку, разумея под ней вышестоящее руководство, и благодаря воронке волнистая трубка становилась похожей на кобру, поднявшую голову.

Обычно в конце рабочего дня, подсчитав, сколько сдано фланцев, и видя, что сдано меньше потребного, он под столбиком цифр подрисовывал эту трубку с воронкой, думал над ней, но не мог придумать ничего утешительного. На многих страницах его записной книжки под столбиками отчетных показателей лежала кобра и словно бы грозила голосом Зайцева: «Сам на коллегию поедешь!..»

Коллегия не пугала, а вот странная смерть Липкина вызвала испуг за людей, и состояние испуга было для Полынкова таким непривычным, не подвластным его вдруг ослабевшей воле, что он сосредоточился на Ольге, обратился за помощью к ней. Она помогла, ее голос зазвучал в ушах, он увидел себя на крутояре, над рекой, и обратил свой взор к простору. С высоты эстакады широко открывался восток, не заслоненный корпусами, технологическими колоннами. За белым каменным забором начиналась степь. Разбуженная ветром, вдали поднялась мутным облачком пыль, помаячила в синеве неба и опять улеглась в свою полынную колыбель. Светло преображенный простором, Полынков воспрянул и, когда боковым зрением заметил, что Липкина

перевернули навзничь, не захотел нарушить в себе обретенный покой, не стал смотреть на его чужое, онемевшее лицо, а обратил взгляд на своих сослуживцев. Ровнов, придерживая шляпу спереди, как фуражку за козырек, подался к трупу, был сосредоточен до испуга. Жеребин стоял поникший, Зайцев по-прежнему вертел сигарету, по-капитански смотрел вдаль, в глубь заводской территории. Полынков спросил:

— Почему не закурите, Юрий Дмитриевич?

Зайцев от голоса вздрогнул, глянул на зажатую между пальцами сигарету, ожег Полынкова ледяной синью глаз.

— Вы что, не понимаете?.. — И смолк, отшвырнул сигарету, обе руки положил на перильца.

Один из оперативников уверенно пояснил:

— По предварительным наблюдениям, криминала нет. Упал, ударился о вентиль, проломил череп. Состояние сердца и содержание алкоголя будет установлено при вскрытии. Труп надлежит отправить для дальнейшего обследования.

Все, что требовалось от оперативников, они вроде бы сделали, сфотографировали и описали, дальнейшие хлопоты возлагались на администрацию. Зайцев первым начал спускаться, через плечо приказал Жеребину:

— Займись, Олег Степанович. Кран подгоните сюда или как. Но чтобы шуму поменьше, не демонстрируйте.

— Откуда у него противогаз? — спросил Ровнов, спускаясь вслед за Жеребиным.

— У нас ими вся кладовка забита в конце коридора. И дверь не заперта, — снизу отвечал Жеребин. — Может, прихватил для форсу.

— Хорош форс — лишнюю тягу тащить на верхотуру. Он же не новичок, работал на химии...

— Владимир Борисович! — прервал Ровнова Зайцев и замолчал, осторожничая, опасаясь, не ступить бы мимо перекладины. — Владимир Борисович! — и опять замолчал, спиной спускаясь с последних поперечин, и, уже на земле, в третий раз выкрикнул: — Владимир Борисович! Как в поселке выполняется решение бюро по тесному контакту с милицией в борьбе с пьянством?

Ровнов на минуту опешил, не помутился ли головой Зайцев от тяжелого спуска — такую кудрявую невнятицу закрутил директор. Но потом понял, о чем его спрашивали, и ответил, что не только для партбюро — для милиции не осталось никакой работы в поселке: семейных в нем нет, в магазинах спиртного не продают, а холостяки в общежитиях самогон не варят.

— Сухой закон, сухой! — закончил Ровнов, спрыгнув с двух последних ступенек.

— Сухой-то сухой, — жестко возразил Зайцев, — но в цехах следует ужесточить контроль за источниками спирта. Вон результат: погиб человек.

— Кругом замки, — хмуро бросил Ровнов и напомнил, что «источники», краны трех небольших систем, подающих этиловый спирт, не только на замке, но и огорожены решетками.

Зайцев, Ровнов и Жеребин отправились к черному зеву корпуса, а Полынкова оставили при покойнике, пока распорядится Жеребин. Только теперь Полынков заметил и пожалел, что Липкина не укрыли и ветер не ко времени весело играет его редкими волосами, то обнажая, то скрадывая залысины и темное запекшееся пятно, что воротник рабочего бушлата складкой лежит под шеей, выгибает ее на излом, отчего неестественно остро выпирает кадык. Поискал, чем бы накрыть погибшего, ничего не нашел, даже лоскутка стеклоткани, обычно всюду валявшейся на стройке, и тогда снял свой шарф, положил на лицо, приподнял голову трупа и подвернул концы под затылок. Руки запомнили холодную, каменную тяжесть, и, чтобы не пустить ее в сердце, в

мысли, Полынков оглядел пространство перед собой, огромное, но все же ограниченное светом рассеянных лучей, непроницаемо голубое. Не помогло, в душе нарастало смущение, тяжесть мертвой головы тревожила. И тогда Полынков проник сквозь голубизну в чистую тьму прозрачности, наполненную звездами, взглядом скользнул мимо блекло-пятнистой Луны к Венере, слева и повыше от нее качнул зыбкий ковш Большой Медведицы, затем, еще выше, припал к матово сверкающим россыпям Млечного Пути. Память о холодной тяжести стала ослабевать, но еще таилась в руках. Полынков миновал Млечный Путь и теплые туманности, оглянулся назад, увидел Галактику, слитую в единую звездочку, вобравшую в себя и крупицу Солнца, и впал в воспоминания о Земле, вроде бы уже не существующей, на которой в забытые уже времена он, может быть, жил, а может, всего лишь присутствовал в реальности земного окружения, испытывая счастье своего несуществованья в бренности. «Не вспоминай, не вспоминай», — велела невидимая Ольга, рассеянная в пространстве, в звездах, в галактиках, и он подчинился, и его тоже приняло пространство, превратило в беспредельность, в звезды, в галактики, напомнило ликованием раскованности и слитности — с чем? — кажется, со всепронизывающей силой, поднимающей, поднимающей; но она лишь пронизывала его и охватывала, не позволяя слиться с нею, потому была желанно ощутимой и удерживала в блаженстве полета и невесомости... Вызывая мимолетную тень сожаления, от которой, однако, вздрогнуло мирозданье и вскрикнула душа, откуда-то долетел невнятный звук, звук повторился, повторился еще, и Полынков увидел пространство голубизны, почувствовал расслабленность своего лица, безвольный оскал улыбки, самозабвенный восторг в глазах от слияния с бесконечностью. Но веки уже не оберегали самозабвенья, через раскрытые глаза втекала бренность обозримым пространством голубизны, и в ней сужалась, меркла только что беспредельная, сияющая восторженность. Улыбка стала опадать, лицо обретало маску привычного отягощения, хотя Полынков еще пребывал в блаженстве от слияния с обозримой голубизной, но в блаженстве уходящем — слабом отблеске самозабвенного восторга от слияния с бесконечностью. Не хотелось расставаться с нею, он сделал попытку вернуться в нее, но сознанию уже не хватило силы для самоотреченья, пространство голубизны, такое же крохотное, мимолетное, как Земля, Солнце, втягивало в бренность. И вот ослабевшим, обезволенно-обыденным сознанием он воспринял звук, огрубленный смыслом:

— Отчего умер? Эй! Ты что, не слышишь?

Под эстакадой, задрав голову и придерживая каску с болтающимся ремешком, стоял монтажник, раздосадованный невниманием к нему. Они встретились взглядами, и в Полынкова хлестнуло из глаз монтажника, пухлощекого, пышущего здоровьем парня, жадное любопытство. Плавные, точно космические траектории, думы выводили Полынкова из покоя бесконечности: «Это он про смерть Липкина, которую хотели скрыть, нет, смерть не скроешь, в смерти — тайна, около тайны — страсти, без них скучно такому здоровому человеку. Страсти около смерти — для равновесия, чтобы человек мог жить, хотя бы зыбким предчувствием угадывать непостижимую для него тайну и радоваться жизни. Никуда не деться от этой тайны, она на пути бездонной пропастью; слабые, мрачные уродуются от страха, как только шагнут, канут в нее, сильные, жизнелюбивые, просветляясь, взлетают, парят в счастливой невесомости, потому что дна нет, как нет ни пропасти, ни высоты, а есть только падение или полет, зло или добро...»

— Оглох? Отчего, говорю, погиб-то? — сердился монтажник, поедая глазами странно молчаливого Полынкова.

«Откуда он узнал?» — вдруг встрепенулся Полынков, окончательно вернувшись на эстакаду с гулом ветра в пакете трубопроводов, с покойником на железном полу. Поодаль от монтажника стояли сварщики с откинутыми масками, изолировщики. Прислушивались.

— Пока не определили... — негромко ответил Полынков.
— А спирт? Выпил не того, древесного? — уточнял монтажник.
— Пока ничего не определили, — повторил Полынков.

Монтажник начал прилаживать стыки труб, другие рабочие, не утолив любопытства, тоже принялись за дело. «Вот так и пойдет: выпил древесного спирта», — вспомнил Полынков подсказку Зайцева. Зачем он так? Сплоховал, от волнения не удержался? Что другое, а слух этот моментально разлетится — рабочие с охотой подхватывают слова встревоженного начальства: если встревожено, значит, виновато, а виноватого, глядишь, снимут, и наступят перемены в цехах, в столовых, может, с жильем станет получше. Слухи о начальстве и без того бродили по стройке — разные, чаще всего недобрые. Полынков их не принимал, особенно о своем начальнике цеха, который внезапно приехал откуда-то из Подмосковья и расположил к себе с первого взгляда: строгая изысканность в одежде, молочно-розовый цвет лица, какая-то округлость в голосе, ясные распахнутые глаза — все выдавало в нем человека опрятного, положительного, крепкого здоровья. В один из первых же дней Начальник повздорил с директором, назвал строительство завода паскудством, но конфликт не разросся — может, потому, что вскоре прошел слух, будто Начальник имеет волосатую руку, будто на заводе он временно — отсидеться перед назначением в верха. Полынков не верил, что такой человек подвержен корысти служебного повышения, и чувствовал свою правоту уже потому, что Начальник не докучал никакими указаниями и вообще редко выходил из кабинета. Правда, к делу относился с пристрастием, особенно к этим проклятым фланцам. На третий-четвертый день Начальник вызвал Полынкова, велев прихватить с собой пару фланцев, готовых к сдаче. Полынков прихватил, выбрав по диаметру средние, чтобы руки не отматывали и чтобы посмотреть было на что. Перед Начальником на столе белел расстеленный ватман, стояла коробочка канцелярской мастики для печатей. Он смазал мастикой плоскости обоих фланцев, поставил их на ватман, а когда повалил на бок, плоскости отпечатались не сплошняком.

— Волнистая поверхность, Александр Михайлович, — и Начальник брезгливо, будто отшвыривал тарантула, щелкнул по одному из фланцев, после чего добавил, что не будет участвовать в самоубийстве.

— Не иначе, станины слегка вибрируют, — догадался Полынков.

Дней через десять Начальник исчез так же внезапно, как и появился, — отбыл куда-то. И прошел новый слух, будто волосатая рука двинула его на повышение. Полынков помнил брезгливый щелчок, тревожился.

А вскоре на заводской профсоюзной конференции, под которую арендовали областной драмтеатр, внезапно для Полынкова его избрали в президиум. Он сел на сцене за длинный стол под кумачом, глянул перед собой, обмер от восторга: какое разнообразие лиц! Он не слушал доклад директора «о задачах», не слушал выступления, лишь смотрел — партер, бельэтаж, балкон — и любовался живой мозаикой человеческой слитности, озаренной переливчатым заревом хрустальной люстры, мягким огнем хрустальных светильников на стенах. И сам, кажется, ощущал на себе бесчисленные взгляды, световые волны от хрусталя, от позолоты, от густой бордовости бархата в ложах и ярусах. И неожиданно услыхал свою фамилию в напористой до крикливости речи Ровнова и еще более неожиданное предложение: «Избрать председателем профкома!» Театр зааплодировал, а второй ярус, та часть его, где сидел ремонтно-механический цех, одобрительно заревел. Все произошло в лад приподнятому настроению Полынкова.

Его избрали, но в новой работе он ни шиша не смыслил, тут же погряз в бумажках, в сборе всяких цифр для облсовпрофа, которые не умел выигрышно округлять — и выходило у него, что нет никакого соцсоревнования, никаких ударников-маяков, никаких песен-плясок в самодеятельности, и самодеятельности тоже нет за неимением клуба. А тут и народ повалил к нему, первому на заводе председателю профкома: дай квартиру, дай место в общежитии, обуздай администрацию — уже два года отказывают в отпуске, дескать, надо ускорить строительство. Ровнов, слыша из своего кабинета сквозь тонкую переборку натиск на Полынкова, пришел как-то к нему со стопкой профсоюзной литературы.

— Читай. Читай и действуй, как здесь пишут. А то у вас только на словах круто, изолгались. Профсоюз вместо защитника трудового коллектива стал его предателем, угодником администрации. Жми свое и на мою поддержку надейся. Пока не изучишь, из кабинета не выходи, прием посетителей отмени. В общем, набирайся, вникай...

И Полынков вникал, но только не в кабинете, а на эстакадах, в цехах...

Сейчас он ни во что не вникал, просто сидел на пятнадцатой отметке эстакады номер пять, дежурил возле трупа Липкина, время от времени поглядывая на черный проем ворот в силикатной стене корпуса. Оттуда наконец вышли два аппаратчика со сложенными носилками, следом — Жеребин с одеялом и веревками под мышкой. Мужчины запрыгали через траншеи, балки, трубы — торопились, милиция, похоже, велела не мешкать. У подножия лестницы Жеребин опередил аппаратчиков, преодолел подъем с проворством пожарника, бросил вниз конец веревки и поднял носилки.

Жеребин принес две веревки. Когда он сбрасывал конец одной из них, половина ее вроде бы осталась лежать на переходе, и никто не усомнился, не смерил, достаточно ли длины. Обвязали ручки носилок, четыре конца израсходовали, начали спускать — не хватило веревок, покойный Липкин повис над землей, рядом с нею повис, как сверху казалось. Натянутые капроновые веревки проскальзывали в ладонях, резали их, а тяжесть была такая, что вряд ли достало бы сил поднять труп на эстакаду, во всяком случае Полынков чувствовал безнадежную дрожь в руках.

— Эх, правильно говорил Зайцев, надо бы кран подогнать, — промямлил Жеребин и мельком глянул на Полынкова: — Бросим?

Полынков с непривычным раздражением поймал этот незрячий взгляд, прикрикнул:

— Не бросать! Приподнимем и веревки намотаем на перила. Взяли!

Поднатужились и, мешая друг другу руками, намотали веревки на железный уголок. Полынков жадно хватал воздух. От шарфа, которым снова повязался бережно, с последним сопричастием к ушедшему Липкину, почувствовал неприятный запах. Может, запах исходил и не от шарфа, откуда-то долетал, угнетая возбужденное от напряжения дыхание, но Полынков отвернулся, вскинув лицо к ветру. Озаренные взошедшим солнцем строительные площадки замерли, на них всюду стояли, распрямившись, люди, наблюдали за нелепым выносом человека с его последнего рабочего места. Нелепость усугублялась тем, что, когда приподнимали носилки, раскачали их, а ветер, порывистый внизу, начал раскачивать их сильней, размашистей, и запеленутый в одеяло труп, куколкой лежавший в зеленой ложбинке носилок, маятником летал над землей. Намотанные на перильца веревки уже не требовали мускульных усилий, Жеребин отпустил свою, положась на Полынкова, и со словами «я приму его» бросился вниз. В котловане напряженно-прерывисто засигналил, завыл сиреной экскаватор, и высунувшийся из кабины машинист, чумазый, насупленный, не собирался, кажется, обрывать сверлящую мозг мелодию. Он привлек внимание всей округи сначала к себе — люди, оставив работу, пытались понять, чем так встревожен машинист, на чем так сосредоточен его взгляд,

и смотрели в ту же сторону — на этот зловещий маятник, под которым беспомощно прыгал, размахивал руками живой человек, тянувшийся к мертвому. Это только с эстакады виделось, будто носилки рядом с землей, — до них не мог достать даже длинноногий Жеребин. Похоже, от отчаяния он продолжал бестолково подпрыгивать, а маятник летал, опасно раскачивал хлипкие перильца. Едва Полынков подумал, что все-таки нужен кран, как услыхал вплетенный в заунывный вой экскаватора протяжный голос:

— Эге-ге-гей! Сейча-ас подгоню-у!

Кричал с той стороны котлована бульдозерист, парень в кирзачах и солдатских брюках. Он стоял на гусенице у распахнутой кабины, махал, должно быть, Жеребину, потом влез в кабину, дернул за рычаги, погнал бульдозер с поднятым ножом в объезд котлована. «Молодец, — похвалил Полынков. — На кабину опустим, с нее — на землю». Он перевел взгляд на Жеребина, а Жеребин словно очумел, не увидел, не расслышал сигнала подмоги — подобрал обрезок трубы, пошел с нею на летящие носилки, желая остановить их. В этот миг за котлованом что-то загрохотало, и отовсюду раздались испуганные крики, двое аппаратчиков рядом с Полынковым тоже вскрикнули. Он глянул и обмер: бульдозер со сплющенной кабиной лежал на дне котлована на боку и продолжал работать — верхняя гусеница бежала, сверкая траками, нижняя загребала землю, точно в агонии лошадь копытами. Позже Полынков по рассказам восстановит, что и как случилось: огибая штабель железобетонных плит, бульдозер пошел по краю котлована, край обвалился, и машина закувыркалась, железом кабины сминая бульдозериста. Еще холодела пронзенная гибелью второго человека душа, когда у Полынкова дернулись из рук перильца, вырвались, он отпрянул от них и, будто в горячечном кошмаре, увидел мелькнувшего перед собой человека в голубой куртке, упавшего с эстакады. Внизу Жеребин пытался трубой задержать носилки, они потеряли плавность хода, взлетели одним концом, а другим с бешеной силой рванули веревки, разорвали сварку перилец — аппаратчик не устоял...

— А-а-а!.. А-а-а!.. — откинувшись назад, завыл тонко, со скрежетом в голосе второй аппаратчик, сел на переход и закрыл лицо руками.

«В рубашке родился парень», — подумал о нем Полынков.

Перильца разорвались как раз перед аппаратчиком, перед Полынковым же только погнулись, нависли над пустотой, чудом не утянули его. Он охватил взглядом и аппаратчика в голубой куртке, и рядом с ним труп Липкина, выпавший из носилок, и носилки, повисшие вертикально, облегченно болтающиеся на ветру, и в это время подумал: «Воронка, воронка». Он вжался спиной в пакет трубопроводов, потрясенный тем, что очутился на волосок от гибели. Полынкову казалось, что он не в себе. Но сознание работало отчетливо: это погибший Липкин создал воронку, втягивавшую теперь другие жизни, надо немедленно прекратить всякие действия вокруг Липкина, иначе воронка будет засасывать и засасывать. Полынков, одной рукой вцепившись в нитку трубопровода, другой тормошил аппаратчика, и, оттесняя его от пустоты, понуждал ползти к безопасной площадке. Вдруг заметил: внизу отовсюду бежали люди, помогая взмахами рук перепрыгивать через препятствия; одни бежали к бульдозеру, над которым начал куриться дымок, другие — под эстакаду, хотели чем-то помочь и не понимали, глупые, что вот сейчас от внезапной, им неведомой силы погибнут сами. «Воронка, воронка!..» — ужаснулся Полынков и, оставив на площадке отрывисто всхлипывающего аппаратчика, соскользнул по лесенке, не глянув на аппаратчика в голубой куртке, над которым тщетно суетился Жеребин, спрыгнул в котлован, бросился к бульдозеру, уже окруженному толпой. Верхняя гусеница продолжала легко бежать, нижняя загребала землю, двигатель урчал, клубился еще не густым, но вязким дымом. Сквозь щели сплюснутой кабины краснели ос-

танки бульдозериста. «Рванет! Рванет!» — хотел предупредить Полынков, но то ли сил не хватило предупредить, то ли отвлекла белая хлорвиниловая жилка в моторе с откинутым капотом. Полынков дернул за жилку, лишь бы хоть что-то нарушить в работе исковерканной и упрямо урчащей машины, которая вот-вот уничтожит ни в чем не повинных людей. Гусеницы замерли, могор заглох. Но из-под мотора вместе с дымом пробивалась краснота.

— Разбегайтесь! Погибнете! — спазматически выдавил Полынков и бросил ком земли в багрово сочившееся пламя, схватил еще ком, бросил.

Со всех сторон летели комья земли, сначала пригоршнями, потом откуда-то появились лопаты — и вскоре надежно обвалованная машина уже походила на странную могилу уродливо искореженного железа, раздавившего человека. Полынков обмяк, руки его повисли плетьми вдоль ослабевшего тела, и он подчинился неодолимому желанию опуститься на землю. Вскинул глаза к небу: позвать бы Ольгу. И он было обратился к ней, но увидел над верхним срезом котлована голову Зайцева и рядом еще одну, в шляпе, — Ровнова. Полынков пытался напрячь душу, увидеть Ольгу, но растерзанная душа, как и растерзанное тело, обессилела. Не хотелось верить, что природа отторгла его, что он способен воспринимать одно лишь осязаемо-зримое. Полынков закрыл глаза, но тут же руки его дернулись — их рванули улетающие в пустоту перила. Он упал в темноту, в беспамятство...

Когда в глазах посветлело, Полынков увидел вокруг себя озабоченно-удивленные лица, потом отвес котлована, услышал скрежет и треск раздираемого железа, стал выкарабкиваться наверх.

Наверху возле трупов в мрачном любопытстве, в пустом безделье толпились люди. Полынков взглянул на погнутые, повисшие перильца, подумал о себе, как о постороннем: уцелел, для чего-то необходим еще здесь, в бренности, но для чего и надолго ли? Ему не хотелось лезть на эстакаду, снова оказаться над пустотой, но надо было размотать веревку, освободить повисшие носилки, теперь так необходимые, и он помчался по лесенке, оставив внизу хмурых, встревоженных, слабых людей. Он сильнее их — пониманием гармонии, он откликается ее зову действовать — ради живых, ради добра...

И вот Полынков перестал слышать ее зов, сначала измученный суетой похоронных забот, а потом окончательно задавленный терзаниями у гроба и у могилы...

Горе все перемололо, перемешало — чувства, мысли. Они стали необъяснимыми, неуправляемыми. Полынков вроде бы не владел собой, но в то же время и владел — странно, сумбурно. Он подумал о том, как старательно — заботливо — организовывал похороны. Он поймал себя на мыслях о каких-то статьях каких-то отчислений на похороны, на материальную помощь семьям погибших, на какие-то венки, какие-то гробы, какие-то памятники — и ему стало гадко от всей этой профсоюзной мишурной щедрости. «Погребальный парад!» — подумал он с неприязнью, даже с ненавистью.

После похорон Полынков не отторгал от себя печаль, находил в ней душевное пристанище. Уйти в бесконечность, в блаженство иного бытия, наполниться всепронизывающей радостью — для него было бы теперь кощунством, он и не помышлял об этом, не выходил на балкон, не прикасался к подзорной трубе на треноге под запылившимся за эти дни миткалем. Его душа не могла жаждать сближения со звездами, она замерла, не могла раскрыться навстречу им, всполошенная земным горем, искала успокоения на земле. Он даже перестал делать по утрам самые необходимые упражнения, а однажды взорвался на автобусной остановке: «Куда, хамло?!» — и с силой отшвырнул пар-

ня, лезшего по головам. Холодным рассудком Полынков сожалел, что уподобился людям, бесчувственным к гармонии, уничтожающим ее мраком злобы и мелочностью, истирающим ее своей физиологичностью, как жерновами, и умирающим преждевременно, не успев набрать достаточного запаса доброй энергии, не прибавив ее полновесно ко всеобщей, космической, отчего меркнет, угасает свет счастья. Но душа не слушала рассудка, слабая в безвольном смущении.

Полынков не переставал сомневаться в заключении следственной экспертизы, будто Липкин трезвый (алкоголь не обнаружен), погиб поскользнувшись. Конечно, и опытный аппаратчик мог потерять равновесие на высоте, запнуться; только зачем он прихватил противогаз? Проще всего было бы сходить на технологическую установку, поговорить с людьми, но Полынков тянул день за днем.

И вдруг — случай.

Минуя профком, не полагаясь, похоже, на неопытного в таких делах Полынкова, Зайцев сам договорился с городскими властями, с облторгом, заручился решением, что заводу регулярно, два раза в месяц, будут выделять мясо и продавать прямо в цехах. Это ему ничего не стоило: он — местный, в детстве гонял мяч со своими ровесниками, теперь некоторые из них — большие городские чины. Зайцев и в институте преподавал, и в НИИ поработал — связями оброс. Он почему-то не предупредил Полынкова, и телефонный звонок в профком с торговой базы, что-де присылайте транспорт, а также рубщиков, фасовщиков, застал председателя врасплох. Узнав о количестве мяса («На один «ЗИЛ» не погрузишь!»), Полынков запаниковал: рабочих на рубку и фасовку с производства снимать надо, а еще и в цехах разворачивать торговлю — канитель!.. Он срочно собрал профком, доложил о тоннах мяса, ожидал удивления, замешательства собравшихся, но получил холодный душ от Шабровой, заместителя главного экономиста, вечно чем-нибудь недовольной, занудливой.

— Расщедрились! — фыркнула она, и ее кибернетически-цифровой мозг мгновенно подсчитал: — По полтора килограмма на человека. Только людей дразнят.

Полынков ответил с намеком:

— В таком случае от своей доли мяса я отказываюсь.

Профкомовцы, сознательные люди, отводили глаза: у всех были семьи. Шаброва опять вскинулась:

— Много ли нас тут, если даже все откажемся? По сто грамм не раскинешь.

Все же Полынков отказался от своей доли, а чтобы ослабить недовольство, нашел уловку: не все цеха успели подать списки, значит, те, что подали, получат побольше, другим накинут в следующий раз, когда он, Полынков («Даю слово!»), призовет к порядку облторг: пусть пошарит у себя, не дразнит рабочих — завод самый крупный в области, понимать надо.

Рубщиков и фасовщиков подобрали запросто, мясо привезли, моментально расхватали — все прошло без сучка и задоринки. Но из цеха рекуперации, не подавшего список, в партком поступила крикливая жалоба: «Обделяют! Мухлюют! Между собой делят!» Под жалобой человек семьдесят подписались. Ровнов принес жалобу Полынкову, пристыдил и напомнил, что равенство скудости справедливей щедрого удовлетворения отдельных представителей общества, а когда выслушал Полынкова, дал совет: иди к народу, перед ним отчитайся. И Полынков поговорил в цехе с людьми, объяснил, что к чему, успокоил. На обратном пути он засмотрелся на столпотворение у пятой эстакады: бригада монтажников ладила узел газовой подстанции. Люди сновали под коленами и между колен трубопроводов, торчали над округлыми рогульками заглушек и у квадратных — родимых! — фланцев, сидели верхом на балках и ползали на карачках в траншеях — варили, обдавая друг друга сполохами, затачивали стыки, брызгая краснотой искр из-под переносных наждаков, ключами крепили запорную арматуру... Аврал на этом пятачке был не слабей, чем в бывшем цехе Полынкова. Он по командирскому тону угадал бригадира, отозвал его в сторонку.

— Чего надо? Быстрей, некогда! — выпалил бригадир; он стоял внаклонку к подстанции, готовый рвануть к ней.

— Не вы монтировали тот пакет? — Полынков кивнул на эстакаду с уже выправленными, заваренными перильцами.

— А-а-а... — бригадир вперил в него глазки, встал прочно; он, должно быть, видел Полынкова на эстакаде и теперь узнал его. — Моя бригада монтировала, моя. А что, Жеребин бочку катит? Ну, так мы не против, заменим фланцы, укажите, какие.

Полынкова будто ужалили, но он дремотно прикрыл глаза.

— Сами не знаете, какие?

— Нам-то что, нам какие скажут. Конечно, фланцы — не ахти, но прокладки все же гасят неровности. Для городского водопровода ваши фланцы — за милую душу, но здесь газ и давление другое.

— Вы про какие неровности? — холодея, припомнил Полынков слова Начальника. — Вы их замечали?

— А то нет! Рукой не ущупать, а вскользь по поверхности глянешь против света — отражение светотени, волны, значит. Ну и кое-где раковины не проварены, пустотелости глазами видать, мелкие, правда, как просо.

— А — ставили?

— Так нам — что дадут, вы тут хозяева. Сами должны знать, вам тут работать.

А Полынков-то полагал, если химики-технологи не возвращали фланцы, значит, порядок. Артисты. Затуркались, голову потеряли (он не знал, что технологи не обязаны осматривать железки, — они наблюдают, как система держит давление, и вообще за всем режимом процесса, который оценивают по течению реакции; исключение — особо важные аппараты в системе, где могут происходить самопроизвольные отклонения реакции по причине конструктивных недоделок, из-за плохих материалов).

— И теперь Жеребин вас же и обвиняет, — то ли спрашивал, то ли соглашался Полынков.

Ему этот бригадир, остроносенький, с круглыми глазками, напоминал безобидную полевую мышку, которую Полынков, когда работал на скирдовке в подшефном колхозе, прижал ребром вил к трухе; мышка изворачивалась, крутила головкой, но ее бусинки-глазки оставались почему-то смиренными, спокойными, будто чувствовала она: сейчас ее отпустят — и он отпустил. Полынков хотел было отойти, но при упоминании о Жеребине бригадир-мышка дернул на нос оранжевое полушарие каски, ощерился:

— Дур-рак он, ваш Жеребин, больше никто! Положено семьдесят два часа гонять в системах инертный газ, а он одну смену гонял и врубил сырье. Дурак. Премию захотел.

— Вы... вы... — растерялся Полынков и неожиданно для себя проговорил: — Вы монтажник, технологию не знаете.

— Я таких заводов, ну, не таких, подобных, сколько построил! У меня глаза, уши есть, слышу и вижу. У Жеребина зуд кое-где взыграл, отличиться ему невтерпеж.

Кивнув и пообещав разобраться с фланцами, Полынков медленно, очень медленно побрел к Жеребину, хоть и подмывало пулей лететь. Не хватало вспылить без достаточного основания: мнение бригадира еще не доказательство.

— Да уж теперь, ясно, разберетесь! Но в переделках мы не виноваты, пусть нам полностью заплатят!.. — летело в спину раздражение бригадира.

Жеребин съеженно сидел в боковушке корпуса, в довольно просторном кабинете, еще не оштукатуренном, без отопления, с забрызганным известью окном. На столе перед ним лежал чертеж, свисал по обе стороны, стелился по полу, на чертеже латинскими буквами рябила какая-то таблица, похоже, дозировка реактивов. Полынков не подал руки, опустился на стул, спросил подрагивающим голосом:

— Я насчет мяса, Олег Степанович. Все получили, жалоб нет?

— Получили, спасибо. Но на всех не угодишь, Александр Михайлович, может, кто и недоволен. А что? Сигналы идут?

— Вы почему не семьдесят два часа гоняли инертный газ, а только одну смену? — не выдержал, в лоб влепил Полынков.

Только он и мог так влепить, не сведущий ни в технологии, ни в режимах работы установки, ни в порядке ее эксплуатации. Другой бы сначала посмотрел журнал диспетчера, в котором должно быть указано время — начало и конец — обкатки систем, время загрузки сырья, его кондиционность, температура. А записи в журнале как раз и не было. От неожиданности Жеребин вскинул голову, и его косящие глаза стали косить еще больше.

— Но за всю смену никаких отклонений... Понадеялся, — и добавил в оправдание: — Обоснованно понадеялся.

— Вы приказали Липкину взять противогаз?

— Я не приказывал, он сам взял.

— Ага, начали загружать системы. Липкина послали проверить, нет ли кого на эстакаде. — Заземленным, совершенно заземленным стал Полынков, причинял боль человеку пристрастным если и не допросом, то во всяком случае обвинением.

— Вы не все на меня валите, Александр Михайлович, тут и Зайцев руку приложил. Сами понимаете, первая продукция, подъем духа в трудовом коллективе. И так затянули пуск.

— А почему Липкина не дождались, вообще не хватились, только утром обнаружили?

По напряженной дрожи в тихом голосе Жеребин почувствовал: клокочет в Полынкове, внешне спокойном, бешеная сила, перед которой лгать опасно.

— Так ведь думали, обедать куда ушел или спать где завалился. Ночная же смена. Они привыкли, аппаратчики, бездельничать, пока системы не работают. — Жеребин неуклюже, вытаскивая из-под стола длинные ноги, поднялся, распрямился во весь рост, шагнул было, но наступил на чертеж, выругался и плечом привалился к стене.

Ждал Полынков каких-то веских оправданий, доказательств непричастности Жеребина к смерти Липкина и вдруг услышал:

— Тут ночи не спишь, сутками пропадаешь, а тебе вместо «спасиба» строгача влепили и денежный начет в пользу погибших.

— В пользу семей!.. — поправил Полынков и едва не добавил бригадирское: «дурак».

— Ну, семей, какая разница. Теперь плати два года, как будто я...

Ветром сдуло Полынкова из кабинета. Еще какой-то миг — и он бросился бы на Жеребина, в лепешку превратил бы его, по стене размазал бы гада. «Все люди хорошие, все люди красивые, но они слабые, им надо помочь», — говорил он себе, но не понимал, что говорит, все еще видя перед собой Жеребина, которого чуть не схватил за грудки. С бесчувственностью автомата поплелся прочь. Он и не заметил, как через заводские площади, пыльные, наполненные ревом машин, через весь хлам строительства переместил себя во временную дирекцию, в кабинет Зайцева. Тот разговаривал по телефону, стоял согбенно, в полупоклоне припадал к трубке, кратко отвечал с покорной готовностью: «Хорошо... Ладно-ладно... Понял вас...» Унижался человек, а это всегда вызывало у Полынкова горькое сожаление, и он вскользь пожалел

Зайцева, тем самым ослабив яростное желание с ходу выложить факт убийства на пятой эстакаде. Опустился в кресло перед столом, закрыл глаза. Вроде подремывая, дожидался, пока директор во всем согласится с трубкой. Вот Зайцев тихонько положил ее на рычажок, зашебуршил чем-то, должно быть, чиркнул спичкой, закурил...

— Вовремя, Александр Михайлович. Министр звонил. Сам. Наши бумаги о несчастных случаях дошли туда. Всех нас на коллегию вызывают. Вопрос шире собираются ставить — вообще о пуске завода. Он ведь после такого совещания звонил!.. Наша продукция... Страны СЭВ... Мировой рынок...

Полынков уже не слушал испуганного директора, поняв главное: вызывают на коллегию. «Что там предстоит?.. Держать ответ?..»

— Меня тоже на коллегию приглашают, Юрий Дмитриевич? — спросил он, приоткрыв глаза, и опять дремотно смежил веки.

— Тебя — обязательно, — директорский голос выдавал теперь не раздражение, а испуг. — От тебя, как я понял, тоже ответа потребуют. Об условиях труда, о точках общепита. Ну и об этом... — директор жадно затянулся. — О несчастном случае. Приготовься. Возьми заключение экспертизы, наши акты. Послезавтра едем. Пуск на носу, а тут дергают!.. — начал оттаивать от испуга Зайцев.

Полынков как будто подремывал.

— Вы здоровы, Александр Михайлович? — совсем пришел в чувство Зайцев.

— Вряд ли я здоров, Юрий Дмитриевич, ослабел, таким же больным стал, как вы, — прорвалось у Полынкова.

— Я-то здоров, а вот у вас неважнецкий вид.

— Значит, послезавтра? — все же сумев скрыть, ради чего принесли его сюда ноги, Полынков поднялся.

— Да, да, вечерним поездом. Очень удобно: ночь переспим — утром в Москве. Только ваш вид меня беспокоит, смотрите не заболейте. Постарайтесь отдохнуть, ну и об отчете подумайте. Коллегия! Сами понимаете... — Зайцев по селектору велел секретарше позвать главного инженера, главного технолога, главного механика, главного энергетика, а когда отпустил кнопку, остановил Полынкова у выхода: — Впрочем, вам, Александр Михайлович, вполне возможно, и не надо будет отчитываться. Мы доложим, что вы человек новый на этой должности, еще не вникли в работу, вам нужна помощь и мы вам ее оказываем. Не волнуйтесь.

На другой день с утра Полынков отправился к областному прокурору, через его помощника прорвался, выложил копию экспертизы, в которой двумя чертами подчеркнул отрицательный анализ на алкоголь, и сказал, что этого недостаточно, что необходим анализ на токсины, на отравляющий газ. Прокурор, розовощекий, кудрявый, пахнущий дорогим одеколоном, смешливо уставился на Полынкова:

— Так вы против себя затеваете уголовное дело?

— Да, фланцы делал я, а они пропустили газ на эстакаде.

Прокурор добавил веселья в глаза, они заискрились.

— Прекрасно. Сейчас мы вас арестуем, зафиксируем ваши показания и впишем в наш отчет еще одно раскрытие тяжкого преступления. Годится?

— Согласен, — кивнул Полынков, не приняв игривости прокурора. — Я вам все расскажу, но вы должны арестовать и начальника установки Жеребина, и директора завода Зайцева.

— А вот Зайцева ни в коем случае, — засмеялся, замотал головой прокурор. — Блестящий ученый. Кандидатскую защитил об использовании местных ресурсов, которые, кстати, использует ваш завод. Хвалили, как хвалили! Наука с практикой. Блестяще защитил. Его мы арестовывать не будем.

Словно и не прокурора видел перед собой Полынков, а выскочившего откуда-то с арены цирка или с эстрады комика, в бутафорской форме со звездами на петлицах, хохочущего над тем, что обнаружилось преступление. Где-где, а здесь Полынков ожидал увидеть служащих со сдвинутыми бровями и неистребимой скукой во взоре. Полынков вспомнил газетные карикатуры, на которых возле скорбной Фемиды с завязанными глазами копошились заморские рыла в фуражках с высокой тульей, вооруженные до зубов. И он с глубоким знанием юриспруденции, о которой понятия не имел, потребовал:

— Вы нашей Фемиде глаза не завязывайте! На ее стороне закон, она все видит и все замечает. Мало ли какая диссертация. Пусть Фемида смотрит открытыми глазами!

Прокурор прыснул, багровея, готовый треснуть от смеха.

— У Фемиды для того повязка на глазах, — пояснил, сдерживая смешок, — чтобы не видеть проступки хороших людей. А Зайцев хороший человек, директор с ученой степенью. Редкий человек, редкий, — то ли шутил, то ли провоцировал прокурор.

— У меня доказательства, — настаивал Полынков. — Двое погибли при мне, а вот Липкин... Труп надо эксгумировать, — ввернул слышанное в каком-то кинофильме словцо, хотя на языке вертелось «выкопать». — Если хотите, если у вас нет рабочих, я сам раскопаю могилу?

— Когда?

— Немедленно, сейчас. — Полынков надеялся до отъезда получить исчерпывающие сведения и досадовал на прокурора за неуместное многословие.

— Не тяжело будет одному?

— У меня хватит силы. Только своих людей пришлите с машиной — принять гроб. У нас на заводе тяжело с транспортом.

Прокурор взбултыхнулся от внутреннего толчка и захохотал: во рту замерцало золото коронок, мостов. Это мерцание напомнило Полынкову что-то дьявольски извращенное, издевательски реальное, уже где-то виденное, и он в тошнотном содрогании поник, оцепенел. Полынков вдруг все понял: во рту толстяка мерцали звезды прокурорского мироздания, сумасшедшего, торжествующего над человеком, над его горем, над естеством красоты на Земле.

— Ради бога, ради бога, — умоляюще прижимал прокурор ладонь к груди, все еще содрогаясь от распиравшего веселья. — Но вы такой шутник, право.

С тяжелым вздохом Полынков преодолел оцепенение:

— Я вас не понимаю. Дело уголовное, срочное.

— Но вы же на таком посту, вы не можете не знать, что на эксгумацию необходимо разрешение местного Совета народных депутатов, разрешение санэпидстанции...

— Вашей санкции не достаточно?

— Ай-я-я-ай!.. — протянул прокурор, сменив смех на озабоченность. — Вот наша темнота в законодательствах, вот она, Расеюшка. Ну, тогда объясню. Названных специальных разрешений недостаточно. При извлечении трупа обязательно должны присутствовать сотрудники санэпидстанции, а также милиция. Далее. Надо, чтобы лицо, которое настаивает на эксгумации, дало письменное обязательство, что это лицо берет на себя все расходы по вскрытию могилы и ее полному восстановлению — ограда, памятник, цветы и прочее. Ладно, подключим райисполком, санэпидстанцию, милицию, и вы свое обязательство напишете. Подключим, хотя все это не так быстро. Главное другое. Необходимо согласие на эксгумацию и присутствие при ней близких родственников погибшего. У них здоровое сердце, крепкие нервы?

Полынков уставился на зеленое сукно прокурорского стола и стал машинально отколупывать ногтем чешуйки лака от деревянной кромки.

Он думал о семье Липкина, о том, как на глазах у самых дорогих для покойного людей будут разбирать, растаскивать ограду, снимать увядшие цветы, венки, всаживать лопаты в холмик вечного успокоения. И пробормотал:

— Для них это будет убийством, их втянет воронка.

— Вот видите? — то ли посочувствовал, то ли понял состояние Полынкова прокурор. — А чего добьемся? Следователи так просто свою ошибку не признают, если она есть. Будут защищать экспертизу, — ткнул в листок с подчеркнутыми строками, — доказывать грунтовое влияние на труп, влияние атмосферных факторов... Да мало ли! Нынче хоть в земле, хоть в атмосфере столько этой токсичной пакости! Все не так просто... Живые, на грешной земле живем и защищаемся, открещиваемся от сотворенных грехов. Но я не возражаю, нет. Если настаиваете на эксгумации, пишите заявление, мотивируйте.

— Я подумаю... — Полынков вышел из кабинета.

Уверенность пошатнулась, Полынкову стало стыдно, что он спасовал перед какой-то житейской правдой прокурора, что вроде тоже принял безнаказанность убийства. Нет, не спасовал и не принял, а вознамерился найти правду. Какую? Где найти? Зло проявило себя в завершенном виде, в смерти. Неужели правда, чтобы противостоять злу, должна вызвать смерть? Неужели в этом и заключается гармоническое равновесие?..

Весь следующий день Полынков собирал документы, метался по заводу, сравнивал с проектом, что и как построено. В дирекции побывал, во всех отделах, потом через рытвины и насыпи носился от одной технологической установки к другой, в гулких коробках корпусов рысью пересекал трещавший огнем и грохотом железа бесконечный фронт монтажных работ. И вдруг наткнулся на бывшего Начальника, чистоликого, с белоснежным треугольником платка в нагрудном кармане под элегантной курткой с молниями и кнопками. Штиблеты Начальника удивительно сверкали, не запачканные в заводском бездорожье. Он шел в центре небольшой группы, похоже, возглавлял ее. Растрепанный, вспотевший Полынков приостановился от неожиданности, кивнул, полетел было дальше — день кончается, вечером уезжать в Москву, а он еще недостаточно вооружен цифрами и фактами. Начальник приветливо пожал бывшему своему заму руку, выразил соболезнование по поводу избрания председателем профкома. Отвел Полынкова в сторону. Полынков суетливо заправлял концы шарфа под борта пальто, притопывал, стряхивая с кирзачей седой прах пыли, чувствовал себя унизительно неопрятным возле Начальника. А Начальник с легкой усмешкой рассказал, что сам, без всякой волосатой руки, перешел в окружной Госгортехнадзор, принял там отдел, потерял в зарплате, зато освободился от паскудства участвовать в таком строительстве, приехал с ревизией по случаю смерти Липкина.

— О Липкине знаете? — вырвалось у Полынкова.

— Как всегда, приказ по всей отрасли: надлежащие меры предосторожности и тэдэ.

— Но почему меня не предупредили о вашей комиссии? — волновался Полынков. — У меня же к вам не второстепенные вопросы, лично к вам, руководителю комиссии. А мне не сказали.

Начальник устойчиво-улыбчивым взглядом проник в душу Полынкова, развеял защитное поле, оберегавшее от вторжения в тайны, которые прячет человек даже от себя самого и обнаружение которых делает его существование муторным, а то и вовсе невозможным. Начальник угадал тайну Полынкова: ею была мстительная ненависть и к Жеребину, горюющему о вычетах из зарплаты, и к Зайцеву с его советом не выступать на коллегии, и к прокурору с его золотозубым мирозданием. От взгляда Начальника Полынкову стало нехорошо, он

словно потерял опору, силой паники отброшенный в хаос. Полынков уже не мог управлять собой.

— Вы знаете Ольгу? — внезапно для себя, мгновенье назад еще не думая о ней, спросил он.

— Вы очень ослабели, Александр Михайлович, раньше вы мне не поддавались. Ослабели до отчаяния. Это я сразу увидел, потому выразил соболезнование, — доброжелательно и твердо заметил Начальник. — Не надо так уж тревожиться, что вам не сообщили о нашей комиссии, это естественно. В пирамиду управления заводом ваша личность еще не вписалась. Она выпирает, грозя оказать неожиданное давление на пирамидки соседних слоев, поколебать их. А пирамида любит устойчивость...

— У вас неправильное представление, пирамида — ложь!..

Осекся Полынков — у них над головой раздался истошный крик, и тут же прямо перед ними со звоном грохнулся обрезок трубы, подскочил над полом, крутнувшись, концом задел ногу Полынкова.

— Не намек ли, Александр Михайлович? За себя я спокоен, а вот вы ослабели, очень ослабели, — по-свойски приобмяк Начальник, отводя начавшего прихрамывать Полынкова в безопасную зону. — А Ольгу я знаю — понаслышке. Лично с ней не знаком, но, как понимаю, у нас общие задачи, хотя пути разные. В поезде поговорим, если хотите. Меня ведь тоже в Москву вызывают — перед коллегией доложить результат проверки. До вечера, — и Начальник легко зашагал к своей группе.

Полынков, растроганный и вместе с тем разозленный («Знает Ольгу, а пути, вишь, разные!»), потянулся было за ним, однако подавил порыв, побрел в контору цеха. Начальник то ли что-то почувствовал, то ли вспомнил что-то важное.

— Александр Михайлович! — окликнул Полынкова. — Александр Михайлович! Вот она упала, — кивнул на обрезок трубы, — и я подумал, верней, захотел посоветовать вам: будете в Москве — потрудитесь зайти в управление статистики зарубежных стран. Я сейчас не помню цифру, вы там ее уточните. Дело вот в чем: по данным ООН, во всем зарубежном мире противоестественных смертей стало больше, чем естественных. Люди крепкие, здоровые не доживают до старости. Их губят. Войны, катастрофы на дорогах, в воздухе, на морях, аварии на производстве. Противоестественных больше, чем естественных, — понимаете, что это такое? — и дружески опустил руку ему на плечо. — Понимаете? Это очередная Атлантида. И ради бога, не берите в голову эти пятнадцать килограммов мяса, которые вы будто бы присвоили. Порядочные люди не верят. Такой же слух, как про мою волосатую руку. Будьте самим собой, — и ушел к своей группе, повел в другие цеха.

Огорошил Полынкова: сначала говорил по сути, о том, что большинство людей не реализует свои возможности накапливать добрую энергию, из-за чего ее космические запасы тают, иссякают... И вдруг какие-то пятнадцать килограммов мяса! Да не брал он, от своей доли отказался! Почему — слух? Кто пустил? Зайцев? Жеребин? Зачем? Уж не потому ли пустили, что слишком открыто собирал он жуткие сведения о заводе? Ну, он выведет кого надо на чистую воду! Полынков цепким взглядом окинул дрожащий, словно огромная погремушка, цех и хромая поспешил в контору: требовалось подтвердить по документам, что цех делают на соплях, что фиктивный пуск назначен на декабрь и что до него осталось менее двух декад. В конторе начальник цеха, нервный от недосыпания, с готовностью листал списки невыполненных работ, жаловался:

— Еще ни один пульт не начали монтировать, а там такая головоломная мнемосхема! И кабельной продукции некомплект, вот смотрите, — начал он тыкать в ведомости ногтем с черной каемкой...

С завода Полынков вернулся минут за сорок до отхода поезда. Лена уже собрала портфель в дорогу — избавила от суеты, от лишнего раздражения. Вокзал был рядом, но время поджимало — он наскоро ужинал на кухне, положив ушибленную ногу на табуретку, а Лена восьмеркой бинтовала распухшую щиколотку. Колька увивался возле отца, Вера слишком уж тщательно мыла под краном чашку, до дыр собиралась ее протереть — ребятишки ждали, не спросит ли отец, какие гостинцы им привезти из Москвы. Но он задумчиво молчал: коллегия! Чинуши, ловкачи порядочные — прижмет он их! А они поднесут ему про пятнадцать килограммов мяса и собьют на оправдания. Ладно, еще дорога впереди — вместе с Зайцевым и Ровновым.

Забинтованная нога не лезла в меховой сапог на молнии, и он надел полуботинки — ничего, как-нибудь и в такой обуви доберется до Ольги, а если Космонавт выкроит время к ней поехать, то доедет с ним. Подумал, а Лена тут же и наказала:

— Непременно зайди к Ольге. Тебе необходимо ее повидать.

Лена крепко поцеловала его и шепнула на ухо: «Я в тебя верю... Не забывай про меня у Ольги...»

Полынков отстранил жену, снял с вешалки пальто, раздосадованный нелепым «верю», «не забывай». На ревность похоже, дурь какая-то! Он сам познакомил жену с Ольгой, они подружились, и у Лены не было повода ревновать. Да Полынков и не любил Ольгу — боготворил, как язычник боготворит явление природы, среди естества которой они и повстречались. Над речкой Уводь, на крутояре, куда он вышел из осинника с пустым лукошком, не набрав даже сыроежек: сухим было лето. Ольга сидела в тени орехового куста, прикрыв поджатые ноги подолом пестренького сарафана, опершись на одну руку, откинув голову, распустив по плечам, по спине белые волосы и устремив спокойный взор в равнинное заречье. Она не оглянулась на шорох, лишь слегка повернула лицо в его сторону, сказала мягко и странно повелительно: «Подойди, юноша, сядь рядом». Он подошел, опустился у ее ног на прогретое зноем разнотравье, полное звона кузнечиков, запахов земляники, клевера, спросил чужим от восторга и смущения голосом: «Чего тебе?» Она казалась ему ровесницей, девчонкой, лицо у нее было удивительно круглое, что подсолнух, но и на нем не хватало места ее глазищам, будто растекающимся пронзительной синевой к вискам. Первый раз он видел такое лицо — рассмеялся громко, раскатисто. Ему стало радостно, и радость прибывала в нем под ее долгим, становившимся все более улыбчивым взглядом. Она сказала: «Я знала, ты придешь, именно такой, непорочный и юный. Сколько тебе лет?» — «Шестнадцать». — «А мне двадцать два. Но я старше тебя не на шесть — на сто, а может, на двести лет. Это зависит от меры понятливости человека». Полынков ничего не понял, но будто и понял отчетливо все-все. Она велела ему посмотреть на зеркальный изгиб Уводи, на заречье с купами ветел, стогами сена и небольшим стадом коров около озерца, велела вслушаться в пение кузнечиков, в звон солнечных лучей. Он подчинился и восторженно ощутил свою слитность с природой, свою бесконечность в ней. Потом они встречались в их районном городке, она объясняла ему, как устроено мироздание, перед его уходом в армию оставила фабрику, где работала ткачихой, уехала в Подмосковье, в заброшенную деревеньку. Но он и на большом расстоянии чувствовал ее благотворную силу, иногда слышал о незримых ее действиях от случайно встреченных людей. И вдруг он вышел из-под ее влияния — или она оставила его? Лена заметила это. Свой наказ она подтвердила заданием:

— Я в портфель положила немного вяленой рыбы для Ольги. Скажешь, Коля приедет к ней на зимние каникулы. И не забывай, коллегия — это слабые люди, помогать им надо.

Он усмехнулся.

— Да, да, да, не забывай: слабые люди. Хорошо бы тебе к Ольге зайти перед коллегией.

То и дело Зайцев хватал со столика сигареты со спичками, уходил в тамбур курить.

Многие беды завода шли не от него, четвертого по счету директора, но Вавилон строительства, начатый уже забытыми, бежавшими или убеленными зодчими, требовал крови очередного агнца, и Зайцев предполагал, что едет на заклание. В самом деле, прямо одно к одному: и почти троекратное удорожание строительства, и угроза (какого? пятого или шестого?) срыва пускового срока, утвержденного министром, и смертельные исходы, и эти жареные факты, которые собрал, как доложили, Полынков. Нервозность Зайцева передавалась и Полынкову, не знавшему, что за чудовище — коллегия, и Ровнову, который бычился на своего подопечного с опаской: ох, не выскочил бы на коллегии с каким-нибудь пустяком, вроде того же мяса, не дай бог — дойдет до рабочих — демонстрация, чего доброго, закипит, мода пошла на эти демонстрации, ему же, секретарю парткома, — первый втык, чтобы налаживал дело как следует и не доводил народ до точки кипения. Лишь Еремин, главный инженер, ел, запивая, или пил, заедая, и при этом не морщился, только звучно выдыхал и поглаживал усы, выражая полное презрение к полупостановлениям о полусухих законах, потом залез на верхнюю полку и с храпом провалился в тартарары до самого Подмосковья. Умница, державший в памяти устройства всех аппаратов и систем, он расплачивался за свое запивальное чревоугодие тем, что был вечным главным инженером строящихся заводов, после пуска которых его смещали, бросали на другие объекты.

Ночью Полынков шел из вагона в вагон мчавшегося в густой непрогляди поезда, заглядывал в купе, поругивая себя за то, что не уточнил координаты ехавшего в Москву Начальника. Наконец отыскал его, принял из холеных рук стакан великолепного чаю, заваренного в трехлитровом термосе с видами Волгограда. Полынков пил чай, рассматривал парадную лестницу от Волги до аллеи Героев, статую Родины-матери. Начальник похвастался посудиной:

— Очень удобен, небьющийся, нержавейка вместо стекла. По случаю купил, бывал с проверкой. Весь город, скажу вам, провонял химией, металлургией, особенно в южной части, в Заканалье. Демонстрации там народ устраивает против химии, обращения пишет. А отчего провонял? И там заводы строили так же, как ваш, Александр Михайлович. Я уже знаю, чем кончится ваше строительство. Хотите, скажу?

У Полынкова были другие заботы, но он не спешил, хотя вагон уже укладывался, готовясь ко сну, затихал; здесь же, в этом купе, еще бодрствовали, еще не снял китель капитан-артиллерист, еще были при галстуках два инженера из группы Начальника. Днем Начальник осмотрел цеха с контрольной высоты Госгортехнадзора и был под свежими впечатлениями. Чувствовалось, человек исполнил долг и пребывал теперь в прекрасном расположении духа. Полынков поражался артистичности, комизму картинок в рассказе Начальника: как без автоматики будут «рулить» технологическим процессом, метаться у заглушек и вентилей, чтобы преподнести торжественно, как хлеб-соль, пригоршню химикатов министру в исторический день пуска, как после этого наглухо застопорят неуправляемый завод, примутся переделывать его от фундаментов до громоотводов. Забавной получалась игра в гигантский подъем химической индустрии. Артиллерист хохотнул, матюгнувшись, инженеры понятливо и безнадежно качали головами. Полынкову жгла карман записная книжка с «кобрами»: как их оценит Начальник? А

Начальник был в ударе, играл, похоже, на Полынкова, звучно раскатывал округло-сочный бас, резал правду-матку о поточной безголовости на заводе и в министерстве, которое строит и... травит, регулярно издает приказы по поводу несчастных случаев со смертельным исходом, принимает меры и... опять издает приказы с теми же вариациями. Несокрушимо и постоянно, как вечное зло.

Полынков перебил в запальчивости, заговорил о доброте, которая противостоит злу.

— Да не противостоять надо, Александр Михайлович, — азартно шлепнул Полынкова по коленке Начальник, — не противостоять, а не участвовать в нем! Воевать со злом — все равно что убивать нашественников, когда от них гибнут соотечественники. А главное-то в том, чтобы никто в нашественников не превращался и никто не воевал, чтобы соблюдал себя, человека, в красоте, в гармонии мироздания. Чего бы проще-то — соблюдать? Так нет! Целые министерства, ведомства — а цели у них вот такусенькие... А людей подмяли под себя тьму! А ведь истина же, истина: чем у́же цель у большой массы людей, тем правомерней, неотразимей зло. И мы лезем в него, творим, делая вид, что заняты служением, только строим так, что дышать от творений наших становится нечем, — заметив, что Полынков опорожнил стакан и вроде бы неутоленно сглотнул слюну, Начальник налил еще чаю: — Не откажитесь повторить, Александр Михайлович! Фирма, сам завариваю.

Полынков не прочь бы повторить, но напоминания о министерствах клином сошлись на завтрашней коллегии, затемнили разум. Полынков отказался от чая и с перехватывающей глухотцой в голосе начал объяснять, почему не приемлет традиционную пирамиду управления. Не в кон заговорил, но и вроде продолжал тогдашний разговор в цехе. Сдвинув стаканы и термос в сторону, он нарисовал на салфетке пирамиду, разбил ее от вершины до основания на ряды подобных пирамид, написал простенькую формулку, из которой было видно, что их количество увеличивается в геометрической прогрессии в каждом нижнем ряду по отношению к предыдущему. А если так, то во всех рядах давление равномерно, оно не возрастает от верхнего ряда к нижнему — прибавку в весе гасит увеличение площади. Такая схема — для обмана низов, иллюзия, будто на всех людей, начальников и подчиненных, одинаковое давление. В жизни такого не бывает. Он тыкал шариковой ручкой в рисунок, доказывал: они же застывшие формы, мертвые кристаллы — и можно ли уподоблять их человеку? Люди живут, перемещаются в обществе, циркулируют, а их — в мертвые слои. Да и вся пирамида, принятая за стандартную схему управления, мертва, она — надувательская придумка бюрократии, склонной замаскированно культивировать рабство и утверждать, будто оно — демократический строй. Ближе к истине вот такая схема — и он нарисовал «кобру», рассказал, как понимает управление заводом, и его, сгрудившись к столику, слушали не перебивая.

Артиллерист не согласился:

— В армии система автоматического управления действует от внешних посылок. Скажем, нарушена граница — поступает соответствующий сигнал. У вас нет внешней причины давления, оно — от произвольной схемы.

Полынков с надеждой посмотрел на Начальника, но и тот не одобрил:

— Отнимаете у человека привычную игрушку. Приспособился он объяснять иерархию пирамидой, и она ему понятна. В конце концов, изменение условной схемы не меняет сути.

— А я так не считаю, не считаю, — заволновался Полынков, чувствуя, что его козыри для коллегии сейчас будут биты. — Схема приучает мыслить именно так, как она выражает суть, и мы покорно втис-

киваем себя в пирамиду, превращаемся в похожую на все прочие фигурку... Становимся одинаковыми...

Заспорили о схемах и системах, ничего не доказали Полынкову, он тоже никого не убедил, ушел от Начальника не успокоенным, а еще более смятенным. Не получил поддержки, но все же не отрекся от того, что должен сказать на коллегии. Щиколотка побаливала («Кость, что ли, треснула?»), и на играющих переходах между вагонами он тяжело опирался на поручни, неуверенно проходил над грохотом колес, над ревом декабрьской ночи. В купе свет уже погасили, но Зайцев еще не спал, ворочался, а с Полынковым не заговорил. Полынков тоже не сразу уснул, садился, поглаживая ноющую щиколотку, беспокоился, успеет ли завтра хотя бы вчерне написать выступление.

Поезд прибыл без опоздания, в девятом часу, и они к началу рабочего дня устроились по брони в гостинице «Москва». Зайцева и Ровнова поселили в номере на пятом этаже с видом на площадь 50-летия Октября, на Александровский сад и Кремль, Полынкову с Ереминым достался номер на втором этаже, с окнами на проспект Маркса. Небо было заволочным, сыпал мелкий снежок, тусклое утро едва пробивалось в номер, но он празднично засверкал чистотой, лаком добротной мебели, посудой и приборами в шкафу за стеклом, как только включили свет. Зайцев моментально навел справки и оповестил по телефону: коллегия — в три, сбор у выхода из гостиницы — в два. От этой вести встрепенулся Еремин, своей легонькой походочкой измерил номер, но почему-то виновато, покряхтывая, сказал Полынкову, что вот — здоровье, что вот — прогуляться бы ему. Ладно, его дело, пусть поправит здоровье, всякие коллегии он видал-перевидал, ему не готовиться. Оставшись один, Полынков сел писать. Мягко и ласково-тепло горела настольная лампа под матовым абажуром, огромный сверкающий стол выманивал мысли на простор. Иногда Полынков отвлекался, смотрел в окно, на Дом Совета Министров, на дверь с вывеской «Госплан СССР», и опять писал быстро, легко, раскованно, чувствуя прилив сил от захватившей работы. Он удивился: столько было сомнений, дум, а обо всем написал на трех листочках, правда, конспективно. Осталось найти графическое доказательство нелепости давящего управления, чтобы коллегия поняла свою ценную роль, и он — в который раз! — нарисовал «кобру». Она воскресила разговор в поезде. Полынков взвешивал возражения, не принимал их, но и противопоставить им ничего не мог. В номер влетел Еремин — весело-шалый, пахнущий морозом, с искорками снега в меховой шапке, а Полынков по-прежнему сидел за столом, уставясь в странный рисунок.

— Бросьте, бросьте, Александр Михайлович! Всё они знают про наш завод, все. Вы думаете, он для них... Э-э, батенька! Не наш первый, не наш последний. Да и директор здесь, пока в штанах, а там посмотрим, с кого снимут.

— Вот, понимаете ли... — Полынков ощутил спиной холодок свежести от склонившегося Еремина, сказал ему про «кобру» и про свои сомнения.

— Это вы любопытно, любопытно. — Еремин сбросил на кровать шубу, потер впалые щеки. — Раньше я что-то не слыхал про такую схему, — и навис над столом, сдерживая дыхание, прикрывая рот ладонью. — Давление — та-ак — идет от вертикального столба, ясно. А другой вектор сил вы не ищите внутри системы, он за ее пределами. Организмы рождаются и умирают не столько от внутреннего состояния, сколько от внешних воздействий. Вот так попытайтесь, вот так. Может, вам это что подскажет, — и он под нижними изгибами «кобры» нарисовал два язычка пламени. — Это внешнее воздействие, это накаление обстановки перед пуском завода. Ее всегда перед пуском накаляют. Ажиотаж! Ну а дальше думайте, ищите, — и ушел в ванную, за-

плескал там водой, затянул сиплым тенором: — У меня есть красавицы чудные, косы, как змеи, на плечи спускаются...

Полынков отправился в буфет. Для него все встало на свои места. Он был во всеоружии.

Собрались у выхода — в два, пошли пешком — ходьбы-то совсем ничего. Наволочь не разогнало, но она истончилась, прорванная белым пятном солнца, начавшего нехотя клониться к Манежу. Кружились редкие снежинки, с утра нападавший снег превратился в месиво, и его сгребали юркие машины. Под убеленно-огрузневшими липами, на обочине, высились рыхлые сугробы. Около торговых точек под полотном и ярким пластиком жалась к стенам домов провинция с бутербродами и парящими бумажными стаканчиками в руках. Полынков узнавал приезжих по каким-то сосредоточенным, в себя, взглядам, озабоченности предстоящей встречей с начальством или думами, в какой магазин, в какую очередь еще кинуться, подкрепившись по дороге.

Зайцев пристроился к Полынкову, сказал, будто продолжая разговор:

— Вы же все-таки патриот своего завода.

— Патриот завода, на котором меня шельмуют каким-то мясом? — возмутился Полынков.

— Ладно-ладно-ладно! — поморщился Зайцев и замолчал.

Под бетонным козырьком, у стеклянных дверей министерства, Ровнов подтолкнул Полынкова:

— Не дрейфь.

Все четверо сначала отметили в канцелярии командировки, там же получили уже припасенные для них железнодорожные билеты — на завтра.

Хотя до коллегии оставалось еще с четверть часа, в конференц-зале и перед входом в него жужжало многолюдье: «Ба, старина! Вот ты где попался!», «Рад, рад, весьма рад. Читал вашу работу — глубока!», «Ты долго, мучитель, будешь изводить меня своим капролактамом?». Крепкие рукопожатия, обнимания, тычки под ребро. Север и юг, Сибирь и Причерноморье, Поволжье и Средняя Азия — широко загребла сеть коллегии тех, кто когда-то учился или служил вместе, теперь разъединенных, но и объединенных отраслью. Даже Ровнов, историк по образованию, — не говоря уж о Зайцеве, Еремине, встретил знакомых, лишь Полынков, пасынок разноликой химии и начинающий отец членов заводского профсоюза, остался одиноким. Натруженная в месиве снега больная нога ныла, и он занял место в зале. Но скоро к нему (по чьей подсказке — Зайцева, Ровнова?) подсел отутюженный чиновник, с ясным комсомольским взором, назвался председателем ЦК отраслевого профсоюза и сообщил комсомольской же терминологией, что он «в курсе об энсэ» на заводе, спросил, «в каком разрезе» будет оценка. Полынкова вздыбило, ощетинило, окогтило это «энсэ» вместо «несчастного случая», в котором погибли люди, и он процедил:

— В разрезе дубоголовых. Дубьем по башкам.

— Но это же коллегия, министр будет присутствовать! — выдохнул защитник трудящихся всей отрасли.

Полынков искоса оценил организатора, сидящего где-то над вертикальным столбом, в голове «кобры», и не пощадил его отутюженного достоинства, попросил отвалить.

Министр легонько крутнул маховик заседания, кратко сказал о том, что отрасль работает в целом неплохо, но следует поднажать, к этому обязывает внутренняя и внешняя политика. Полынкова покоробило — не нужды людей-человеков обязывают, а, вишь, политика, и он стал накаляться, видя, как маховик, захватывая выступающих, закидывал их в те же сферы, внутренние и внешние, в какие-то воздушные замки, предназначенные для вольготной в них жизни, не иначе. На четвертом часу заседания перешли к их заводу, и начальник главка,

краснея от собственного темперамента, понес пятое и десятое, за неподготовленность оборудования разгромил Еремина, предложил снять его с работы, а под конец вывел необходимость закатать рукава, чтобы обеспечить пуск завода в декабре, поскольку политика... нацеливает. С перепугу звонкоголосый, но и вышколенно-покаянный, Зайцев тоже нес пятое и десятое, согласился с мнением снять Еремина и заверил, что ради пуска в декабре коллектив закатает рукава. Не рискнул директор потягаться с начальником главка широтой политических взглядов, закончил рукавами. «От жилетки», — ухмыльнулся Полынков.

После Зайцева слово дали Полынкову. Он пошел на трибуну, как на эшафот, с автоматизмом обреченного и решимостью фанатика, исподлобья глянув на первое лицо, на министра, который в окружении своих помощников, замов продолжал самоуглубленно писать, сидя за столом у стены перед высокой сценой, лицом к залу и вполоборота к трибуне. Полынков положил перед собой листочки конспекта, вскинул глаза и увидел в мягких креслах единое лицо, человек двести-триста, которых он не различал, хотя у большинства этих людей были свои фланцы и свои слезы от потерь товарищей в Ямбургах и Самотлорах, в песках пустынь и вечной мерзлоте Заполярья, хотя многие из них тянули производственную лямку не как он, Полынков, не в полусутках езды от столицы, а в богом забытых, безлюдных углах. Не мелочь, конечно, не рядовая инженерная шантрапа. Но немало было самых обыкновенных служащих с доходами «от зарплаты до зарплаты», с еще благодушно нерастраченными надеждами или безнадежно едким острословием насчет внутренних и внешних событий.

Одного не мог он увидеть среди этих людей — своих единомышленников, потому что перед ним была коллегия, которой столько раз пугал Зайцев и которая заранее настроила против себя тем, что пугала, будучи немощной. За два дня беготни по заводу он, со слов иных начальников цехов, головастых, успевших поработать на разных предприятиях отрасли, увидел ее целиком, такую же слабенькую, как и родная металлообработка. Трухлявость отрасли вылезала из всех щелей устаревшими проектами промышленных точек, мародерством, грабежом подземных залежей, идущих на факелы, на колпак для удушения Земли. Об этой нищете и об этом разбое надеялся услышать Полынков, но он увидел на трибуне каких-то авгуров с их заклинательно-пугающим словом «политика». И он с авгурами заговорил по-авгурски: дескать, политика обязывает, она подчиняет своим высшим интересам, но присутствующие здесь погрязли в дерьмовых заводах, как обыватели погрязли в вещизме, потому что для присутствующих политика — это вещизм должностей. Он сразу огорошил зал и тут же еще крепче добавил: дескать, поставив знак равенства между нечестной игрой в политику и захватом высоких должностей, члены коллегии душу человека и саму его жизнь променяли на медный грош вонючих заводов— людям хоть ложись да помирай. И помирают, гибнут, своими телами затыкают производственные бреши, оставляя детей сиротами.

— О своем заводе я еще скажу, а пока — про вашу политику...

Про это он не составлял конспект, импровизировал, но трудно, тяжело подбирал слова, чтобы не сорваться на ругань, хотя словечки выскакивали угластыми камнями, выглядели дикарским, запрещенным оружием таких же дикарских схваток. Краем глаза он не переставал следить за министром, за первым лицом, на которое больше всего следует надавить, чтобы противостоять давлению. Министр перестал писать, изумленно глядел на Полынкова, затем, крутнув головой направо и налево, о чем-то стал расспрашивать свою челядь. Он, должно быть, спросил, откуда взялся такой, и ему ответил председатель отраслевого ЦК, тут же виновато опустивший голову. Министр откинулся назад, завел руку за спинку стула и как-то так, то ли все видя, но ничего не понимая, то ли все понимая, но ничего не видя, уставился на сумасбродного, не лезущего ни в какие ворота председателя завкома. Полынков почувствовал: сейчас его сгонят с трибуны, если он не покончит с политикой и не перейдет к шестку своего завода. Рослый, с крепкой борцовской шеей, он стоял на трибуне несокрушимо, с лихвой заполнял пространство зала громким, но каким-то сдавленным голосом, отчего казалось, что говорит он из последних сил, вот-вот сорвется на беспомощный крик, на слезный плач, и залу чудилось: трепещет его душа, он сам боится того, что говорит, и все-таки преодолевает боязливость. Этим и подкупал — преодолевает же! До конспекта, в котором все обдуманно и который придаст ему уверенности, оставалось несколько мыслей, хотелось их пропустить, но он не пропустил, а спокойно и прицельно похвалил начальника главка: дескать, молодец, прозорливый деятель, тонко подметил, что завод со своей основой основ, с оборудованием, вплюхался в глубокую яму, а если так, то завод надо непременно пустить через несколько дней, в этом месяце, потому что — политика; и чтобы, дескать, понять всю глубину такой прозорливости, необходимо учесть, что после декабря наступит конец света, мы все погибнем вместе с начальником главка, так и не пустив самый «лучший в мире», самый «передовой» завод. И тут Полынков уже вступил в конспект, понесся, полетел с уверенностью человека, который выстрадал свои думы, отшлифовал и неистово, но в кон, к месту, вбивает свои слова, жесты. Он привел мысль Начальника о том, как министру торжественно преподнесут пригоршню химикатов, а потом в суматохе будут метаться, остановят завод, о котором — с помощью прессы — уже объявят на всю страну, будто он пущен.

— Это демагогия! — не очень нажав на бас, но отчетливо и на весь зал произнес министр.

— Пусть говорит! У нас все заводы так пускают, с чехардой! — выкрикнули из зала, и Полынкову показалось, выкрикнул Ровнов, да, вроде он, хотя, может, и не он.

И реплика министра, и выкрик подействовали на Полынкова мимолетно, как рытвинка на мчащийся автомобиль, который лишь встряхнулся, не сбавив скорости. Вся его энергия, накопленная за многие годы психических тренировок, высоковольтно била, сжигала в отместку за Липкина, за его семью, за себя, измученного фланцами и лишенного счастья смотреть на звезды, сливаться с мирозданием. Разумеется, он теперь не думал утолить мстительность, а просто обрушивал на коллегию всю силу негодования, как мог бы обрушить ее на Жеребина, — и зал с раскрытым ртом словно бы смотрел спектакль одного актера из какого-то областного драмтеатра, арендованного под заводскую конференцию.

Вскинув руку и поматывая ладонью, министр все же остановил Полынкова:

— Подождите, подождите! Что-то вы очень уж разошлись. Вы хоть отдаете себе отчет, что значит менять все фланцы и заказывать новые? Вы представляете себе, как встретит Госплан ваше, скажем так, предложение?

Вопрос не остудил Полынкова. Он давно все обдумал, такой вопрос был предусмотрен.

— А пусть Госплан сначала посмотрит, как люди дышат дымом, как в закутках оправляются на кусок фанеры, чтобы не загадить цеха, ведь туалетов нет. Начав стройку, вы сразу же превратили ее в отхожее место. Вот пусть Госплан и думает над моим, скажем так, предложением.

Министр встряхнулся-очнулся, в его глазах сумрачность равнодушия окончательно размылась. Глаза сверкнули:

— Да, но вы хоть учитываете размеры демонтажа? Это же перестройка всех систем завода, если даже Госплан удовлетворит нас.

— Коне-ечно, перестраивать невозможно при вашей-то политике, — поддел Полынков, продолжая мчаться, хотя рытвины участились. — Эпохальность перестройки хвалим, не боимся ее масштабов, а заводы строить не научились. Или вы против перестройки? — по авгурски надавил он на первое лицо.

— Ну, вы чего кислое с пресным путаете? Я вам про завод, а вы мне про какую-то перестройку, — пробурчал министр и спохватился: — Я понимаю, перестройка — партийное, государственное дело, она всех нас касается. Но ведь тут — завод, конкретные материальные ресурсы. Где их взять?

— Согласен с вами, общая перестройка для того, чтобы конкретными заводами людей морить, — врезал Полынков, начав съезжать с ораторского тона и крепче напирать на иронию. — Вы, стало быть, считаете, можно перестраивать, ничего не ломая? В таком случае вообще прекращайте строить. Мы, ваши подчиненные, не хотим гибнуть прежде вас, хотя вы и сами уже катитесь к тому, чтобы — щ-фю-ить! — издал свистящий шип и повел рукой кверху, поднимая глаза. — Мы, на заводах, понимаем вашу давящую систему управления, но она вас первых ведет к испарению.

Кто-то пришлепнул по подлокотнику, кто-то двинулся в кресле, кто-то гмыкнул — шумок прошел, но тишина, хранимая ковровым настилом, тяжелыми шторами, мягкой мебелью, лишь всколыхнулась и улеглась. Почему-то никто не напоминал о регламенте, хотя отведенные восемь минут давно промелькнули. Министр был озадачен, спросил представителя глубинной профсоюзной организации:

— Вы кто по специальности?

— Инжеиер-механик, — ответил слегка сбитый с толку Полынков.

— Так-так-так... — Министр забарабанил пальцами, возможно, обдумывая, как бы подостойней спровадить его с трибуны.

Однако Полынков спохватился, не посчитали бы, если не химик, то по дурости смел, и заспешил к доске позади трибуны, хотя должен был, по конспекту, еще сказать о предположительных причинах смерти Липкина (об этом мельком доложил Начальник), о лечебно-профилактической службе, которой нет на заводе, о станках в своем бывшем цехе, дающих вибрацию по причине хлипких фундаментов, отлитых в нужде и неразберихе кое-как. О многом надо было сказать, но он вдруг решил бить главным козырем: взял мел, размашисто нарисовал пирамиду, перечеркнул ее крестом, продолжил мысль, перебитую министром:

— Да, мы на заводах прекрасно понимаем ваше управление. Вы схематично объясняете его пирамидами, такими же застывшими, как египетские пирамиды, построенные рабами для сохранения мумий фараонов. Но фараоны канули в Лету. Ваше управление не египетское. Вот оно, — и привычно, не отрывая руки, нарисовал «кобру». Внимание зала не ослабевало. Полынков объяснил принцип давления, как происходит нагнетание, накаляется обстановка перед пуском, и постучал мелом по язычкам огоньков под «коброй». — Да, от них нагревается жидкость, и в ней происходит самодвижение, слои перемещаются. Вы уже сняли трех директоров, Зайцев — четвертый, возможно, и его снимете. Вы уже решили снять Еремина, а сколько начальников цехов переменилось — не сосчитать. Но как бы слои жидкости ни перемещались, от бесконечного нагрева она закипит. Закипит — и прежде всего испарится верхний слой, — он обозначил струйки пара над головой «кобры», посмотрел на министра.

Сидевший со сведенными бровями, тот вдруг расправил их, все лицо разгладил улыбкой, сказал простодушно:

— Ну, вы уж совсем нас, министров... испарить собрались!

— Ваша система испаряет вас, — поправил Полынков.

— Завтра я назначаю вам аудиенцию. В четырнадцать тридцать, —

внезапно сообщил-потребовал министр. — А теперь вы исчерпали свое время.

— Но я завтра уезжаю, у меня билет на половину третьего, — опешил Полынков и попросил: — Вы мне поможете с билетом?

Министр задвигал руками и замотал головой. По залу прошел шумок: несомненно, долой с трибуны. И Полынков покинул ее с чувством какой-то бестактности, ошибки. Ему хотелось еще попросить слова, сказать обо всем, что сказал, как-то по-другому, хотя по-другому сказать не сумел бы. Он уже не слушал иных выступавших.

После коллегии, закончившей работу в начале десятого, Полынков одиноко вышел на улицу, в сутемень, в блеск столичных огней, в свежесть окрепшего мороза.

— Вмазали вы им, Александр Михайлович, вмазали. Конфетку вам дадут, весь вы у них на ладони, — говорил, развлекая себя, Еремин, вернувшийся навеселе в номер к полночи с бутылкой коньяку. — А меня, значит, куда-нибудь в Сибирь, опять — с нуля. Я уж там бывал. Не привыкать. Вставайте, присаживайтесь, и я с вами добавлю. Вам после такой рукопашной с превосходящими силами противника полагаются наркомовские сто грамм.

Полынков помотал головой — вставать не хотелось. Он с трудом доковылял до номера, лег в постель и лежал, пребывая в круговерти каких-то отрывочных дум, сходящихся к одной: не так выступил, не так! Ничего ему не хотелось, лень было языком шевельнуть, спросить, почему — конфетку. Еремин добавил в одиночестве и, не выключив свет, повалился на кровать. Свет бил в глаза, надоел. Полынков разбинтовал ногу, принял душ, измятым бинтом кое-как обхомутал вспухшую щиколотку, погасил свет и лег, надеясь уснуть. Щиколотка тревожила, слабая боль выпускала из тайных тайников души поганенькое желание протяжно застонать, пожалеть себя, одолеваемого мельтешащими, растерзанными думами, никчемного, отданного на растерзание клочкастой бессоннице. Она казалась вещественной, мучила его шелестящими по асфальту машинами за окном, дребезжащим храпом Еремина, она то наполнялась лицом министра с отечностями под глазами, то разноцветно играла на потолке, на стенах отсветами неоновой рекламы. Постепенно министр все больше наполнял бессонницу, и Полынков припоминал крановый завод, инструментальный участок, свой стол из крепких, потемневших от железных опилок досок, с двумя тисками на нем, с разложенными рашпилями, бархатными напильниками, шаберами, видел себя, слесаря, бездомного паренька, снимавшего угол за занавеской в домике на окраине Иванова, и гордился: а теперь вот министр — аудиенцию! Уважили, вон куда выбрали, но сшибут, если на министра попер, сшибут! Не на мясе, так на другом подножку подставят. Пусть, не пропаду, уволиться можно в крайнем случае. И вдруг накатилась беспричинная вроде бы тревога о семье: Верочка еще только на первом курсе, Кольку подавно растить да растить, а у Лены — какая у них там зарплата, у цветоводов горкомхоза!.. В животе посасывало от голода, казалось, встанет, поест и тут же уснет. В портфеле остались прихваченные из дома помидоры, батон, сыр, но встать поленился, уговаривал себя расхожей фразочкой: ужин отдай врагу. И опять — министр — завкомовская должность — семья — поесть или не поесть. Мишура... Уснул камнем, внезапно, и проснулся от мурлыканья Еремина про тех же красавиц с косами. Уже одетый и поправленный остатками из вчерашней бутылки, Еремин похаживал по номеру, смотрел орлом, непотопляемый. Заметил, Полынков открыл глаза, укорил:

— Ну и спать вы, Александр Михайлович! Завидую вашему здоровью. Министр вызывает, по всем данным, не по головке гладить, а

вы — без задних. И правильно, пусть у них голова болит, им есть что терять, а нам-то, пролетариату!..

Но пока что голова болела у Полынкова, мало все же спал, а вставать приспело — дела неотложные. Для бодрости поплескал на лицо холодной водой, побрился и, голодный, заспешил в буфет — набросился на заливного судака, на сметану, на оладьи, на яйца вкрутую — от мясного отвращало, видеть не мог. Когда Полынков вернулся в номер, Еремин уже сидел в своей эрзац-медвежьей шубе, ждал — попрощаться: пораньше уйдет, побродит по магазинам — и на поезд.

— Ничего, Александр Михайлович, вас теперь вся отрасль знает, — сказал, крепко пожимая руку. — В случае чего, примут, спрячут где-нибудь от министра. Сторонники есть, да и я к вашим услугам, оставлю адрес, куда пошлют. Не вешайте носа.

Ободрил, называется, — от министра готовы прятать. В одиночестве Полынков от уныния предался безделью, сидел истуканом. Надо было звонить Космонавту, давнишнему знакомому, с которым сошелся случайно, когда на туристическом теплоходе из Астрахани возвращались в Москву, когда Полынков, бывший в то время механиком цеха на Ивановском станкостроительном заводе, каждый вечер с палубы смотрел на звезды в подзорную трубу. Этим он и привлек внимание Космонавта. Говорили о космосе, о звездах. Полынков рассказал Космонавту об Ольге, ее взглядах на мироздание. Они обосновывались не на закаменевшем фундаменте науки, а на летящих впереди нее осколках-гипотезах, на интуиции, пронзительной у этой с виду обыкновенной, но и необыкновенной женщины, то ли обогнавшей наш темный безграмотный век, когда еще не распознаны все виды энергии, то ли пришедшей в него из будущего — объяснить, что человеческая духовная энергия, как всякая другая, бесследно не исчезает, а пребывает в пространстве, подобно электромагнитному полю, и временами концентрируется, как молния, в людях, обладающих прозрением, в гениях. Но люди, в большинстве своем, еще не овладели духовной энергией, они не видят гениев, не понимают их, приписывают гениальность вовсе не тому, кто ею действительно заряжен, идут не туда, не за теми поводырями, и страдают, страдают... Не иначе, Космонавт видел что-то особенное, пока летал вокруг Земли, — так увлеченно слушал про Ольгу, и попросил непременно познакомить с ней, как только они прибудут в Москву. Прямо с парохода они отправились к Ольге. С тех пор Космонавт и Полынков не раз возвращались на одну орбиту с Ольгой...

После минутных колебаний Полынков позвонил Космонавту. «Папа на работе», — ответил его сын, и Полынков позвонил на работу. Они договорились встретиться у гостиницы в шесть вечера, чтобы вместе ехать к Ольге. Космонавт будет на машине.

Сначала Полынков сходил в министерство, вернул в канцелярию билет, чтобы перекомпостировали на завтра, потом отправился в ГУМ за покупками, прошелся по Красной площади, полюбовался храмом Покрова, прогулялся по Кремлю. Древность, незыблемая праздничность соборов коснулись его души вечной гармонией. Возможно, он сумел бы восстановить это чувство, если бы не министр. Но и о нем Полынков думал уже как-то проще: да что, в самом-то деле! Ну, волей случая стал министром, неважнецки выполняет свои обязанности, как все министры, у каждого из них по своим отраслям всяких болячек — пруд пруди, довели страну. Все они гонят поточно-массовое производство, и сами работают поточно-массово, штампованно, а штамп-то уже изгваздался, менять пора. Время подходило к двум, и он, занеся покупки в гостиницу, поспешил опять в министерство, успел точно в срок, но секретарша, столичная дама с манерами, сказала, что министра нет.

— Мне назначено на полтретьего.

— Не знаю, не знаю. С обеда не появлялись.

Полынков стал ждать в приемной, разглядывая аквариум, развешанные на стене лопухастые плети цветов, стулья вдоль стен. Входили то и дело посетители, совали секретарше какие-то бумаги, обиняком и прямо просили их продвинуть поскорее, поглядывали на Полынкова с любопытством, сочувствовали ему, маявшемуся в приемной. Секретарша с одними позволяла себе грубоватые шутки, другим подсказывала что-то исправить в бумагах, третьим многозначительно обещала «утрясти» — чувствовалось, не задаром обещала. Эти вахлаки не с пустыми руками приезжали из глубинок и прежде всего ей, секретарше, Лидии Викторовне, делали подношения. Иные знали ее адрес, прямо домой везли кто осетра, кто семгу, кто шкурку, кто бочонок вина — от щедрот своих краев, ради родных заводов, ради насосов для них, ради нержавейки, ради утряски плана, ради увеличения или сокращения средств по разным статьям. Битые, понимали, что всякие там начальники главных управлений — мелкота рядом с Лидией Викторовной, которая знает, куда и с какими словами двинуть бумагу, за милую душу правит. Она в упор не видела Полынкова, дылду, прущего к министру даже без шоколадки. Он то прохаживался по приемной, то выходил в коридор, оставляя дверь под прицелом, чтобы не пропустить министра, а когда возвращался спрашивал:

— Не звонил? Не сообщил, когда будет?

Секретарша пожимала плечами, не удостаивая взглядом. Два с лишним часа тянулась нуда ожидания, время поджало. Если вот сейчас примет министр, если у него лишь минут на десять разговора, то все равно едва успеть добежать до гостиницы. И тут у Полынкова лопнуло терпение:

— Вы ж понимаете, я из-за вашего министра опаздываю на встречу с космонавтом... — и назвал фамилию.

Космонавт был не из тех, многих, чьи фамилии уже не удерживаются в памяти, а один из первых, широко известный в стране, в мире. Его фамилия произвела впечатление на Лидию Викторовну. Она взглянула на Полынкова:

— Вы знакомы с этим космонавтом?

— Да, знаком.

— Какие же у вас с ним дела?

— Есть дела. Попусту не встречаемся.

— Вы знаете, я сейчас посмотрю, может, у себя... — и она прошла в кабинет министра, тут же вернулась. — Вы знаете, оказывается, у себя. Проходите.

Ух, стерва! Министр почему-то не попрекнул опозданием (кто знает, может, сам и велел помурыжить в приемной), встретил насупленным взглядом, и этот взгляд разозлил Полынкова. Портфель у него был легким, в нем лежали только заводские бумаги, но он поставил его с грохотом, как сундук, на приставной стол, сразу раскрыл, вынул пачку обвинительных документов, для начала посоветовав:

— А почки вам надо лечить основательно. Иначе врачи не помогут.

— Откуда вы знаете о моих почках? — министр тут же согнал с лица строгость.

— Отечности под глазами. Не справляется организм, сильно засорен шлаками. — Полынков разложил бумаги, хотя и не был уверен, понадобятся ли они.

— Ну, вы меня сразу со всех сторон берете в оборот. И лицо вам не нравится мое, и бумаги, небось, какие-нибудь кляузные разложили. Я же хорошо знаю ваш завод, он гордость наша, все самое лучшее, что на сегодня имеем, вложили в него. А посмотрели бы вы...

И министр заговорил о заводишках на Урале, в Прикаспии, дряхлых, с оборудованием выпуска пятидесятых годов, с еле живыми

очистными сооружениями, провонявшими всю округу. Стал называть плановые цифры, которые отрасль не осилит, если будет соблюдать технические условия, а не кувыркаться. Вот и кувыркаемся. Импорт, экспорт, зависимость от экспорта, страны СЭВ, закольцованность, обязательства... Министр как бы искал сочувствия, сознавался, как с него *там* спрашивают, каким потным и дергающимся уходит он после накачек и вздрючек, рассказывал обстоятельно, с дружелюбием, и картина выходила куда печальней, чем представлял ее себе Полынков. Прием ему льстил, особенно когда министр вызвал секретаршу, велел подать чаю, — столько расположения, столько времени отпущено Полынкову! Чай был душистый, не хуже, чем у Начальника в поезде, и Полынков пил с удовольствием, но торопливо, поглядывая на часы. Шесть без двадцати, пора бы уходить, ну ладно, за пятнадцать минут успеет. Без пятнадцати — пора! А министр продолжал. Он, оказывается, великолепно знал положение пускового завода, будто бы подсмотрел собранные Полынковым документы, и, выходит, разоружил его. Министр сидел как-то по-домашнему, немного боком к столу, закинув ногу на ногу, соглашался, да, правильно с него спрашивают, он не в обиде, он привык не думать о себе, он всегда — двужильный.

— Вот вы, молодежь, чуть что — требуете, удобства нужны вам. А мы как жили? В войну зажигательную смесь делали знаете где? В дощатых сараях. И кроме пайки хлеба — шестьсот граммов — никаких продуктов. А бочки с жидкостью надо ворочать — кишка за кишку заходит. Э-э, как вспомнишь!.. Ну, понимаю, у вас, конечно, свои нужды, но надо же помогать стране.

Полынков с трудом преодолел гипноз откровенности.

— Свое мнение о заводе я сказал на коллегии, — вставил он, только с виду спокойный: было шесть вечера, и если Космонавт подождет хотя бы четверть часа, можно еще успеть — бегом.

Министр вроде обиделся:

— Ну-у, сказали, сказали. Я же с вами согласен, конечно, завод надо пускать без недоделок. И мы его введем без них — в этом году, потому что на него уже план спущен на будущий год. Не думайте, мы найдем ресурсы, подтянем, пустим. С билетом уладили?

— Все хорошо.

— Ну и с богом. Поезжайте, Александр Михайлович, организовывайте коллектив. Вы, профсоюзы, нынче — сила, поднимают вас, — и он кивнул, не подав руки.

Не понял Полынков, зачем он был нужен министру. Ради этой встречи задержал отъезд на день, а мог бы с утра поехать к Ольге и теперь стучал бы себе домой. Зачем? Или министр что-то хотел от него, но изменил намерения? Или вызвал, чтобы за собой последнее слово оставить?.. Полынков проталкивался в людской густоте вечерних тротуаров, переходил на трусцу, перемогая боль в щиколотке, надеясь успеть на условленную встречу. Не успел. Поднялся к себе на этаж. Дежурная вместе с ключом отдала Полынкову записку от Космонавта: «Сожалею, что встреча не состоялась. Как запланировали, поехал к Ольге». Полынков подумал: ехать ли? Легкомысленная, не по морозу, обувь усилила сомнение. Но он тут же отринул мальчишескую эту блажь: чувствовал — именно сегодня необходимо повидаться с Ольгой! Да и Лена просила передать гостинец, приветы. Он забежал в номер, положил рыбу в портфель и отправился на вокзал.

В электричке, затем в автобусе, пока доехал до небольшого села, Полынков снова и снова «прокручивал» свою встречу с министром. Все больше раздражали заключительные слова, что пускать в декабре будут. Министр — не такая уж и вершина пирамиды, сверху на него давят, и это пострашнее, видать, давления низового, хотя и его побаивается, до бумажек снизошел, оборонительно кляузами назвал. Побаивается — не потому ли и чайком побаловал?..

Автобус развернулся в центре села, укатил назад, и Полынков пробитой тропкой вдоль порядка вышел за околицу. Еще пройти километра четыре — до покинутой крестьянами, а затем растащенной туристами на костры деревни, где в одинокой избушке жила Ольга. Дорога, заброшенная, заметенная снегом, обозначалась единственным следом от вездехода — Космонавт проехал. Сначала она огибала холм с голой макушкой, маслянисто мерцавшей настом в призрачном свете луны, потом нырнула, как в тоннель, в сосны. Полынков ступал в колесный след, до того узкий и неудобный для ходьбы, что приходилось удерживать равновесие подобно канатоходцу, чтобы не вплюхаться в сугроб. Но все равно снег сыпался, набивался в полуботинки, льдом обкладывало ноги. Полынков не утерпел и — была не была! — припустил рысцой, в сосняке не усмотрел заметенную корягу, зацепился здоровой ногой, неловко ступил на больную и полого, точно в мелкую воду, нырнул в сугроб. И без того опухшая щиколотка подвихнулась. Он полежал, чтоб утихла боль, тяжело, опираясь руками — снег уже и в рукава набился, — встал, осторожно попробовал, держит ли ушибленная нога. Держит, а боль в голову отдает, не разбежишься. Полынков опять костерил коллегию: на ней даже не рассмотрели смертельные случаи, заслушали только Начальника где-то в кельях кабинетов. Опять ругал министра. Но больше всего злился на себя за никчемную поездку в Москву, за то, что кричал и ни до кого не докричался, облапошенный. И вот уже и сами думы вроде бы начали коченеть, лубенеть. Безлюдная стынь, в которой упадешь замертво — твое личное дело,— удручала. Бликами ложился на полосу дороги с двумя странными колеями лунный свет, а сама луна, проглядывая сквозь черноту неба, была такой далекой, маленькой и так равнодушно-отчужденной от всего мира под нею, что Полынков и сам себе казался отчужденным от себя, какого-то постороннего, зачем-то попавшего на эту пятнистую полосу, по которой непонятно для чего проложили колеи, совершенно не пригодные для ходьбы, какие-то игрушечные или по-муравьиному жалкие среди безмолвия вечных деревьев и неоглядных снегов. Ольга была где-то в недосягаемой дали, но он чаял до нее добраться; а другой, вовсе не он, ковылял в сугробах по следу колеса неведомо куда и неведомо зачем, никому не нужный, даже самому себе. Должно быть, начиналось отчуждение замерзающего тела, когда оно автоматически еще послушно воле, но уже и впадает в бесчувственность. Взяв круто вправо, дорога выползла из-под сосняка на пологий берег небольшой речушки, на нем и желтел огонек. Рядом, совсем рядом, сейчас отогреется. Будто устав тянуть странную колею, машина встала перед заметенной ложбинкой, — видно, Космонавт побоялся посадить «газик» на днище, дальше отправился пешком. Шатко хромая, закоченелый, Полынков не попадал в его след, ухался в целину, тяжело выдергивал, гремя брючинами, ноги. Только бы до крыльца, до крыльца. Вот оно, расчищенное, подметенное, с тремя ступеньками. Заснеженная, задубевшая оболочка Полынкова — все, что от него осталось, — ввалилась в сени, в чисто вымытую, пахнущую травами обитель. В избе Полынков увидел Космонавта. Тот внимательно, сосредоточенно взглянул на вошедшего, не сразу узнав в нем Полынкова, а в следующий миг шагнул к нему и приветливо улыбнулся. Они поздоровались. Космонавт взял у него портфель, помог снять пальто. В плите трещали-гудели дрова, на стене горела керосиновая лампа, и к ней восходил пар от картошки в блюде на столе, только что сваренной, в белой, чистой кожуре. Ольги в комнате не было.

— В погреб за капустой спустилась, — прочитал Космонавт ищущий взгляд Полынкова, неприкаянно стоявшего посреди избы, потирая красные ладони. Космонавта поразило искаженное, стянутое от хо-

лода лицо друга, и он сказал, как бы оправдываясь: — А я тебя пятнадцать минут ждал у гостиницы, полагал, ты раздумал ехать.

Стукнула дверь, и, окутанная морозными клубами, появилась Ольга — в легоньком ситцевом платье с коротким рукавом, как всегда, пышущая здоровьем, круглоликая, большеглазая, с россыпью белых волос по плечам, и в то же время ничем не привлекательная для Полынкова, обыкновенная деревенская баба, с блюдом капусты в руках. Ольга и Полынков, будто не узнавая или припоминая, смотрели друг на друга не двигаясь.

— Не ожидала еще одного гостя? — спросил Космонавт.

Ольга продолжала смотреть на Полынкова. Он силился что-то вспомнить, что-то сказать, но так и не вспомнил ни о рыбе, ни о приветах, пораженный простотой ее вида.

— Что с тобой, Саша? Что было с тобой, почему ты пропал? — Она говорила громче обычного, но со спокойной ясностью в глазах, небесно-синих и уже нисколько для него не загадочных. — Я тебя потеряла, я чувствовала твою беду, но не могла к тебе пробиться. Я помню тот день, тот час — третье декабря, половина одиннадцатого, страшный суд, плотный хаос вокруг тебя. С тех пор оборвалось...

— Я тебя тоже звал тогда, Ольга, но ты не отозвалась.

— Я не пробилась. А теперь я вижу тебя... И мы опять будем слышать друг друга.

— Давайте не сразу об этом, — предложил Космонавт. — Он слишком устал, пусть отдохнет.

Ольга поставила блюдо на стол, велела Полынкову разуться и сама размотала мокрый бинт, натерла ему ноги каким-то маслом с острым запахом спирта.

— Как еще доковылял. Ну, ничего, теперь отойдут, — и дала ему белые поярковые носки. — Маловаты будут, зато паголенки длинные. Натягивай...

Он надел носки, сел к столу, взял картошину, катанул, горячую, с ладони на ладонь, облупил, стал было есть и смутился:

— Я как-то вот так сразу... А вы почему?

Ольга всплеснула руками:

— Что за разговор, Саша! Так ослабеть!..

Ольга и Космонавт тоже сели к столу, стали ужинать втроем, как бывало уже не раз. Пошинкованная тонкой длинной лапшой, с кругляшами моркови, с кусочками яблок, хрусткая капуста, которую Полынков мог есть без меры, пока что не привлекала его, он ел картошку с постным маслом, солью, согревался горячей благодатью.

— Что же случилось, расскажи, — попросила Ольга.

Полынков неторопливо ел и так же неторопливо рассказывал о гибели рабочих на заводе, о своих попытках найти правду и, странное дело, ничего не переживал заново, как это бывает в подобных случаях. Убрав со стола и продолжая слушать, Ольга заварила травно-ягодный чай, душистым запахом наполнивший всю избушку, кое-что уточняла, переспрашивала, всматриваясь в Полынкова.

— Мне кажется, ты отошел от правил в своих протестах,— заметил Космонавт, когда Полынков закончил про встречу с министром.

— И я так же подумала, — подхватила Ольга. — Он против них — их же оружием, а оно тут не годится.

— Я даже сказал бы иначе: он отошел от правила, но закон правды все-таки сумел соблюсти, — уточнил Космонавт.

— Не до конца, не до конца, — возразила Ольга. — За смерть Липкина никто не наказан. — Она через ситечко разлила чай. — А этот Начальник — он что за человек?

— Он хорошо разбирается в наших заводских делах, честный и ни перед кем не робеет, — ответил Полынков.

Воцарилось молчание, не тягостное в тишине избушки. Потрескива-

ли пылающие в плите дрова. Живой огонь струила лампа, и от него на стеклах окна искрились пальмовые ветви, даже с виду обжигающе ледяные, грозные, скованные потусторонним холодом, уже не достигавшим Полынкова. Он сидел лицом к окну, смотрел на морозные узоры, и они напоминали ему дурной сон, мерцание сугробов, дорогу со странной колеей, раздвоение себя на живого и мертвого. Ему верилось и не верилось, что он в избе, что рядом участливые люди, что ему так хорошо, так счастливо! Изнуренная душа не совладала то ли с горьким осадком пережитого, то ли с прихлынувшим блаженством, обнаружила свою слабость слезами. Желая скрыть слезы, он встал, надел Ольгины калоши от валенок, вышел на крыльцо и глубоко втянул тугой воздух, успокаиваясь.

Перед ним простирался пологий берег, занятый когда-то овощными плантациями, дальше в лунном свете угадывались изгибы речушки, слева стоял сосновый лес, тихий, темный, справа, на другом берегу, меркли в серебряной размывчатой дали поля. Все было таким знакомым, столько раз виденным за многие годы! Он попытался соединить в одно целое все, что открылось его взгляду, как прежде соединял не раз, как соединял с водами, с небом, с деревьями каждого встреченного человека, — не удалось: берег, лес, речка, поле лишь на миг задерживали взгляд, уже не способный пересвечивать, перезвучивать себя в ликованье души. А ведь когда-то душа дарила чуткую память взгляду и благодаря ему сама наполнялась гармонией природы. «Роботом стал с оборванными контактами», — усмехнулся Полынков и, вспомнив, что давно не смотрел в небо, запрокинул лицо. Перед ним замерли колюче-синие, округло-матовые, чуть различимые и совсем незаметные, слитые в легкую облачность звезды, такие разные в бесконечности. И он сосредоточился, чтобы уйти в звезды, в бесконечность, в блаженство невесомости, в радость забвения своего существования, в беспредельное счастье осознания своего земного небытия; уйти легко, как уходил всегда, научившись этому благодаря постоянным тренировкам. Но сосредоточенности не хватило, тело оставалось тяжелым, высота не приняла. Он сделал усилие — ни о чем не думать, опять сосредоточился, но продолжал ощущать себя, ледяной наплыв на доске крыльца под калошей; сквозь бездумную напряженность он все же думал, сожалел, что вот — разучился, растренировался, что в последний раз уходил из бренности там, на эстакаде, у трупа Липкина, — и перед Полынковым возник обвалованный со всех сторон бульдозер, над срезом котлована появились головы Зайцева и Ровнова, стоящих возле трупов, и руки Полынкова дернулись, их рванули улетавшие в пустоту перильца, он отпрянул и упал на спину, вяло, нехотя, как падают от выстрела в грудь...

* * *

— Что с вами было? — спросил я Полынкова спустя полгода после его падения на крыльце, в июне, когда познакомился с ним на заводе, безнадежно скверном, остановленном после пуска, но успевшем испоганить всю округу.

— Была смерть, — ответил Полынков, глядя мимо меня в распахнутое окно, откуда тянуло жарой и вонью химии.

Мы сидели за столом напротив друг друга, в его кабинете, на седьмом этаже капитального здания дирекции, с высоты нам широко открывалась территория завода, по ней тут и там ходили рабочие с противогазами на боку, а на установках, на эстакадах работали в противогазах — меняли узлы систем. Далеко за территорией торчали столбы с невидимой отсюда густой сетью колючей проволоки. Ею по всему периметру после нескольких аварий опоясали завод, будто колючка могла удержать химические выбросы. Видимая реальность подтверж-

дала «производственную часть» рассказа Полынкова, другая часть весьма отдавала фантастикой.

— Если смерть, то я разговариваю с покойником?

— С потенциальным, — кивнул, не приняв шутку, Полынков. — Тогда меня не пустили Ольга с Космонавтом, сразу выбежали на крыльцо. Во мне кровь уже остановилась и дыхания не было. Но они верили, что можно еще вернуть, и вернули — массажем, искусственным дыханием. Знаете, я со своим обширным инфарктом даже в больнице не побывал, они всю ночь со мной провозились и все же восстановили. Но надолго ли меня здесь хватит, не знаю.

— Здесь? Что вы имеете в виду? — я с удовольствием попыхивал сигаретой, поскольку до этого довольно долго «постился» — ходил по заводу, где курить строго запрещено.

— Видите ли, Начальник сказал, что не надо участвовать, правильно сказал, но он поставил цель в идеале, она недостижима, как всякий идеал. Люди будут участвовать, и надо хотя бы посильно спасать людей в особо опасных местах. Так что я отсюда никуда не уйду, хотя в другом месте потенциальность будет меньше.

Я стряхнул пепел — почему-то мимо пепельницы, которая, мне почудилось, отъехала из-под руки; попросив извинения, что насорил на столе, я придвинул пепельницу к себе, уточнил вопрос:

— В другом месте вы проживете дольше?

— Здесь ведь загазованность большая и многим реакциям сопутствует радиация. Но я в смерти Липкина тоже виноват, а закон правды требует равновесия.

— И вы живете с постоянным чувством смерти?

Полынков и без того сидел довольно далеко от стола, а тут и вовсе отодвинулся вместе со стулом, чтобы целиком оглядеть меня, как я понял. Он смотрел на меня смеющимися глазами, так по-доброму снисходительно, как смотрят на детей.

— Вы слишком мрачные вопросы задаете, Иван Иванович, — с мягкостью в голосе упрекнул он. — Как я могу жить с чувством смерти, если ее нет и я не боюсь ее?

— И все же... — я сделал затяжку и стряхнул пепел — опять мимо пепельницы, она отъехала из-под руки; полагая, что мне мерещится, я придвинул пепельницу к себе, но едва убрал руку, она отъехала еще дальше.

Я посмотрел на Полынкова, а он вздохнул, поматывая головой, приложил руку к груди:

— Извините, не ради фокуса — ради убеждения. Вся наша беда в том, что у нас организованно и с улюлюканьем напускают серых собак на все первосветлое (словцо-то вывернул! — подивился я). Вот и вы, как все, — он твердо посмотрел мне в глаза. — Да, и вы тоже, как у нас принято: если ученые не объясняют, если я этого не понимаю, значит, этого нет и не может быть никогда. Вспомните кибернетику, генетику и устыдитесь за ваше сомнение. А пепельницу я еще и потому передвинул, что надо бросать курить. Всякий порок мешает взлету.

Но, во-первых, я не говорил ему, что сомневаюсь в его рассказе, а во-вторых, он не трогал пепельницу... Да и сидел так далеко, что не мог дотянуться до нее...



Игорь КАРПОВ

ЧЕРНАЯ ИКРА

РАССКАЗ

И УТРЕННИЙ зимний туман, и многоэтажное серое здание, и снег — все быстро светлело.

На площади трактор упрямо сгребал в кучи снег.

Маленькая женщина, в заиндевевшей на спине фуфайке, яростно колотила по намерзшему на ступеньках льду. Из-под скребка то и дело вылетали искорки.

Проезжая мимо женщины, из кабины высунулся молодой тракторист, крикнул:

— Эй, тетка, зиму не подожги!

Женщина обернулась:

— Что?

— Зиму, говорю, не подожги.

Женщина не ответила, еще немного постукала, поскребла, проворчала:

— Ее, заразу, подожгешь...

И, подхватив метлу, лопату, скребок, заторопилась к зданию.

Открыла ей высокая, тучная женщина с худым морщинистым лицом.

— Ох ты, Аннушка, мученица наша, намаялась? Я третьего-то дня прибралась маленько. А сегодня так не по себе...

— Ты это брось, — Анна стряхнула снег с фуфайки, обмела валенки. — Я сама управлюсь. Еще простудишься. Брось, а то разругаюсь с тобой. Пойдем к батарее, отдохну чуть да побегу.

Женщины прошли в фойе, сели на диван у батареи.

— Фу... — шумно выдохнула Анна. — Вот зараза!.. Навалило-то... А под снегом лед. Не доскребешься. — Она посмотрела на подругу. — Мань, а у тебя что, опять с Любкой плохо? Ты аж зеленая какая-то.

Маня достала большой носовой платок, спрятала в нем лицо, судорожно всхлипнула.

— Плохо с Любашкой. Упала с кровати, хрипит: «Мама, спаси!» А у меня руки — ходуном... Шприц еле держу. — Она вдруг ткнулась мокрым лицом в щеку Анны. — Аннушка, мне все какой-то сон снится, яма какая-то. И лезу я, лезу наверх, а не могу выбраться. Нет сил... И с Любашкой нет сил. Приду сюда и реву всю ночь. Ох, грешная я, грешная.

Анна гладила Маню по спине.

— Успокойся, милая, успокойся. Лето придет — может, полегчает ей. И не греши на себя.

— А этот, паразит мой, — бормотала сквозь слезы Маня, — лекарства у нее выпил. Унюхал — спиртом пахнет...

— Да-а-а, — протянула Анна, сузив маленькие серые глаза. — Вот таким ни хрена не делается. И когда только обожрутся?! — Она горестно махнула рукой. — У меня тоже... Иду вчера, а мой сопляк сидит с мужиками, курит. Думала, убью. Совсем от рук отбился...

Маня немного успокоилась и сочувственно кивала:

— Безотцовщина!..

В другом конце фойе появилась буфетчица, стала выставлять товар на прилавок.

— У нас здесь совещание какое-то, — сказала Маня. — Всякой всячины, небось, опять навезли, пойдем. Может, что для Любашки возьму вкусненькое.

Женщины подошли к буфету.

Анна заглянула за витрину:

— Да-а-а... и икра есть.

— Вот, вот, — Маня полезла в кошелек. — Мне пару бутербродов. С икрой.

Пожилая буфетчица молча продолжала свое дело, будто не слышала.

— Девушка, — Маня протянула деньги. — Мне пару бутербродов с икрой.

— Нельзя, — коротко бросила буфетчица.

Маня растерянно взглянула на подругу.

— Ей для дочери, для больной, — пояснила Анна, вновь пытаясь заглянуть за прилавок.

— Нельзя, женщины, нельзя. Только когда начнется совещание, только для участников совещания.

Анну словно горячей волной окатило.

— Ей для больной... Понимаете, для больной... Всего два бутерброда...

Маня опасливо дернула подругу за рукав.

— Не надо, Аня... Нельзя так нельзя.

Анна вцепилась в прилавок, подалась к буфетчице.

— Два бутерброда... Рожа твоя маргаринная... Сама, небось, хапнула...

— А ну, а ну... — заикаясь от обиды, буфетчица показывала на дверь. - А ну... отсюда. А то... а то...

— Что «а то» — ну? Что?..

Маня оттащила Анну.

— Да подавись они этой икрой!..

Анна мотнула головой из стороны в сторону, словно стряхивая с себя прилипшую мерзость, и посмотрела в окно.

— Опять снег...

— Аннушка, — мягко сказала Маня. — Да ты уж бросила бы мести-то.

Анна чуть не закричала:

— Что вы все заладили одно и то же! Бросай, бросай! А жить-то на что?!

— Поскромнее — так и хватит.

— У тебя вся жизнь скромная. Такая скромная, что дальше некуда!.. — Она смерила тучную женщину глазами. — Что сама-то тут околачиваешься? Жила б на пенсию.

Маня потупилась:

— У меня ж Любка на руках.

— А у меня их двое. На мою ставочку проживи-ка.

— Раньше-то жила.

Анна немного помолчала, заговорила спокойнее:

— Страшно вспомнить, как жила, Маня. И сейчас... У меня ж Нинка невеста. Во что одеть-обуть?!

— Ты уж балуешь их. Ты тут метешь, а они тебе супу не сварят. Так тоже...

— Ладно, — перебила Анна. — Ты дежурство сдала?

— Сдала вообще-то.

— Тогда пойдем. Мне сегодня без опозданий надо.

Маня замялась.

— Ты, Аннушка, иди, а я дождусь. Попрошу кого — возьмут мне...

— Тьфу... — Анна в сердцах плюнула. — Да что она у тебя с трех икринок поправится? Унижаться перед каждым...

— Чего уж... Придется. Такая наша доля. Может, она, Любашка-то, у меня сегодня порадуется...

— Ну, как знаешь. Побежала я. Завтра встретимся.

Анна быстро вышла.

Маня села у окна, стала смотреть, как трактор не спеша упрямо сгребал в кучи снег. А он падал и падал — липкий, мокрый, тяжелый.

ЕДИНАЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ

У нас в гостях — украинские поэты

Платон ВОРОНЬКО

* * *

Покололись века!
Черепки, черепки...
Но от них без ума восхищенный ученый,
Припадает он к ним, как к устам нареченной,
Извлекая из прошлого — мутной реки.

Он по ним воссоздаст не кубышку, а время, —
И сарматка с младенцем помчит на коне:
Нет кочевья, спалило его вражье племя,
За спиною — осколки посудин в огне...

Неужели и наши дела так уж плохи,
Что кому-то по склейкам лишь будет видна
Наша жизнь?
О, безумье! От каждой эпохи
Черепки, черепки оставляет война.

* * *

Ни разу не встречались мне святые,
Не вник в их таинства
я на своем веку...
Но тот, кто семя высеял впервые,
И радовался летом колоску,
И на ветру потом провеял зерна,
И камень в руки взял
как первый жернов,
И первый хлебец выпек на огне,
Он — свой среди святых.
Так думается мне.

Что будет?

От старого страха
пред богом и чертом
Избавить людей —
да и кончить на том бы!
Ан в мир,
по дорогам его самым черным,
На смену ползут
тупомордые бомбы.
Их ядерный жар
безрассуден и страшен.
Не люди —
Земля уже ищет ответа.
— Скажи ты мне,
Солнышко ясное наше:
Что будет со мною?
Чем кончится это? —
И Солнце,
любимую дочь обнимая,
Вздыхает:
— Не знаю... Не знаю, родная...

Переводы Валентина КОРЧАГИНА

Дмитро ПАВЛЫЧКО

* * *

Народ приравнивал к толпе
Он, восхваленный сверх предела.
Соратникам — клеймо расстрела,
Высокий пьедестал — себе.

Мы были глухи к той пальбе,
В нас даже сердце не прозрело —
Прозренье слишком долго зрело
Впотьмах, как птаха в скорлупе.

А значит, нет нам оправданья!
Оно — лишь тем, кому страданье
Продолжить пуля не дала,

И тем, кого с пути не сбили,
Кто видел и в снегах Сибири,
Что даль по-ленински светла.

* * *

Все по пятам крадешься, друг заклятый,
Все тщишься уличить во мне врага,
Все чаещь мою сущность, соглядатай,
Раздеть, как говорится, донага.

Не изводись, кончай свой цирк вчерашний!
Тебе я сам свою открою суть.
Я — меч, мне обнаженным стать не страшно:
Ни проглотить не сможешь, ни согнуть.

Переводы Валентина КОРЧАГИНА.

Леонид ГОРЛАЧ

Просьба к осени

Пошли нам ясных дней — за грозы,
за все тревоги, за беду,
чтобы украинские розы
росли у мира на виду.

Чтоб не пугали мир ни взгляды,
ни ветры с нашей стороны,
чтоб люди были солнцем правды
согреты и освещены.

Пошли согласье белу свету,
земле и водам — чистоту,
пошли с народами беседу
нам на калиновом мосту.

И сохрани нам нашу память,
беспамятный народ — что сброд!
Чтобы не стали снова ранить
нас молнии былых невзгод.

Перевод Владимира ЕВПАТОВА.

Микола ЛУКИВ

Ошибка князя Ярослава

Разбил печенегов и выстроил храм,
В зените при нем засияла держава.
Чтил ум Ярослав и отважным
был сам,—
За то ему почесть и слава.

Где княжьей усобицы
вихорь гулял —
На страже поставил
законов плотины.
О, сколько труда он и сил отдавал,
Чтоб земли собрать воедино!

Но вот перед смертью
своих сыновей
В палаты созвал он,
и стало там тесно,

Он каждому дал от державы своей...
Чем кончилось это —
потомкам известно.

Баллада про вдову

Жила вдова в деревне за рекой:
Простая хата, огорода грядка.
Была она в колхозе звеньевой
И прозывалась у людей —
Солдатка.

Бездетная, прославлена трудом.
Все с похоронкой
не могла смириться:
Ждала —
придет с войны хозяин в дом...
А дождалась вестей из-за границы.

Уведомляли: одинок совсем,
Скончался, не оставив завещанья,
Богатый фермер. И владеет всем
Теперь она — землей и состояньем.

Читала и не верила: как мог
Ее Иван так поздно объявиться?

Ну что ему мешало возвратиться
В село родное, на родной порог?

А может быть, какая-то вина,
Коль на чужбине жил он
до могилы? —
От этой мысли обмерла жена,
И пережить позор не стало силы.

Он предал... Он присяге изменил...
И после смерти нет ему прощенья!
Разорванный в клочки
без сожаленья
Его портрет — огонь испепелил.

Год миновал. И умерла вдова.
Все та же хата, огорода грядка.
Лихой удел. И добрая молва,
Что о себе оставила солдатка.

* * *

Качнула птица куст в ночи,
Пахнуло сладостью.
В саду откликнулись дожди,
А в сердце — радости.

Я настежь окна все раскрыл, —
Быть может, грезится?
Стекает с листьев,
льет сверх сил,—
Ни звезд, ни месяца.

Все перевито голубым
И окантовано

Струистым, трепетным, живым,
Искристым гомоном.

И ветер трогает лицо,
К ветвям возносится,
А там, намокнув, деревцо
Под крышу просится.

Зову его: «Входи живей!..»
А птица в ужасе
Сквозь дождь срывается с ветвей,
Кричит и кружится.

* * *

Сверкают воды в темных берегах,
Блуждают кони в шелковых лугах,
И где-то далеко в ночи осенней
Мне третьих петухов чуть слышно
пенье.
И я лежу в отцветших чебрецах,
И лес, и степь со мною — в головах,
Душицей пахнет сено, пахнет мятой,
Душа моя лучиста и богата.

Что за душою? Хлеб, щепотка соли
Да запах ветра,
да бескрайность воли,
Чего мне хватит до скончанья веку,
Как всякому простому человеку.
Чтоб не забылась светлая пора,
Где есть одна лишь горечь —
дым костра,
Где небо — не роскошные палаты,
Свободы дух и дуновенье мяты.

* * *

Послевоенный летний день...
Садится солнце. Близок вечер.
И как беды недавней тень,
Стоит село — чернеют печи.

Сгорели хаты, нет ворот.
Одни колодцы — стороною.
И нищий с посохом идет
С пустой котомкой за спиною.

А вслед ему — собачий лай...
Калеки, сироты, вдовицы
Глаза отводят: что ни дай —
Все от себя урвешь крупицу.

Однако ж кто имел — давал —
Сухарь последний да картошку,
Узвару деду наливал —
И набиралось понемножку.

Все брал с почтением старик
И дальше в поле брел, бывало,
По сизым травам напрямик
И опускался там устало.

Над ним — звезда, вдали — лесок.
Туман белесый колыхался...
И черный сухаря кусок
Медовым пряником казался.

Переводы Ирэны СЕРГЕЕВОЙ.

Валентина КУЗЬМЕНКО-ВОЛОШИНА

Живите, любите

(ВЫШИТО НА РУШНИКЕ КРАСНЫМ И ЧЕРНЫМ)

Как по весне пробуждаются почки—
Так молодеет и древний рушник!
Крестики-зерна, искусные строчки,
Нами давно позабытый язык.

Сколько в могилы сошло поколений,
Истинный путь обойдя стороной.
Нам бы, с дипломами,
пасть на колени
Перед неграмотной женщиной той!

Красные нити и черные нити...
Ни мастерицы, ни имени нет,
Только два слова —
«ЖИВИТЕ, ЛЮБИТЕ!»—
Вечный как мир
материнский завет.

* * *

Баба Катерина вдруг помолодела.
Хвори и заботы — что куда ушло.
Праздничный передник
и платок надела.
«Дети приезжают в отчее село!»

Побелила хату, подмела у тына,
Прибрала по дому. На вокзал идет.
«Нет тебя счастливей,
баба Катерина!» —
Ахают соседки, стоя у ворот.

От людей с вещами тесно на перроне.
Кинулась бездумно в эту суету.
А детей не видно...
Нет их и в вагоне...
Тут она проснулась —
в страхе и в поту.

А в полях весенних
ручейки журчали,
И оделись первой зеленью луга...

Не сбылись надежды —
горше нет печали.
Пусть такая доля минет и врага.

Печальные раздумья

*

Кричим о Дали, о Шагале: чудесно!
И Лувром любой восхититься готов.
А вышивки бабушек
наших безвестных
Лежат, словно клады,
на дне сундуков.
И песни народные тоже
не в моде,
От рока в эфире трещит голова.
Затянем старинную —
нет, не выходит:
Мотив ускользает, забыты слова.

*

Платки, свистульки, кринки,
покрывала —
В музеи сдали — меньше барахла!
А если появлялся где меняла —
Не уезжал порожним из села.
Дубленки и сапожки поснимали,
Хотя веками их носил народ.
И лишь сегодня цену им узнали —
Перелистав журнал парижских мод!

*

«Дома,— люди говорят,— и стены помогают».
А вот нам не помогли. Так, может, люди лгут?!
Наши братья-земляки отчизну покидают.
А язык, обряды, песни свято берегут!
Мы, возможно, растеряем — этот срок все ближе —
Самобытное, родное — напрочь, без следа!
Говор свой найдем в Канаде, рушники — в Париже...
Ну а душу-то, а совесть — где искать тогда?!

Переводы Владимира ГРАЧЕВА.

Валентин ЛАГОДА

«Семейный подряд»

Прозаик Зет писал не слишком бойко,
И вдруг все изменилось: перестройка!
К нему не раз наведался я на дом—
С семейным ознакомиться подрядом.
...Вбегает сын-добытчик: есть, мол, тема,
Невесткой заостряется проблема,
Старушка мама вяжет нить сюжета,
Сам Зет строчит, используя все это,
Две дочки — машбюро: ни дня без стука,
Страницы нумеруют оба внука,
Могучим тестем Зетовы романы
Включаются в издательские планы,
Зять-критик там и сям трубит в фанфары,
Супруга пожинает гонорары.

Хроника

ШУТКА-УТОПИЯ

Товарищ Леопардов Леонард (он же Зайцев),
В литературу привнесший 1 (одиу) йоту,
От обязаиностей члена СП освобождается
В связи с переходом на другую работу.

Двуликий Умудряй

Есть люди: им бы эти дни
Пересидеть в тиши.
Хоть перемен и ждут они,
Девиз их — «не спеши».
За свой покой, мол, стань горой,
Все с ним соизмеряй!..
Таков как раз и наш герой —
Сан Саныч Умудряй.

Он даже славит новизну,
Он ей отнюдь не враг,
Но грань в ней видит лишь одну:
Рост всевозможных благ.
Дождись, урви побольше кус, —
И все — не жизнь, а рай!
Так мыслит — и не дует в ус
Товарищ Умудряй.

В речах-то он горяч, куда!..
Огнем горят глаза.
«Нужна ль нам перестройка? Да!
Я безусловно — за!
А тем, кто к оной не готов,
Скажу лишь: ай-ай-ай!..»
Да, иа трибунах он таков,
Горластый Умудряй.

Но в тесном дружеском кругу
Иначе судит он:
«Нет, братцы, я так не могу,
Чтоб лезть из кожи вон.

Зачем выскакивать вперед?
План сделал — отдыхай!..»
Как не поиять, куда он гнет,
Премудрый Умудряй.

Звучит едва ль не торжество
В словах на злобу дня.
«Нет в перестройке никого
Смекалистей меия.
Я хату, так сказать, свою
Сместил на самый край,
Однако остаюсь в строю!» —
Кичится Умудряй.

Другие пусть берут разгон,
Пусть расшибают лбы:
Борьба нужна! Но лично он —
В сторонке от борьбы.
Ему конечный результат
На блюдечке подай!
...Под кровлями таких вот хат —
Не только Умудряй.

Житье — лежачего не бей:
Ни риска, ни забот...
Но свежий ветер этих дней
Те ставни распахнет —
И мы увидим два лица
В обличии одном:
Приспособленца-хитреца
С двойным нехитрым дном.

Перевод Валентина КОРЧАГИНА.



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Михаил АНТОНОВ

ВЫХОД ЕСТЬ!

КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ ПЕРЕСТРОЙКА

ЗАМЕЧУ сразу, что в настоящей статье я нисколько не затрагиваю ни личного достоинства того или иного ученого, публициста, политика, ни его статуса общественного деятеля. Речь пойдет исключительно о сути выдвигаемых ими теоретических положений, идеалов или лозунгов. А в этой области человеческой деятельности критика, можно сказать, — непременное условие нормального развития науки и общественной жизни.

КУДА ЗОВУТ СТРАНУ АКАДЕМИКИ?

В слове «ученый» заключается только понятие о том, что его много учили, но это еще не значит, что он чему-нибудь научился.

Г. К. Лихтенберг.

...Один Шаталин чего стоит!

В. В. Леонтьев.

ДАВНО замечено, что действительность иной раз преподносит ситуации более удивительные, чем самая изощренная фантастическая литература. Лично я испытал подобное ощущение, когда прочитал в журнале «Огонек» (1989, № 13) пространное интервью академика Л. И. Абалкина. Ученый рассказал, что недавно он вернулся из Люксембурга, где вместе с крупнейшими западными советологами обсуждал ход перестройки в нашей стране. В ходе развернувшейся там дискуссии произошел такой любопытный эпизод.

Известный американский экономист и советолог Джон Гэлбрейт (с конца 1988 года — почетный член Академии наук СССР) спросил Л. И. Абалкина: «У вас в стране идет процесс перестройки, чем мы можем вам помочь?» Наш ученый ответил: «Вы нам уже помогаете. И очень хорошо помогаете». «Как? Чем?» — удивился американский экономист. Л. И. Абалкин разъяснил: «Тем, что вы существуете. Тем, что мы видим реально, что можно иметь при нынешнем уровне производства, развития науки. Какими товарами можно пользоваться, каким жильем можно обладать. Какие ошибки не нужно делать».

Если до сих пор у кого-нибудь и оставались сомнения насчет того, как представляют себе перестройку, ее цели и пути их достижения наши ведущие ученые-обществоведы, то после этого откровения Л. И. Абалкина (а он был директором ведущего экономического научного учреждения страны, Института экономики АН СССР, и народным депутатом СССР от КПСС, к тому же не раз подчеркивал, что выражает не только свою личную точку зрения, но и позицию самых авторитетных теоретических коллективов в области обществоведения) все колебания приходится отбросить. Столпы отечественного обществоведения недвусмысленно утверждают: там, на Западе, настоящая жизнь и пример для подражания, а здесь — унылое существование, и цель перестройки — это достижение такого же изобилия, какое отличает развитые капиталистические страны, иными словами —

установление у нас западного строя жизни. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно прочитать еще несколько интервью Л. И. Абалкина и его коллег-обществоведов.

Вообще надо отметить один из самых больших парадоксов наших дней. Он заключается в том, что чем более деградирует отечественная наука, чем сильнее становится ее отставание от мировой (о чем косвенно говорит и тот факт, что Нобелевских лауреатов в области науки в США в 20 с лишним раз больше, чем в СССР), тем активнее выступают в печати, по радио и телевидению ведущие ученые-академики. Особенно выделяются среди них обществоведы, хотя именно они в годы застоя преимущественно отличались доказательством огромных преимуществ развитого социализма над загнивающим капитализмом.

Академик Л. И. Абалкин руководил научным учреждением, на которое возложена обязанность обеспечить теоретическое обоснование проводимой ныне в стране радикальной экономической реформы. Уважаемый ученый убежден в том, что экономисты — самые важные люди в мире. Недавно именно он докладывал Президиуму Совета Министров СССР предложения по дальнейшему развитию экономики СССР, изложенные в «Правительственном вестнике» (1989, № 3). Как кандидат в народные депутаты СССР он давал интервью (см., например, «Комсомольскую правду» за 8 февраля 1989 г.), а его политический портрет, нарисованный учеными-единомышленниками («Советская Россия», 4 февраля 1989 г.), пестрит самыми хвалебными характеристиками: это — тот мыслитель, «кто в предельной на сегодня степени владеет пониманием сути того, что мы хотим получить в идеале, кто в максимальной мере выжал из себя устаревшие догмы и методы мышления», сторонник «экономического гуманизма» и т. п. Иные публицисты уже пытаются предугадать, какие речи произнесет Л. И. Абалкин на высшем форуме страны, обличая экономическую безграмотность министра финансов.

Ну а если взглянуть на дело непредвзято? Надо тогда откровенно признать, что взгляд Л. И. Абалкина на перспективы экономического развития страны весьма далек от оптимизма. Представленная им правительству концепция предусматривает первоначальное оздоровление экономики в течение 5—7 лет и уж затем последовательное развертывание экономической реформы до 2000 года. На основании исторического опыта делается вывод, что ни одна крупная радикальная реформа невозможна без потерь, так пусть страдают в первую очередь те, кто не желает работать честно и производительно, кто живет практически на незаработанные средства (здесь имеются в виду не мафиози, а предприятия, которые не укладываются в установленные учеными-экономистами, во многом надуманные, общественные нормы эффективного ведения хозяйства). Как видим, нам предлагается еще много лет догонять развитые капиталистические страны («надо наконец набраться мужества и сказать прямо: за 2—3 года достигнуть мирового уровня с нашим состоянием производительных сил практически нельзя»), причем значительной части народа придется потуже затянуть пояса, рядовым гражданам расплачиваться за промахи бывшего руководства. По словам ученого, наш народ разучился работать, отстал в воспитании и культуре от более цивилизованных на целую эпоху, у нас нет слоя мастеров и хозяев. Машины можно купить за рубежом, а народ с высокой культурой «не купишь». Поэтому надежда — на сотрудничество с Западом, тем более что преодолеть главное зло — монополизм производителей — без выхода на мировой рынок невозможно. И в своей беседе с американским экономистом Джоном Гэлбрейтом Л. И. Абалкин («Известия», 31 января 1989 г.) убеждает наших вожделенных партнеров: «Разумеется, мы хотели бы получать от Запада товары, которые могут прямо воздействовать на улучшение жизни советского народа. Приобретать оборудование, новейшую технологию, изучать опыт управления, организации производства. В этом смысле мы можем быть огромным рынком для западных предпринимателей. Важно вовремя прийти на этот рынок, чтобы не опоздать. Это очень важно и для нас, и для вас» (разрядка моя.— М. А.).

Да, спешите, господа, захватить необъятный советский рынок, поставляйте нам товары народного потребления и оборудование, а мы будем расплачиваться остатками нефти и газа, сведем еще сохранившиеся леса, предоставим вам свою территорию и дешевую рабочую силу. Спешите и не церемоньтесь с нами, с отсталым, некультурным народом!

На мой взгляд, уважаемый академик поспешил, давая, по сути, согласие на превращение нашей страны в сырьевой придаток и рынок сбыта, а уж точнее говоря — в колонию транснациональных корпораций. Да, мы многое утратили из культурного богатства, накапливавшегося Отчизной в течение веков, но отнюдь не стали неумехами, а если выглядим таковыми, то только потому, что опутаны по рукам и ногам бюрократическими и прочими узами. Уберите с нашего пути эти препятствия — и вы увидите, сколько в стране умельцев и мастеров, деловых людей и носителей подлинно государственного мышления! Японские предприниматели только на крохах, которые наши умельцы публикуют в журнальных рубриках «Сделай сам», наживают миллионы долларов, итальянские дельцы поражаются одаренности наших соотечественников, но все это давит мощный бюрократический пресс, а самые ценные идеи от нас систематически уплывают за границу.

Любопытно, что на первой полосе «Правды» за 5 февраля 1989 года рядом (нарочно не придумаешь!) помещены два сообщения. Первое — о создании фирмы по привлечению западного капитала к развитию Могилевской области (своих силенок не хватает!), а второе — о том, что в Калуге молодежь одного НИИ, занимаясь этим в свободное от работы время, создала многофункциональную ЭВМ, которая умещается в обычном «дипломате». Вот они — два подхода — упование на помощь Запада (которая вряд ли будет бескорыстной и эффективной) и равнение на свои силы, поиск собственного пути! Об эффективности этого собственного пути говорят не только отдельные удачи умельцев-энтузиастов, которых не удалось еще задавить уповающим только на Запад бюрократам, но и достижения целых коллективов и отраслей, о чем рассказал недавно академик В. Семенихин (см. ниже).

Вернусь к интервью Л. И. Абалкина, напечатанному в «Огоньке» (1989, № 13). Вооруженный идеями, которые он почерпнул в Люксембурге в беседах со всемирно известными и знающими наши проблемы зарубежными коллегами, Л. И. Абалкин спешит просветить наших «товарников», ратующих за неограниченное развертывание товарно-денежных отношений, стихии рынка. Он напоминает им идею, высказанную лет 25 назад американским экономистом Джоном Гэлбрейтом, что рынок — это только один из секторов современной западной экономики, а, например, крупнейшие транснациональные корпорации (эти своего рода «государства над государствами»), на долю которых приходится ныне более половины мировой торговли, функционируют отнюдь не на началах рынка, ибо они жестко завязаны технологическими процессами, кооперационными поставками, стандартами и т. д. В развитых капиталистических странах ныне классической рыночной модели экономики уже нет, там осуществляются колоссальные общенациональные программы.

Конечно, просвещать наших ученых-экономистов, особенно «товарников-экстремистов», помочь им преодолеть провинциализм их мысли — дело полезное. Любопытна еще такая деталь. Крупнейший советолог Хьюет, анализируя в своем выступлении нашу перестройку, высказал опасение, как бы мы, совершенно справедливо критикуя централизм, не отказались от него (от планирования) даже в тех сферах, где оно необходимо. По словам Л. И. Абалкина, он успокоил своего зарубежного коллегу: «Такая опасность нам не грозит».

Согласитесь, картина не часто встречающаяся. Наши «товарники-экстремисты» рвут и мечут, доказывая необходимость всеобъемлющего рынка, хотя осуществление их рекомендаций грозит полным развалом советской экономики. А западные советологи очень беспокоятся, как бы мы не сорвали перестройку, не разрушили свою экономику непродуманным развязыванием рыночной стихии. Почему же зарубежные ученые-экономисты больше заинтересованы в стабильности нашего народного хозяйства, чем корифеи отечественной экономической науки?

Но, конечно, особое внимание привлечет мысль Л. И. Абалкина о том, что Запад — это и есть пример разумной организации жизни и эффективности экономики, пока для нас недостижимый идеал.

В свое время В. И. Ленин мыслил мирное сосуществование капитализма

и социализма на основе соревнования, показа примером, какая из этих двух систем лучше. Он высказывал твердую уверенность в том, что победа в мирном соревновании будет на стороне социализма. Да, согласимся, пока это предвидение не сбылось. И вот ныне ведущие ученые-экономисты, кстати сказать, еще недавно преуспевавшие в показе высоких достоинств хозяйственного механизма развитого социализма, по сути признают крах прежних надежд на наглядное доказательство преимуществ социализма и в качестве примера для нас представляют капиталистические страны. Из контекста интервью Л. И. Абалкина отчетливо видны его симпатии и понимание конечных целей перестройки.

Равнение на Запад, упование на помощь из-за рубежа, привлечение капиталов и идей Запада для решения наших проблем — вот суть концепции Л. И. Абалкина. Даже для устранения монопольного положения отдельных наших производственных предприятий предлагается, наряду с другими решениями, «подключить конкуренцию мирового рынка». Я представил себе, в каком положении окажется наше предприятие-монополист, как правило, оснащенное устаревшим оборудованием и т. п., когда «на помощь» ему придет конкуренция мирового рынка. Это предприятие быстро обанкротится, и тогда на нашем внутреннем рынке место отсталого отечественного монополиста займет монополист передовой, но зарубежный, который, без сомнения, сумеет извлечь из своего нового положения все возможные выгоды не только экономического, но и политического порядка. А если продукция нашего обанкротившегося монополиста шла на жизненно важные цели, например, на оборону страны?

Кстати об обороне. Л. И. Абалкин, как и почти все ведущие ученые-экономисты, выступает за резкое сокращение военных расходов. И доводы выдвигает вроде бы резонные: уж больно высока доля расходов на оборону в бюджете. Эта кампания совпала по времени с появлением в прессе серии материалов о негативных явлениях в жизни Вооруженных Сил. Появились и статьи, в которых утверждается, будто в мире уже наступила эра цивилизованности, когда возможность войны навсегда исключена, тем более нет угрозы нападения на нашу страну: природные свои богатства мы и так продаем по дешевке, а территория, людские ресурсы — кому они ныне нужны?

По поводу этих суждений надо заметить следующее.

Во-первых, на XIX партконференции говорилось о том, что у нас немало внешних недругов, зарящихся на нашу землю. Да и достаточно взглянуть на карту мира и сопоставить территории нашей страны и других государств с огромным населением (особенно с учетом демографического взрыва во многих некогда отсталых регионах планеты), чтобы убедиться в наличии серьезной угрозы нападения извне, хотя бы и в отдаленном будущем. Не следует забывать, что буржуазная пропаганда давно представляет наш народ в роли некой собаки на сене: он сам не ест (то есть не использует эффективно, по-человечески доставшуюся ему огромную территорию с завидно богатыми природными ресурсами) и другим не дает. Мы, похоже, совсем пока не принимаем в расчет внешнеполитический аспект нашей бесхозяйственности, а она рождает отнюдь не миролюбивые мысли у новоявленных искателей «жизненного пространства». Да и страны НАТО, приветствуя наше относительное сокращение Вооруженных Сил, не спешат следовать доброму примеру. И Валери Жискар д'Эстен, и Генри Киссинджер, составлявшие доклад по поручению Трехсторонней комиссии, считают необходимым усиление военной мощи НАТО для оказания давления на СССР, чтобы направить нашу перестройку в нужном Западу направлении. США вовсе не намерены отказываться от осуществления программы «стратегической оборонной инициативы», и если сейчас не так часто бряцают оружием, как раньше, то прежде всего потому, что надеются мирным путем выиграть больше: «...хотя администрация Дж. Буша сочувствует движению за национальную автономию (речь шла о беспорядках в Тбилиси. — М. А.), она в то же время не желала бы потрясений, которые бы подорвали перспективы дальнейших перемен в СССР... большинство на Западе с симпатией смотрит на требования национальных меньшинств, но оно также желает успеха политике реформ... Этнические конфликты... затрудняют реформы и дают в руки их противников серьезные аргументы» («Правда», 13 апреля 1989 г. Обзор иностранной прессы).

Просто удивительна трогательная забота лидеров и идеологов капиталистического мира об успехе перестройки в СССР, которая, по их мнению, идет в правильном (то есть, надо полагать, выгодном для них) направлении. Оно и не удивительно: американские специалисты утверждают, что пора «вести речь о мировой экономике в целом, не разделяя ее на американскую, советскую, бразильскую и т. д.», и выражают в связи с этим надежду, что советское хозяйственное право приблизится к юридическим нормам капиталистических стран («Известия», 12 апреля 1989 г.). А советские экономисты ратуют за выход на мировой рынок и за приведение цен внутри страны в соответствие с мировыми («Комсомольская правда», 23 июля 1988 г.). Как видим, не мытьем — так катаньем, с минимальными потерями, западные политики, идеологи, ученые и бизнесмены рассчитывают, подталкивая перестройку в нужном направлении, осуществить давнюю мечту и «включить СССР в мировую экономику», разумеется, не в качестве лидера, а совсем в другом (точнее сказать — прямо противоположном). Ну а будем противиться такой перспективе — у Запада наготове бронированный кулак. Спрашивается: нужны ли нам в этих условиях крепкие Вооруженные Силы или же их пора распустить по домам как ненужную и тяжкую обузу для народа?

Разумеется, с негативными явлениями в Вооруженных Силах надо бороться. И расходовать средства на оборону следует более экономно. Но не есть ли независимость Родины та высшая ценность, для спасения которой народ, не потерявший полностью своего достоинства, не пожалеет ничего?

Во-вторых, расходы на оборону, конечно же, очень велики: ведь приходится содержать огромные по численности Вооруженные Силы и оснащать их всем необходимым для противостояния мощному возможному противнику (это постоянно подчеркивает и американский бизнесмен Арманд Хаммер — см. «Правду» за 2 ноября 1987 г.). Но относительная значимость этих расходов зависит от эффективности экономической системы, поясню эту мысль всем понятным бытовым примером.

Если из целого ведра воды дать кружечку прохожему, чтобы напиться, никакой беды не будет. Но если ведро дырявое, то, пока его донесут домой, в нем вообще и останется-то всего ничего, и тогда кружечка, отданная прохожему, составит от остатка очень большую долю. Можно, следовательно, ограничить помощь прохожим, сократить ее до полкружечки, а можно заделать дыру в ведре. Наша экономика сейчас — одна из самых неэффективных в мире (да и в истории), и надо резко повысить коэффициент ее полезного действия, тогда расходы на оборону, в абсолютных цифрах значительные (малыми они и не могут быть), относительно общего бюджета страны будут невелики.

Словом, лично мне концепция Л. И. Абалкина в целом и его упор на необходимость сокращения военных расходов представляются далеко не бесспорными. В его идее пошире раскрыть двери для иностранного капитала, по сути, нет ничего оригинального. Те же советы: брать на Западе кредиты, закупать и потребительские продукты, и машины, расширять совместные предприятия или нанимать иностранных менеджеров на советские заводы, фабрики и стройки, создать в стране настоящий рынок и т. п. дает и американский экономист В. В. Леонтьев («Аргументы и факты», 1989, № 16). А вот о главном — о полном банкротстве советской экономической науки и о своей ответственности за это Л. И. Абалкин не сказал, но ведь шила в мешке не утаишь, народ-то, несмотря на все культы уважаемых теоретиков, начинает осознавать, кто есть кто. Рядовой снабженец Ю. Курочкин из Новосибирска считает, что экономическая наука должна была сказать свое слово на XIX Всесоюзной партконференции. «Что же она нам сказала? Надо понять, возвестил один из ее лидеров академик Л. И. Абалкин, что такое социализм. Простите, но кто же в обществе должен сделать эту работу, дать понятие о социализме как политической и экономической системе? У государства нет для этого иных специалистов, кроме занятых в экономической науке. Так понимайте! И нам разъясняйте! Кто мешает-то? Но академик предпочел поставить эту задачу перед конференцией. И из других его положений я чаще улавливаю, что мы все должны делать. В общем-то, люди себе уже представляют это. Сегодня нам важнее знать — КАК делать? Всех мучает вопрос: кому нужен «театр ужасов» в нашей экономике? Кто заинтересован постоянно подчеркивать

провалы в общественном сознании? По моему, академическая наука, не зная, куда и как вести самое себя и тем более нашу экономику, как раз и заинтересована в бесконечном пережевывании вчерашнего несостоявшегося и сегодняшнего «не так идущего» («Социалистическая индустрия», 10 июля 1988 г.).

После сказанного читателю, надеюсь, будут понятны вопросы, возникшие у меня, когда я узнал, что Л. И. Абалкин рекомендован на пост заместителя Председателя Совета Министров СССР. Меня интересует, изменил ли он свою концепцию. Если да, то в чем заключаются его новые взгляды? Если нет, то не означает ли его назначение, что правительство приняло курс на превращение СССР в колонию в качестве своей экономической программы?

У такого оборота событий есть одна положительная сторона. Прежде Л. И. Абалкин и его сторонники могли играть выигрышную роль «оппозиции» правительству, хотя никакими конструктивными идеями сами не могли похвалиться. Теперь им придется разделить с правительством ответственность за экономический курс, который, если останется таким, каким обрисован в трудах уважаемого академика, может привести только к одному итогу — полному банкротству.

Есть смысл еще раз перечитать приведенное выше суждение Ю. Курочкина.

Тут рядовой читатель подметил самое главное в деятельности наших ведущих ученых-экономистов. Не разрабатывая коренных проблем теории социализма, они в последнее время заняты почти исключительно пропагандой достижений капитализма. В этом от Л. И. Абалкина не отстают и другие академики-экономисты. Академик Г. А. Арбатов советует правительству принять срочные (опять спешка) меры — взять кредиты не на закупку оборудования, которое потом может быть заморожено в долгострое, а на товары широкого потребления (на что Н. И. Рыжков резонно заметил: тогда «через два года будем работать на долги». О том, что дело обстоит именно так, свидетельствует опыт Польши, Венгрии и Югославии).

Академик О. Т. Богомолов не поддерживает подобные предложения, ибо это грозит тем, что страна попадет в долговую ловушку. По его мнению, более правильно привлекать иностранный капитал для создания совместных предприятий.

Я вовсе не против совместных предприятий. Разве плохо было бы создать совместное предприятие, где наш вклад выражался бы в передовой технологии, а, скажем, США, как страна в данной области более отсталая, предоставила бы свои природные, территориальные и трудовые ресурсы? Ведь такие примеры есть — взять хотя бы комплексы микрохирургии глаза, создаваемые по идее С. Федорова. Но наших ведущих ученых-экономистов и хозяйственных руководителей, да и иных государственных мужей охватила форменная эйфория, началось чуть ли не соревнование, кто больше создаст совместных с иностранцами предприятий (а ведь внутри страны нередко два ведомства десятилетиями не могут договориться о налаживании совместного производства). Ведь иностранный капитал протягивает нам руку вовсе не с благотворительной целью, он преследует две цели: ближайшую — получить максимум прибыли, и отдаленную — ослабить СССР, не допустить превращения его в конкурента на мировом рынке, да и подорвать его военное могущество. Наверное, это сегодня может быть неясно только невинному младенцу.

Даже реалистически мыслящие иностранные бизнесмены удивляются такой прыти со стороны наших бюрократов, прежде известных всему миру за непрошибаемых консерваторов. Предприниматели Швеции, Японии, Южной Кореи советуют нам не гнаться за количеством совместных предприятий, подумать над тем, как бы они, что называется, не вышли боком.

А академики-экономисты ни о чем таком не говорят. Видимо, по их представлениям, у нашей страны вообще не осталось врагов, претендентов на нашу территорию, или хотя бы корыстных дельцов, жаждущих нажиться за наш счет, так что надо поскорее встраиваться в единую мировую экономику. И мотивируют это они таким вроде бы на первый взгляд убедительным доводом, который сформулировал академик О. Т. Богомолов: «Курс на разрыв с мировым хозяйством, на экономическую изоляцию не оправдал себя». Поэтому, по его мнению, подтвержденному ссылкой на Ленина, надо сдать англичанам один из живописнейших уголков Крыма в аренду на 99 лет, чтобы те построили там туристический комплекс. На вопрос: «А без иностранцев мы не сможем этого добиться?» — он ответил: «Вероятно, сможем, но больше уйдет времени на обучение...» («Комсомольская правда», 1 февраля 1989 г.).

Курс на разрыв с мировым хозяйством, конечно же, себя не оправдывает, да и проводился ли он нами когда-нибудь? По сути, все годы Советской власти мы вывозили за границу, чаще всего по дешевке, лес, руду и другие богатства, ввозили же оборудование, а в последние четверть века — еще и хлеб, мясо, масло. Разве это изоляция?

Реакционные западные советологи не одно десятилетие потешаются над тем, что первое в мире социалистическое государство, поставившее своей задачей указать путь спасения всему человечеству, на деле не сумело не только создать более эффективную, чем при капитализме, экономику, но и просто прокормить себя. Не мешало бы напомнить сегодня этим кичащимся своим превосходством идеологам капитализма: процветание их стран во многом обусловлено тем, что на протяжении всего XX века, а особенно в послереволюционный период, они вытягивали соки из тела России, выкачивая из нее нефть и газ, лес и руду, золото и пушнину. Замечено, что по мере усиления контактов с нами капиталистические страны как бы форсировали экспорт инфляции в СССР. А экспорт советской нефти ослабил удар, нанесенный Западу энергетическим кризисом, размещение у нас совместных экологически грязных производств способствует снятию остроты социальной напряженности, вызванной там экологическим кризисом. Впрочем, все это со знанием дела осветил в своих книгах Г. Киссинджер. А нам не следовало бы забывать, что, не будь этой подкачки ресурсов из России, капиталистический мир, наверное, уже не раз испытал бы кризисы, более жестокие, чем так напугавшая его в свое время «великая депрессия» 30-х годов. Да, Россия (и царская, и советская) питала Запад не по соображениям благотворительности, а потому, что попала в капканы, хитроумно расставленные мировым финансовым капиталом. Так было и так пока есть, но это вовсе не означает, что только подобное и возможно, что так будет и впредь.

Вернусь к последнему доводу О. Т. Богомолова.

Спрашивается: почему же англичане строят быстро, а мы медленно? Ответ очевиден: наши производственные отношения, господство супермонополий, «самоедская» экономика, работающая сама на себя, а не на человека, тормозят развитие производительных сил. Если этот тормоз сохранится, то зачем нам совместные предприятия, что они дадут (ведь для страны создавать их — все равно что для семьи сдавать комнату своей квартиры внаем, да еще и жилец может появиться наглый или заразный)? Если же тот тормоз устранить, то мы сами сможем строить быстро, и тогда опять-таки зачем нам совместные предприятия?

Что же получается в целом? То, что, по словам Н. И. Рыжкова, «у нас было бы меньше недостатков и недоработок, если бы мы действительно вовремя имели научные разработки, которых очень не хватает... Академическая наука должна выдвигать больше предложений, осуществлять больше конкретных дел». Президиум Совета Министров СССР не согласился с рядом содержавшихся в докладе Л. И. Абалкина выводов, отметив, что отдельные предложения недостаточно аргументированы и не учитывают в должной мере положение дел в народном хозяйстве. Фундаментальная экономическая наука не уделяет должного внимания вопросам научного обеспечения экономической реформы. Словом, как говорится, гора родила мышь.

Академик А. Г. Аганбегян, который часто меняет свою позицию по тем или иным вопросам (раньше он выступал за реформу цен, а теперь советует снять эту проблему на ближайшие 3—4 года; так же поменял свое мнение и академик С. С. Шаталин), жалуется в «Правде» на то, что ведущих ученых-экономистов не слушают в директивных органах. Так, может быть, это-то и хорошо? Как показали доктор экономических наук Д. Валовой («Советская Россия», 23 февраля 1989 г.), доктор экономических наук Э. Горбунов и публицист Игорь Лавровский («Социалистическая индустрия», 27 декабря 1988 г. и 8 февраля 1989 г.), сами исходные установки концепций наших ведущих ученых-экономистов порочны и не могут вывести народное хозяйство из тупика. Вот почему, на мой взгляд, так злободневны

слова венгерского профессора Калмана Пече: «Не следует нам, ученым-экономистам, вводить в заблуждение высших руководителей наших стран» («Советская Россия», 27 декабря 1988 г.).

Читатели, следящие за учеными-перевертышами, не перестают удивляться тому, что все ошибочные рекомендации, приведшие к зряшным миллиардным затратам, никак не отразились на положении их авторов. Цитированный уже Ю. Курочкин, отметив пустоту и бессодержательность рекомендаций экономической науки, продолжает: «И никакой при этом ответственности! У врача она — вплоть до уголовной. А у науки, оставившей всех нас без обобщенной стратегии хозяйствования в зоне БАМа? Многомиллиардные затраты, четырнадцать лет героического труда, и... вместо экономического рывка — масса заседаний и книг, выпущенных членами высокоученого совета, возглавляемого академиком А. Г. Аганбегяном».

А А. Г. Аганбегян как ни в чем не бывало докладывает на общем собрании Академии наук СССР: «...Ни для кого не секрет, что явных сдвигов в экономике пока нет и их трудно ожидать, пока не будут переломлены негативные тенденции в ее развитии» («Правда», 20 октября 1988 г.). Но ведь негативных тенденций в экономике не переломить без творческого развития экономической науки, за которое А. Г. Аганбегян должен отвечать (во всяком случае, именно за это он получает зарплату, кстати сказать, немалую). Почему же об этом-то, об успехах на данном поприще ни слова? Ведь М. С. Горбачев в своем заключительном слове на апрельском (1989 г.) Пленуме ЦК КПСС не зря сказал, «что у нас не только практика, но и наука оказалась беспомощной, не смогла предложить сразу необходимые проекты, меры, которые бы помогали нам создать нужные механизмы, обеспечили переход к эффективному хозяйствованию» («Правда», 27 апреля, 1989 г.).

Но почему наша экономическая наука оказалась такой беспомощной в решении важнейших задач, вставших перед страной? Потому, что она никак не может преодолеть свою ограниченность, свой «экономизм». Она все пытается решить задачи экономики, не выходя за пределы самой экономики, а это в современных условиях надо признать совершенно ненаучным подходом (нарушением условий известной теоремы Гёделя). Чисто экономические проблемы существуют ныне только в воображении ученых-экономистов, а в действительности они являются одновременно и экологическими, и социальными, и национальными, и духовно-нравственными. Скажем, экономисты подсчитали, что самый выгодный вариант развития производства минеральных удобрений — это добыча фосфоритов открытым способом в Эстонии. Но эстонский народ грудью встал на защиту своей родной земли, потому что такое производство обернулось бы экологическим разбоем, таким же техническим геноцидом, как и осушение Арала ради миражей роста сбора хлопка. Коротко и образно сказал на встрече председателей передовых колхозов о порочности узкоэкономического подхода В. Плютинский: «Люди сами выбирают то, что для жизни лучше подходит, что более социалистично. А экономическая наука путается в лабиринтах, никак не может понять, что есть человек и каковы его потребности» («Правда», 10 января 1989 г.).

Да, ведущие ученые-экономисты часто сетуют сегодня: не тот человек, на которого мы рассчитывали, начиная разработку концепции экономической теории. Мы имели в виду своекорыстного «экономического человека» с бесконечно растущими потребностями, жаждущего заработать как можно больше, а столкнулись с плохим работником, тяготеющим к «уравниловке», в которой он видит одно из проявлений социальной справедливости, нередко проявляющим «зависть» и недоброжелательно относящимся к тем, кто в погоне за деньгами «высовывается» из общей массы. Словом, мы основывались на западных политико-экономических принципах, а русские, украинцы, белорусы, чуваши и работники других национальностей часто руководствуются в своей жизни совсем иными установками. Ну а с таким народом, где почти нет предпринимателей по духу и мастеров своего дела, совершить рывок в технологии, в экономике вообще невозможно.

Не удивительно, что ведущие ученые-экономисты все чаще обращают взоры на Запад и в поисках идей и методов управления экономикой. Так, академик Т. И. Заславская, выступая 15 апреля 1989 года по телевидению, с гордостью заявила, что достигнута договоренность о посылке в зарубежные школы менеджмента первых групп наших крупных хозяйственных руководителей. Она преподнесла как крупнейшее достижение, как залог быстрого подъема эффективности нашей экономики то, что на деле может оказаться средством дальнейшего ее развала, углубления взаимного непонимания между рядовыми работниками и хозяйственными руководителями.

Впрочем, может быть, я не прав. Транснациональные корпорации, хотя и не разработали еще теории для советской экономики, тем не менее уже имеют на вооружении концепцию «трансидеологического предприятия», позволяющую им успешно организовывать производство в таких развивающихся странах, как Чили. Конечно, это не верх премудрости, но все же уровень разработки повыше, чем у наших академиков, переписывающих (с запозданием и искажениями) труды теоретиков Запада. Наверное, нам было бы лучше воспользоваться идеями самих западных ученых (в частности, неоконсерваторов, отличающихся от либералов более здравым взглядом на перспективы развития цивилизации), чем прибегать к услугам малограмотных наших посредников с высокими учеными титулами.

Но и при всех оговорках эффективность обучения западному менеджменту не следует преувеличивать. На Западе наших хозяйственных руководителей будут обучать управлению экономикой одного типа, а у нас — другой ее тип. (Иное дело, если обучение на западном опыте ведется, так сказать, с заглядом вперед, в расчете на то, что и у нас в скором времени установятся те же порядки, что и в капиталистических странах.)

Ведь наши социальные условия совсем иные, чем на Западе, а это требует и совсем иных методов управления, основанных на наших ценностях и исторических традициях. Знать иностранный опыт менеджмента полезно, если применять его творчески и на национальной основе, а откуда ее взять, если в течение всего послереволюционного периода она попросту отвергалась. Внедрение же западного опыта управления без учета того, что у нас совсем иные социальные условия, может принести вместо пользы только вред. Упование Т. И. Заславской и ее коллег на опыт западной школы бизнеса лишь отражает их неверие в творческие силы и самобытность мысли нашего народа.

Меня, признаться, удивляет и еще одно обстоятельство. Т. И. Заславская много раз высказывала мысль о том, что наши управленцы превратились (или шли в этом направлении) в особый класс, что есть «основания говорить, по крайней мере, о косвенной эксплуатации номенклатурным слоем остальной массы населения» («Известия», 23 декабря 1988 г.). В коррумпированных работниках аппарата управления она видит и ядро организованной преступности (см. «Иного не дано», М., 1988, с. 17).

Спрашивается, если наши доморощенные бюрократы — это новые эксплуататоры, то менеджеры, воспитанные в западных школах бизнеса, окажутся просто трудящимися?

И опять-таки рядовые читатели начинают осознавать, что стоит за нападками на класс управленцев и за призывами Т. И. Заславской к революционной перестройке. В том же номере «Известий», где напечатано ее интервью, приведены высказывания рядовых граждан, опасающихся, что такая революция грозит нам новыми кровопролитиями: «...Хватит с нас «революций» со всеми неизбежными «врагами», избавьте многострадальный советский народ от классовой борьбы... Ведь все это отдает холодом и голодом...» Действительно, и отечественный, и мировой опыт показывает, что призыв открыть «огонь по штабам» всегда приводил к конфликтным ситуациям, более того — к кровопролитию и разрушению.

Т. И. Заславская успокаивает сомневающихся: революционная перестройка может совершиться и относительно мирно. Возникающие повсеместно народные фронты в поддержку перестройки (о них речь пойдет впереди) организуют «давление снизу», которое заставит бюрократию пойти на уступки. В качестве образцов таких народных фронтов приводится, в частности, движение в республиках Прибалтики, хотя оно преследует далеко не созидательные цели, например, когда добивается распада СССР на ряд независимых национальных государств. В этих демократических фронтах академик не видит никакой опасности. Зато опас-

ными представляются «шовинистические, националистические, даже фашистские группы», призывающие людей к насилию и практически его совершающие. А те «демократы» в Эстонии, которые пишут на стенах домов «Смерть русским!», они что, не шовинисты? А «Демократический союз», призывающий, как писала «Правда», убивать коммунистов и совершать диверсионные акты, — это всего-навсего патриоты и борцы за народное счастье? *Что-то не вяжутся концы с концами у наших уважаемых академиков.* Я не останавливаюсь на теоретических рекомендациях Т. И. Заславской по ликвидации российской деревни и на ее приемах манипулирования общественным мнением (что хорошо показал в ряде своих публикаций А. Салуцкий) — это, повторяю, лишь еще одно проявление *неверия ведущих ученых-обществоведов в творческие силы народа.*

Ни один русский, украинец, белорус, чуваш и т. д., знающий свой народ, никогда не согласится с заключением о нашей неспособности к эффективному труду. Хорошо сказал об этом академик В. Семенихин в напечатанной в «Правде» (10 апреля 1989 г.) статье «Перестройку ускорить можно» (с красноречивым подзаголовком: «Для этого экономическая наука должна быть ближе к реальностям производства»): «Не могу согласиться с мнением Л. И. Абалкина о якобы низком «качестве массы». Имеется немало доказательств, что наша промышленность способна работать качественно и с высокой отдачей. Дело в том, что за долгие годы социального застоя люди утратили идеологические и моральные стимулы, а новый хозяйственный механизм еще не отработан и поэтому не дал пока замены таких материальных стимулов, которые возродили бы трудовую активность масс на основе экономической заинтересованности предприятий и каждого работника в результатах своего труда».

Но с точки зрения наших ведущих ученых-экономистов, идеологические и моральные стимулы — это вещь настолько неосязаемая и несущественная, что в концепциях развития экономики ей почти не уделяется места. Эти ученые по-прежнему оперируют исключительно цифрами роста национального дохода и валового национального продукта, объема производства и суммы «освоенных» средств (а все эти показатели можно искусственно поднять вверх, например, за счет выпуска ненужной продукции), человек же занимает их только как производитель и потребитель материальных благ.

Замечу, что наши ученые-экономисты все более явно игнорируют моральные стимулы к труду как раз тогда, когда в капиталистических странах полнее и полнее осознают их значение. То ли наши корифеи еще не успели прочитать об этом, то ли не сумели в очередной раз переориентироваться.

Вот откуда и пессимизм наших ведущих ученых-экономистов насчет сроков выхода страны на мировые рубежи научно-технического прогресса, вот откуда и их упорное стремление опереться на совместные предприятия и «свободные экономические зоны». Но ведь это — тупиковый путь, что хорошо чувствуют даже не очень искушенные в науке читатели. Так, откликаясь на статью академика С. С. Шаталина с предложением взять кредиты на Западе для приобретения новейшей технологии, читатель В. Богуша из Капсукаса пишет: «В нашем городе импортное оборудование простояло на фундаментах 12 лет, да так и было списано с фабричного баланса, не начав работать», «Боюсь, что при нашей неповоротливости мы оставим свои долги детям и внукам, — добавляет Б. Якин из Пензы. — Я бы очень этого не хотел». А В. Королев из Ростовской области посмотрел на проблему с иной точки зрения: «Академик предполагает рассчитаться с кредитом через семь-десять лет продукцией закупленных заводов. А нужна ли она будет Западу через десять лет? Независимо от того, идет ли речь об отечественном машиностроении или импортном оборудовании, мы должны действовать с упреждением, иметь четкое видение перспективы, опираться на развитую теорию прогнозирования. Ничего внятного насчет того, как обойти Запад, наша наука сказать не может. Вот бы где нам и нужно подтянуться прежде всего!» («Социалистическая индустрия», 24 января 1989 г.)

Но вот об этом-то, о *поиске собственного пути развития* экономики, техники и науки, ведущие ученые-экономисты менее всего думают. А последствия такого подхода могут оказаться для страны поистине катастрофиче-

скими. Кандидат философских наук А. Зайцев убедительно показал, что не только ныне выпускаемая у нас, но и проектируемая на десятилетия вперед техника уже сейчас обречена на отставание, потому что на Западе давно уже конструкцию машины приспосабливают к человеку, а мы все еще создаем технику, к которой должен приспосабливаться человек («Известия», 2 мая 1988 г.). Запад действительно начинает задумываться над проблемой «очеловечения техники», но нам, естественно, поставляет выпускаемое ныне оборудование, причем, как показывает опыт, тотчас по окончании поставок снимает его с производства. Следовательно, наше производство оказывается не только технически отсталым, но и антигуманным, не учитывающим особенности человека вообще, тем более — советского человека. Поэтому неимоверные усилия и жертвы, приносимые нашим народом ради создания материально-технической базы будущего, могут оказаться (и даже, с большой вероятностью можно утверждать, окажутся) напрасными. Переворотив горы земли и вложив в нее уйму металла и бетона, мы можем и в дальнейшем остаться отсталой в техническом отношении страной с крайне низким уровнем жизни народа. Следовательно, *путь развития, предлагаемый нашими ведущими учеными-экономистами, может привести страну только к полному банкротству.*

А с другой стороны, история показывает, что ведь быстрые прорывы в науке, технике и экономике вполне возможны. Всем памятно так называемое «японское чудо», когда, по словам Ю. Тавровского, «наши дальневосточные соседи доказали, что чудеса реальны, что сплотившийся воедино, напрягший все свои силы народ, имеющий разумно выбранную стратегию, способен осуществлять крутые рывки и заново перестраивать свою жизнь, свою страну **при условии более или менее равномерного расклада тягот и плодов реформ**» («Литературная газета», 8 февраля 1989 г. — выделено мной. — М. А.).

Вот в чем дело. Нужно иметь четко поставленную общенародную цель, выработать разумную стратегию ее достижения и ограничить аппетиты разного рода монополий и мафий, чтобы все более или менее равномерно несли тяготы и пожинали плоды совместных усилий. Народ, ощутивший себя единой семьей, где каждая личность на счету как часть нации, — такой народ способен на подлинные чудеса. Ю. Тавровский специально подчеркивает: «...мы, думается, гораздо ближе к японцам по духу, по исторической судьбе, чем те же американцы или западноевропейцы, зачастую подходящие к японскому опыту чисто технократически, без учета того, что сейчас называют «человеческим фактором».

Вот где корень. Американские и западноевропейские специалисты подходят к японскому опыту чисто технократически, а потому из всех их попыток пересадить его на свою почву ничего не выходит. Наши ведущие ученые-экономисты подходят к зарубежному опыту не только чисто технократически, но еще и узкоэкономически, а потому итог всех усилий еще более плачевен. А как подойти к человеку — они не знают. «Как конкретно сделать народное здоровье, благополучие, культуру ценностями на уровне патриотического абсолюта, святыни, я с ходу ответить не могу, — признается Л. И. Абалкин в своем интервью. — Но что без этого мы не выживем как великая держава — я уверен стопроцентно».

Ответа с ходу никто от ученых-экономистов и не требует, но ведь в их распоряжении были десятилетия, а они занимались обоснованием, одобрением и комментированием уже принятых (часто ошибочных) решений директивных органов. Да и сейчас не надо ответов с ходу — уж больно они дорого обходятся. Как раз и требуется, чтобы ученые неспешно (но это не значит — долго, это совсем разные вещи) подумали, выработали бы принципиально новый подход к экономике с точки зрения высших целей человека и народа. И непреодолимых трудностей тут нет. Надо лишь осознать, что современное наше экономическое развитие — это вовсе не хозяйствование, а быстро прогрессирующее разорение страны. Следовательно, перед нами стоит задача — возродить вновь разоренную (но теперь уже не вражеским нашествием, а собственным неразумным хозяйствованием) родную землю, залечить ее раны, превратить ее в цветущий сад, сделать так, чтобы опять зашумели леса на месте хищнически вырубленных, стали чистыми, полноводными и полными рыбой реки и озера, чтобы в городах и селах можно было жить полнокровной творческой жизнью, а не умирать медленно от

прогрессирующего отравления природной среды. Вот такая, подлинно обетованная, земля и станет примером для всего мира, такой подход и обеспечит выработку общенародной задачи и самобытную стратегию ее решения. Не просто новое качество экономического роста, о котором хлопочут Л. И. Абалкин и его коллеги, нам нужно, а новое качество самой жизни народа, отвечающее народному пониманию ее смысла, призвания человека и места человека в мироздании. Тем, кто считает все это «лирикой», можно было бы сказать коротко: страна нуждается в модернизации и развитии, и поэтому нам надо сосредоточиться на решении своих внутренних проблем. Но ученым-экономистам некогда — они спешат сами и побуждают руководство страны спешить с принятием решений, нацеленных на скорейшее «врастание в мировую экономику» хотя бы на положении колонии капиталистических держав.

Но, отдавая должное академикам-экономистам, надо все же признать, что наиболее полно концепцию «товарников-экстремистов» выражает доктор экономических наук Н. Шмелев. Он как автор необычайно плодовит, проанализировать все его произведения в кратком очерке невозможно. К тому же нередко он сегодня отрицает то, что утверждал вчера, и на вопрос корреспондента (см. «Вечернюю Москву» за 23 марта 1989 г.), как запустить рыночный механизм в нашем хозяйстве, сказал: «Еще год-два назад у меня был готовый ответ на этот вопрос. Но сегодня положение изменилось» (хотя и осталось удручающим). Остановлюсь только на этом интервью.

Н. Шмелев не верит в деление политэкономии на политэкономию капитализма и социализма: «Есть объективные экономические законы, давно проверенная экономическая технология. Вернуться к ней, выйти на общую для цивилизации дорогу — это и есть наш спасительный выбор, наша национальная судьба». Ученый считает, что всеобъемлющий рынок — это нормальное состояние экономики в любой цивилизованной стране. По его мнению, с точки зрения экономической технологии, «никакой разницы между акционерным социалистическим предприятием и ассоциацией акционеров на Западе нет, как и между их руководителями тоже». Ну, а раз так, то какие же могут быть сомнения? Стройте экономику по западному образцу — и будете процветать. «Да, нам многому надо учиться»,— утверждает ученый, приведя пример, достойный подражания: в далекой от центра китайской деревне в небольшой мастерской шьют платья из отечественного шелка по французским лекалам для ... Австралии.

Но самую заветную свою мысль он еще раньше облек в четкую формулу, своего рода «закон Шмелева»: что экономично, то есть выгодно, то и нравственно. Помню, в то время, когда эта формула впервые была произнесена, она поразила даже видавших виды журналистов. До того испокон веку на Руси писатели, священники, проповедники учили народ не гнаться за выгодой, если это причиняет ущерб нравственности. Даже в наше время упадка нравственности, скажем, директор завода, ради повышения экономичности выбрасывая по ночам вредные отходы производства в реку или в воздух, опасался, что попадет под суд или уж во всяком случае под моральное осуждение. Теперь же, усвоив закон Шмелева, он может действовать с полной убежденностью в том, что, травя людей и все живое вокруг, но зато добиваясь денежной выгоды, совершает оправданный интересами государства и в то же время нравственный поступок. А лично мне кажется, что такая система воззрений безнравственнее кальвинизма, этой разновидности протестантизма, самой близкой к Ветхому Завету.

Можно было бы разобрать воззрения и других ученых-экономистов — члена-корреспондента АН СССР П. Бунича, доктора экономических наук Г. Лисичкина и других. Но, при различиях в деталях, их всех объединяет вера в эффективность рынка и устремленность мысли к Западу. Так, Ф. Бурлацкий утверждает: «При благоприятном развитии международного сотрудничества мы могли бы позволить себе взять несколько миллиардов долларов в кредит и в качестве инвестиции для совместных предприятий. На этот раз зарубежные кредиты можно было бы использовать прежде всего таким образом, чтобы стимулировать сельскохозяйственный сектор и его инфраструктуру в рамках Продовольственной программы» («Литературная газета», 28 декабря 1988 г.). То, что мы уже вложили в сельское хозяйство сотни миллиардов рублей, не получив от этого даже малой

доли ожидавшегося эффекта, ученого не смущает, *он думает, что если вкладывать не рубли, а доллары, то дело пойдет.* В действительности же дело не в сумме вложенных средств, а в социальном положении и нравственном настрое крестьянина, которые определяют, хочет ли он производительно трудиться или нет. А десятки миллиардов долларов новых займов, не дав ожидаемой отдачи, добавятся к и без того внушительному нашему внешнему долгу, который оценивается западными специалистами (сами мы эти цифры от своего народа до недавнего времени по неизвестным причинам прятали) в сумме свыше 30 миллиардов рублей! («Комсомольская правда», 26 февраля 1989 г.). Из доклада Н. И. Рыжкова на Съезде народных депутатов СССР видно, что наш внешний долг чрезмерно велик. Кое-кто за рубежом оценивает его в 100 миллиардов, а наш журналист М. Бергер («Известия», 20 июня 1989 г.) — в 50 миллиардов долларов.

А что дадут вложения в совместные предприятия? Вот какой квалифицированный ответ на этот вопрос дает старший научный сотрудник Института США и Канады А. Куницын: «...Никаких гарантий успешного сбыта своей продукции на Западе мы не имеем... И уже в девяностые годы на страну обрушится лавина платежных требований по основному долгу и процентам. Удержать ее можно будет только снижением жизненного уровня населения» («Социалистическая индустрия», 25 апреля 1989 г.), по которому наша страна и без того находится, согласно оценкам западных специалистов, на 45-м месте в мире («Комсомольская правда», 9 апреля 1989 г.). На этом пути, продолжает А. Куницын, нас ожидает только одно: «...Придется идти в кредитную кабалу к Западу. Детям и внукам нашим, стало быть, отрабатывать проценты западным банкирам. Однако, кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Где гарантия, что в дополнение к нынешней неприглядной роли топливно-сырьевого погреба Европы наша экономика не превратится в отстойник экологически грязных технологий?»

Вину экономической науки в разбалансировании народного хозяйства убедительно показал А. Чекалин в статье «На кофейной гуще...» («Правда», 18 февраля 1989 г.). Сегодняшнее кризисное положение страны — во многом плод «легковесной рекомендации ученых», которые продолжают «онаучивать вырабатываемые ощупью практикой новые формы хозяйствования, живут по принципу «чего изволите». Касаясь вопроса о получении кредитов от Запада, А. Чекалин разъясняет: «Зовем в долговую зависимость, но не информируем людей о том, что к моменту погашения кредита сумма его удваивается за счет процентов, что самое «передовое» оборудование, которое нами закупается, отстает от действительно передового в лучшем случае на два-три года. «Списывая», как троечники, чужие технологии, мы тем самым «автоматом» запихиваем на архивную полку собственные технические открытия, внедрив которые можно было бы успешно конкурировать на мировом рынке».

В свете сказанного очевидно, что экономическая наука, где, по словам С. Тимофеева, «на коне» и ученый-обществовед, составивший себе имя на комплиментарном изложении любых решений вышестоящих органов» («Литературная газета», 26 декабря 1988 г.), по существу *нацеливает нас на путь капитуляции перед миром капитала.* Принять ее рекомендации — значит поставить страну в положение мухи, попавшей в паутину, когда чем больше прилагается усилий, чтобы освободиться, тем сильнее затягиваются путы. Да в рекомендациях этих нет и ничего нового — писатель Юлиан Семенов напомнил недавно, что Троцкий в 1930 году призывал: «Отказаться от «идеалов» замкнутого хозяйства, разработать новый вариант плана, рассчитанный на возможно широкое взаимодействие с мировым рынком...» («Московский комсомолец», 12 февраля 1989 г.). Тут, как говорится, комментарии излишни.

Впрочем, было бы неверным представлять дело так, будто спешат одни лишь ведущие ученые-экономисты или обществоведы в целом. Торопливость, нежелание или неспособность осмыслить реалии совершенно нового этапа научно-технической революции не в меньшей степени присущи и ученым других специальностей. Возьму для примера лишь одну отрасль, к которой ныне приковано особое внимание мировой общественности, — атомную энергетику.

Во время пребывания М. С. Горбачева на Чернобыльской АЭС и в городе Славутиче все мы благодаря телевидению могли видеть, как осмотрительно,

взвешенно принимал он решения, с каким вниманием выслушивал доводы ученых. А как вели себя ученые?

Академик Е. П. Велихов на глазах, можно сказать, всего мира заверял М. С. Горбачева, что ученые сделают все возможное, чтобы поднять безопасность АЭС на три порядка, доказывая, как во многих своих публичных выступлениях, что развитие атомной энергетики — единственно возможный вариант, поскольку природные источники энергии истощаются. На прямой вопрос М. С. Горбачева, какого мнения по всему этому кругу вопросов придерживаются зарубежные специалисты, Е. П. Велихов отвечал, что они придерживаются тех же воззрений.

Это был редкий случай, когда миллионы людей могли своими глазами видеть, как ученые влияют на принятие решений высших руководящих органов страны и почему эти решения нередко оказываются чреватыми гибельными последствиями для народа. Ведь Е. П. Велихов не мог не знать, что далеко не все ученые мира (да и в нашей стране — достаточно вспомнить лишь покойного академика П. Л. Капицу) считают атомную энергетику благом, что среди них немало ее решительных противников, что одно государство за другим прекращают строительство АЭС и намечают со временем закрыть уже существующие. А теперь несколько частных замечаний.

Если, по словам Е. П. Велихова, развитие атомной энергетики необходимо потому, что близки к исчерпанию природные энергетические ресурсы, то почему тогда мы продаем за границу нефть, газ, электроэнергию? Почему разрешили транснациональным корпорациям осваивать Тенгизское газоконденсатное месторождение, заключив типичную сделку по формуле: «им доходы, нам — отходы»? (Кстати, со стороны Запада это — близорукая политика — отравление природы в нашей стране впоследствии сильно ударит и по нему.)

Вряд ли Е. П. Велихову неизвестны мысли его коллеги академика Б. И. Гольданского, который со ссылкой на исследования западногерманских ученых убедительно показал, что за счет внедрения прогрессивных технологий получения и использования энергии можно обеспечить удовлетворение потребностей в ней на столетия («Известия», 10 февраля 1989 г.). К чему же и здесь такая торопливость — развивать атомную энергетику, этот источник смертельной угрозы всему живому, именно сейчас? Не лучше ли обратиться к ней лет через 50, когда ученые и конструкторы создадут вполне безопасные атомные или даже термоядерные реакторы, тем более что уже сегодня получены доказательства (пусть пока и не бесспорные) возможности термоядерного синтеза при комнатной температуре.

Видимо, секрет здесь прост. Чем дальше, тем полнее будет осознаваться людьми опасность ядерной энергетики, а потому надо спешить наставить как можно больше новых АЭС и энергоблоков на существующих. А атомно-энергетические монополии богаты и жаждут еще больших прибылей, хотя их эгоизм может обернуться гибелью для человечества.

Далее, почему Е. П. Велихов, заверяя руководство страны в полной (точнее, в повышенной, — полной она не может быть в принципе) безопасности АЭС, умолчал о том, что и при нормальной их работе они все же выделяют радиоактивные вещества в окружающую среду, повышая естественный радиационный фон? Уже сегодня дело дошло до того, что все продукты питания в большей или меньшей степени содержат радионуклиды («Комсомольская правда», 26 февраля 1989 г.). Разве так обстояло дело до открытия энергии ядерного распада?

Еще более страшная вещь — радиоактивные отходы. Проблема их захоронения (а их масса уже исчисляется, с учетом снятой загрязненной земли и списанной техники и воды, использованной при дезактивации, многими миллионами тонн!) нигде в мире не решена сегодня и, видимо, не будет решена никогда. А ведь многие из них будут испускать смертоносное излучение тысячи, а то и миллионы лет, и никакие глубокие шахты, хранилища в океанских впадинах, самые хитроумные контейнеры не спасут будущее человечество от вырвавшегося рано или поздно наружу ядерного джинна. Не станем ли мы преступниками в отношении потомков, которые погибнут вследствие нашего эгоизма?

Ну, а второй Чернобыль совершенно неизбежен, и не так важно, где он случится—у нас или за рубежом, и его уже человечество не переживет (замечу, что, по подсчетам ученых, первый Чернобыль по силе радиоактивного воздействия равнозначен 80 с лишним Хиросимам, то есть крупномасштабной войне против нашего народа). И, думаю, недалек день, когда весь цивилизованный мир ради собственной своей безопасности потребует от нас полного отказа от АЭС, ведь только по чистой случайности пожар, приведший к гибели советской атомной подводной лодки, не привел ко вселенской катастрофе. Аварийный блок Чернобыльской АЭС удалось временно заключить в бетонный саркофаг, поскольку он находится на земле. А что можно было сделать для локализации атомного реактора лежащей на дне моря подводной лодки, если бы он вследствие пожара стал источником смертоносного излучения на тысячелетия?

Сенсацией мирового масштаба мог бы стать диалог-расследование В. Боброва и И. Беляева «По тому ли пути?» («Литературная газета», 17 мая 1989 г.). Оказывается, в СССР давно были известны органические пороки того направления развития атомной энергетики, которое привело к Чернобылю и тем не менее продолжает оставаться основой нашей стратегии в этой области. А качественно новая ядерно-энергетическая технология, неизмеримо более экономичная и безопасная, созданная в нашей стране, была в корыстных интересах авторов устаревших решений положена под сукно. Американцы же, через 15 лет создавшие (возможно, не без использования наших идей) аналогичную новую технологию, немедленно внедрили ее и тем самым обеспечили себе громадное преимущество (с отрывом в десятилетия) как в мирном, так и в военном (программа СОИ) использовании ядерной энергии. Показательно, что соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области мирного использования атомной энергетики, заключенное между СССР и США в 1973 году и вновь продленное в 1988 году, американская сторона сознательно использовала для дезинформации, для увеличения дистанции отрыва, для направления наших физиков-ядерщиков и впредь по тупиковому пути. В любой цивилизованной стране такой публикации было бы достаточно, чтобы вызвать тщательнейшее парламентское расследование или даже отставку правительства, — ведь речь идет о пренебрежении интересами безопасности государства, о том, что, жертвуя столь многим ради обеспечения обороны страны, мы на деле можем оказаться совершенно безоружными перед лицом противника, обогнавшего нас на десятилетия в самой важной области военного дела. Но у нас в силу монопольного положения лидеров ядерной энергетики и эти сенсационные разоблачения не изменили положения дел, мы по-прежнему зря тратим миллиарды и миллиарды, развивая направление, которое было устаревшим еще 15 лет назад.

Спасется ли человечество от гибели при ликвидации нынешних АЭС — неизвестно, но что при сохранении и дальнейшем развитии атомной энергетики его гибель неизбежна — в этом нет сомнения, особенно если учесть, что, по подсчету ученых, нашу планету ждет полоса сокрушительных землетрясений и других катастроф.

На первый взгляд, некий компромисс предлагает академик А. Д. Сахаров. Он считает, что надо строить только подземные АЭС. Но крупные специалисты отчетливо показали (и описанный выше случай с подводной лодкой это подтверждает), что если бы, например, Чернобыльская АЭС была подземной, то устранить последствия аварии на ней оказалось бы невозможным. Заражение грунтовых и более глубоких подземных вод, подвижка горных пород на протяжении тысячелетий привели бы в конце концов к уничтожению жизни на Земле. Так что и такие рекомендации следует считать проявлением излишней торопливости ученых. Они спешат — дать рекомендации, создать Ядерное общество СССР — и там все те же имена плюс академики А. П. Александров, Б. Б. Кадомцев и др.

У нас сейчас впервые за много десятилетий правительство, с вниманием прислушивающееся к науке. А вот наука-то в лице ее ведущих ученых оказалась явно не на высоте. Если у правительства останутся такие же советники, они погубит страну.

Некоторые из названных выше ученых ныне стали народными депутатами СССР. Я отнюдь не против них как личностей, пусть они заседают в нашем новом

парламенте, но ошибочность их идей, во многом, к сожалению, определяющих принятие важных решений, надо показать открыто и бескомпромиссно.

И не так уж безотрадно положение в самой науке. Растет, хотя ей пока и не дают ходу, молодая поросль науки, где есть ученые, обладающие новым мышлением, да и простые люди в разных концах страны, уже не веря больше пустым обещаниям и перманентным перестановкам руководящих кадров и реорганизациям управленческих контор, заявляют о своем твердом намерении взять дело своего спасения в собственные руки. В этом, строго говоря, и заключается главное условие успеха развернувшейся в стране революционной перестройки.

И все же: если ведущие ученые-экономисты так настойчиво зовут нас на единение с Западом, видят в нем пример для подражания, то чьи, какого социального слоя интересы они выражают?

НАШИ ДОМОРОЩЕННЫЕ «КОМПРАДОРЫ»

Проект... «О предоставлении коллежскому советнику Порфирию Менандрову Велентьеву в товариществе с вильманстрандским первостатейным купцом Василием Вонифатьевым Поротоуховым в беспошлинную двадцатилетнюю эксплуатацию всех принадлежащих казне лесов для непременного оных, в течение двадцати лет, истребления...»

М. Е. Салтыков-Щедрин.

Вот какое удивительное сообщение появилось в газете «Советская культура» 30 марта 1989 года: в Москве на Краснохолмской стрелке, всего в двух километрах от Кремля, скоро американские фирмы построят по высшим мировым стандартам уникальный театрально-гостиничный комплекс. Кроме театральных и концертных залов, на территории около 90 тысяч квадратных метров разместятся представительства различных фирм, гостиницы, пресс-центр. Обойдется американцам эта стройка в 350 миллионов долларов. Подписавший договор представитель советской стороны выразил надежду, что новый комплекс не только украсит город, но и внесет огромный вклад в культурную жизнь столицы, да и всей нашей страны.

Удивился я не тому, что в Москве будут строить уникальный объект иностранцы. К этому мы как-то вроде уже и привыкли. Строительство гостиницы в районе ВДНХ и реконструкцию «Метрополя», реставрацию старого цирка и даже простенького двухэтажного кирпичного дома на улице Качалова, да и многих других объектов в столице (как, впрочем, и в других городах), ведут иностранные фирмы — за валюту, которой так остро не хватает даже на покупку необходимейших лекарств для больных-сердечников. Замечу, что Минздрав СССР обещает (пока еще только обещает, а цену подобным обещаниям мы по опыту знаем) решить проблему лекарственного дефицита к 1993 году, но люди с тяжелыми заболеваниями не могут ждать столько лет («Аргументы и факты», 1989, № 8). Не будет ли это в глазах народа выглядеть так: пусть больные умирают, мы пустим валюту на возведение иностранцами объектов, которые сами станут приносить нам валюту? Не повторяем ли мы при этом роковой ошибки, допущенной в период торопливой сплошной коллективизации и форсированной индустриализации? С той лишь разницей, что тогда, по мнению высшего руководства партии и страны того времени, объективно не было возможности крепить державу иначе, а ныне мы выбираем путь, сопряженный с лишними жертвами для народа, сознательно, по соображениям текущей выгоды, которые по большому счету могут оказаться ошибочными.

И не то удивительно, что в центре города, вблизи национальных святынь отдали огромную территорию (почти в 25 раз больше Красной площади!). Самое удивительное то, что подписал это соглашение от СССР... председатель Союза театральных деятелей К. Лавров! Как, почему К. Лавров? Разве он хозяин Москвы или глава Советского правительства? Ну, театральный и общественный (может быть, даже и большой) деятель, этого отрицать не буду, но все же кто дал ему право торговать территорией столицы? Не получится ли так, что другой деятель,

еще более оборотистый, завтра подпишет соглашение о сдаче в аренду иностранцам, например, Московского Кремля? Я с ужасом подумал: возле моего дома на Садовом кольце у Павелецкого вокзала снесли все ветхие домишки, чтобы освободить место для возведения, кажется, гостиничного комплекса «Интуриста»; не окажусь ли я завтра, ни сном ни духом о том не ведая, жильцом-аборигеном на территории, принадлежащей какой-нибудь иностранной компании?

Все строительство в Москве, особенно в исторической ее части, должно вестись в соответствии с Генеральным планом по согласованию с Московским городским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Как член президиума Совета этого отделения ВООПИК я знаю, что с нами проект не согласовывался. Значит, он уже был запроектирован в Генплане города? Когда и кем? Или это настолько важная стройка, что тут и Генплан побоку? Кто же все-таки разрешил строительство этого объекта, к тому же без проведения археологических раскопок, без мер по обеспечению сохранности исторической застройки? Согласитесь, случай возмутительный, ни в какой другой цивилизованной стране попросту невозможный. Как же совместить такой волюнтаризм с идеей правового социалистического государства? И что на очереди? Коломенское? Кремль? Красная площадь с Мавзолеем В. И. Ленина?

Не только столица стала объектом поползновений оборотистых деятелей. Подписан документ о сдаче в аренду американцам на 50 лет территории Лисий Нос под Ленинградом для устройства там нового Диснейленда — международного центра туризма и развлечений. Отцы города, совершив сделку, заверяли ленинградцев, что она очень выгодна, а заключили ее келейно потому, что надо было спешить, иначе другие регионы страны могли бы перебежать дорогу. Можно ли было упустить такую возможность заработать валюту, столь необходимую для приведения в порядок вконец запущенного города на Неве? Когда же ленинградцы стали возмущаться этой сделкой, им было обещано провести общегородской референдум (возможно, его уже можно считать состоявшимся: на выборах народных депутатов СССР 26 марта 1989 года руководители обкома и горкома партии, облисполкома и горисполкома даже там, где они были единственными кандидатами, были забаллотированы; не исключено, что история с Лисьим Носом послужила одной из капель, переполнивших чашу народного терпения). Но, спрашивается: почему референдум будет городской? Земля вокруг твердыни России на Неве полита кровью павших в боях с врагами сотен тысяч соотечественников — разве одних только ленинградцев? Разве не для всех советских людей она — святыня, не подлежащая продаже оборотистыми торгашами?

В печати также сообщалось, будто большой кусок Крымского побережья, его жемчужина — Голубой залив отдается в аренду англичанам на 99 лет для устройства гостиничного комплекса. (Слышал от тех, кто знает международное право, будто такая формулировка означает: навсегда. Ведь Россия продала Соединенным Штатам Аляску тоже на 99 лет, срок этот давно прошел, но не похоже, чтобы американцы спешили вернуть ее нам. Но если даже 99 лет понимать буквально, это все-таки очень надолго — на срок, в течение которого сменится несколько поколений.) Вправе ли был решать этот вопрос за нынешние и будущие поколения советских людей благополучно здравствующий ныне мэр города Ялты Н. Семенчук? В откликах читателей на статью об этой сделке не случайно подчеркивалось: то, чего англичане со своими союзниками не могли добиться силой оружия во времена кровопролитной Крымской войны, они ныне достигли, лишь тряхнув мошной. Народ протестует, а деятели ведут себя, как им и подобает, подобно крыловскому Ваське, который слушает да ест. Газета «Советская культура» за 13 апреля 1989 года бесстрастно сообщает: «...В Мисхоре иностранцы будут возводить отель».

О каком бы регионе страны ни зашла ныне речь, всюду слышишь что-нибудь подобное. Зарятся иностранцы на побережья Каспия, Байкала и Иссык-Куля, и всюду находятся отечественные пенкосниматели, готовые на распродажу наследия отцов, достояния своих детей и внуков, лишь бы урвать себе кусок пожирнее, желательно в вожделенной валюте.

И у них находятся защитники — и среди ученых (что уже было показано), и среди журналистов. В газете «Советская культура» (15 апреля 1989 г.)

А. Пальм прямо так и пишет: что же лучше — отдать Голубой залив англичанам на век или же оставить его загнивать и дальше без всякой пользы для всех нас? Даже мысль о том, что можно все-таки взять, наконец, дело в свои руки и по-умному распорядиться жемчужиной, дарованной нам судьбой, опытному журналисту в голову не приходит. А раз мы не сумеем благоустроить Голубой залив, то, очевидно, не сможем привести в подобающий вид и Лисий Нос, и Коломенское, и берега Байкала, Каспия, Иссык-Куля; остается уповать в этом деле лишь на цивилизованных дельцов из капиталистических стран. Так и кажется, что журналист сейчас разразится бранью, подобно генералу из «Железной дороги» Некрасова:

> **Ваш славянин, англо-санс и германец**
> **Не создавать — разрушать мастера.**
> **Варвары! Дикое сноnище пьяниц...**

Когда думаешь о том, как отнестись к подобным суждениям, невольно поначалу смущаешься. С одной стороны, хочется напомнить уважаемому журналисту и его ученым-единомышленникам: церковь Вознесения в Коломенском и шедевры Кижей, собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве и саму столицу нашу, которую иностранные гости в XVII веке называли самым красивым городом мира, восьмым чудом света, построил тот же самый народ, которому, по мысли современных «западников», не по силам гвоздь в стенку забить, не говоря уже о том, чтобы привести в порядок Голубой залив и вообще благоустроить родную землю.

Но, с другой стороны, и правда, может сложиться впечатление, что мы уже ничего самостоятельно делать не умеем. Понадобилось мне сделать рентген грудной клетки — знакомый врач попросил об этом своего коллегу, работающего в престижной больнице. В кабинете прекрасная аппаратура — но западногерманская. Спрашиваю: «Когда мы сможем выпускать свою, столь же качественную?» Рентгенолог, сравнительно еще молодой, только досадливо рукой махнул: «При моей жизни вряд ли дождусь!» Ну, ладно, рентгеновские аппараты — вещь сложная. А если сами не в состоянии вырастить огурцы на Дальнем Востоке и пригласили для этого китайцев («Труд», 25 апреля 1989 г.), с которыми за их труд расплачиваемся лесом и другими ресурсами? Ведь очевидно: земля та же, техника та же, а то и хуже, а урожаи у китайцев неизмеримо выше. Значит, дело в человеке. Видимо, он поставлен в такие условия, что не может уже (или не хочет, или и то, и другое) высокопроизводительно работать. Ведь много, наверное, усилий пришлось приложить, чтобы народ мастеров превратить в сборище равнодушных к делу поденщиков. И если он таковым и останется, то, конечно, нам самостоятельно не решить ни одной серьезной проблемы, а значит, нужно приглашать цивилизаторов из-за рубежа, сдавать им в аренду и Голубой залив, и Лисий Нос, и другие лакомые для них участки нашей земли.

О распродаже нашей земли под смешанные промышленные предприятия с участием иностранного капитала уж и говорить не приходится — это стало настолько обычным делом, что разгорелось чуть ли не соревнование между руководителями ведомств и регионов, кто скорее и больше заключит соглашений на этот счет. Большой друг нашей страны, как его нередко величают в печати, американский (точнее, транснациональный) бизнесмен Арманд Хаммер, нажившийся еще в юности, в первые послереволюционные годы, огромный капитал на скупке произведений русского искусства и церковных ценностей, а теперь изредка одаривающий нас то одной, то другой иконкой из ранее увезенных им из России, создал смешанное предприятие по эксплуатации Тенгизского газоконденсатного месторождения в Прикаспии. Горючее и сера пойдут на Запад и в Японию — в погашение кредитов на закупку импортного оборудования, а вся грязь и отходы останутся нам, и это грозит полным отравлением всей Прикаспийской низменности, и более того — при подъеме уровня воды в Каспийском море (что весьма вероятно) — катастрофой глобального масштаба. В Западной Сибири решено построить десятки химических производств с участием иностранного капитала, причем, как мне говорили местные работники, строителей привезут из Южной Кореи. Крупнейшие ученые — академики Б. Ласкорин, Н. Моисеев, М. Стырикович и др. показали, что этот проект — еще один «стройка века», и отвечает он только интересам капиталистического мира: «Западные страны охотно пойдут на свертывание у себя энергоемких и экологоопасных производств, превратив СССР в одного из основных мировых поставщиков полимерного сырья, а Тюменскую область — в мировое «отхожее место» («Известия», 3 апреля 1989 г.). Осуществляя такой проект, «мы тем самым как бы делаем подарок западным странам» — тем более что создание необходимой инфраструктуры пойдет на наши средства. Проектируемые предприятия принадлежат к разряду весьма опасных в экологическом отношении. Поэтому ученые считают необходимым предупредить: «Концентрация полимерных производств в намечаемых объемах в одном регионе вызовет качественные изменения в экологической ситуации в Тюменской области и всего севера азиатской части страны. Ссылки на абсолютную экологобезопасность размещаемых производств являются намеренно ложными».

Но дело не только в экологии. Запланированный комплекс по сути дела сорвет планы повышения благосостояния народа. «Отвлекая огромные человеческие и материальные ресурсы, реализация постановления (Совета Министров СССР. — М. А.) в совокупности с другими крупномасштабными проектами исключит всякую возможность поворота отечественной экономики в 13-й и 14-й пятилетках к социальным ориентирам», и это уже может повлечь за собой непредсказуемые политические последствия. К этому следует добавить: массированное строительство не только нанесет необратимый ущерб неустойчивым экосистемам этого и соседних с ним регионов, но и «сделает невозможным нормальное существование малых народов нашего Севера».

Но что деятелям до престижа и судеб страны, если дело пахнет валютой!

В 1975 году было подписано соглашение с Корейской Народно-Демократической Республикой о совместных заготовках леса на Дальнем Востоке. Советское государство пошло навстречу просьбе дружественной страны, для которой лес имеет почти такое же значение, как вода для наших среднеазиатских республик, — рассказывается в корреспонденции В. Медведева «Лес рубят...» («Комсомольская правда», 5 февраля 1989 г.). Местные руководители утверждают, что учитывалась и экономическая сторона дела: «Условия суровые. Наших в такую тайгу не загонишь. Забрали бы только то, что поближе лежит, а потом сослались бы на маломощность техники. Корейцы работают в жестком режиме. Там, где мы выходили бы на проектную мощность семь лет, они справляются за три года». Потому и установилось такое распределение работ: мы отводим участки, даем технику и отвозим лес к границе. За партнерами — рабочая сила, они эксплуатируют технику по нашим нормативам и строят производственную базу. Лес распределяется по долевым затратам: 61 процент нам, 39 — корейской стороне.

Итак, мы и помогаем дружественной стране, и свой экономический интерес блюдем. Почему же тогда так недовольны условиями сделки наши соотечественники — местные жители?

Корреспондент далее сообщает, что раньше не бывало такого, чтобы эвенк первым затеял драку, а теперь эвенки нападают на корейцев. За что?

За то, что те бьют сохатых, кабаргу петлями ловят, а потом — когда те тухлыми становятся — едят. Браконьерствуют самыми варварскими способами, не соблюдают заповедей таежной этики: из охотничьих избушек забирают табак, соль, сахар, посуду, оставляя голые нары. А главное — спаивают местное население, скупают у наших торгашей водку ящиками по 17—18 рублей за бутылку (при цене 10 рублей), а потом продают мужикам по 25. То же — с дрожжами и сахаром. На зарплату (теперь разрешено всю ее получать в советских деньгах) покупают и везут домой стиральные, швейные машины, телевизоры, которых в магазине у нас не густо. Из-за всего этого и возникают конфликты, напряженность растет, дело может дойти и до убийств.

Корейцы, правда, ведут не выборочную, а сплошную рубку леса, так что «из-за лесозаготовок тайги как таковой уже не осталось. Про охоту и оленеводство скоро придется забыть. Сломаем у эвенков вековой национальный уклад, а к новому они вот так — за пару пятилеток — привыкнуть не могут... Сегодня

мы объедаем наших детей и внуков. Если темпы совместных заготовок сохранятся до 2000 года, то потом нам 30—40 лет сидеть без леса».

Итак, вот нагляднейший пример «взаимовыгодного сотрудничества»: за спиной местных жителей подписан договор, а им самим предоставлено лишь «одно право — созерцать оголенные, как после пожара, окрестности». Вырубят лес — дожди смоют почву со склонов сопок, и образуется «лунный пейзаж», рукотворная пустыня, более страшная, чем образовавшиеся естественным путем. А главное — уничтожаются условия, при которых только и могут сохранить свой строй жизни малые народы, живущие в этой части страны.

Не случайно именно представитель малочисленных народов сказал на Съезде народных депутатов СССР, что японцы благодаря заключенным с нашей страной договорам об экономическом сотрудничестве получили все то, чем они пользовались бы, если б колонизовали советский Дальний Восток.

Еще пример. Верхом нелепости, кажется, надо считать техническую политику, проводимую ныне на железнодорожном транспорте. Она направлена не на обеспечение своевременного, качественного и полного удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в перевозках, как это предусмотрено решениями XXVII съезда КПСС, а на достижение миражей, якобы на то, чтобы перегнать железные дороги США по производительности труда, которую у нас ошибочно измеряют в тонно-километрах на одного работника. Значит, цель в том, чтобы, с одной стороны, «накрутить» числитель дроби — тонно-километры, а с другой — по возможности уменьшить знаменатель, то есть численность работников, связанных с перевозками. Мне уже не раз приходилось писать о том, что такой неразумный подход привел к острой нехватке работников ведущих профессий на многих участках сети. Некому стало тщательно осматривать и своевременно ремонтировать путь, вагоны, локомотивы, устройства сигнализации, а в итоге — крушение за крушением, взрыв за взрывом, пожар за пожаром. Новый же момент заключается в следующем: ради достижения миражей на железнодорожном транспорте уволено 300 тысяч человек и намечается сократить еще 100 тысяч, и в то же время на Забайкальской дороге в качестве путейских рабочих привлекли... китайских граждан. Секрет этого фокуса, кажется, в том и заключается, что китайские рабочие не входят в контингент дороги (то есть не учитываются в знаменателе вышеназванной дроби) потому, что работают не за тонно-километры, а за валюту.

И так всюду, куда ни глянь: соглашения то о сдаче в аренду территории, то о создании совместных предприятий подписываются чуть ли не ежедневно, иные из них поражают своей бессмысленностью, порой вовсе кабальными для нас условиями. Один инженер-экономист передавал мне суть протокола о намерениях создать совместное предприятие по производству яблочного сока. Западногерманская фирма поставляет оборудование, в оплату которого в течение пяти лет идет львиная доля производимого сока. Через пять лет, согласно технологии, оборудование выходит из строя и мы получаем возможность, если иностранный партнер на это согласится, заключить сделку примерно на тех же условиях на новый срок.

Иногда необходимость создания совместных предприятий с участием иностранного капитала объясняют тем, что благодаря им мы получим доступ к передовой технологии. В порядке исключения это, видимо, возможно. Но, повторяю, в общем случае подобные расчеты совершенно безосновательны. Капиталистические фирмы продают нам технологии, передовые на сегодняшний день, имея в своих сейфах разработки завтрашние. Пока мы построим и освоим заводы с передовой на сегодня технологией, они уже введут в строй новейшие, более эффективные. Таким образом, курс на совместные предприятия — это линия на увековечение нашего отставания. Отечественные разработки при этом прекращаются. Попав в зависимость от иностранных фирм, мы вынуждены будем мириться с тем, что они под разными предлогами будут завышать цены на сырье, реагенты, запасные части. Журналист М. Бергер напоминает: большой бизнес — это не благотворительность, а погоня за максимальной прибылью. Поэтому соглашение о создании международного консорциума для эксплуатации наших сырьевых ресурсов вызывает у него сомнения: правильно ли вкладывать инвестиции

в наши и без того переинвестированные сырьевые отрасли, не «утяжелит» ли это и без того неблагоприятную структуру нашей экономики? («Известия», 13 апреля 1989 г.)

Я понимаю тех наших соотечественников, которые, намучившись в очередях за разного рода дефицитом, ни в одном цивилизованном государстве немыслимом, радуются каждой возможности получить столь нужный ширпотреб любой ценой, пусть даже и распродажей природных ресурсов. Понимаю и тех ответственных работников, которым так приятно совершать деловые поездки за рубеж и подписывать там контракты (не без выгоды для себя лично, по крайней мере иногда). И все же курс на совместные предприятия при сохранении нынешней системы хозяйствования вряд ли принесет ожидаемые результаты. Дело здесь, следовательно, не в непатриотизме, а в экономической несостоятельности подобного подхода.

Выше уже говорилось, что действительно передовой технологии капиталистические фирмы нам никогда не продадут. Даже Южная Корея, совершившая за несколько десятилетий столь заметный рывок в развитии своего производственного потенциала, ныне столкнулась с тем, что «зарубежные партнеры делятся технологией уже не так охотно, справедливо, видимо, опасаясь «эффекта бумеранга» («Известия», 13 апреля 1989 г.). А ведь это противоречия внутри одного — капиталистического — лагеря. Неужели непонятно, что социалистическим странам передовую технологию будут передавать еще менее охотно? Журналист Б. Черных показал, сколь часто зарубежные фирмы «весьма умело, со знанием дела спихивают нам то, что или уже устарело, или вот-вот «сойдет со сцены» («Комсомольская правда», 2 февраля 1989 г.). Им это облегчает, пожалуй, то обстоятельство, что многие наши хозяйственники, да и идеологи давно уж махнули рукой на всякие различия между социализмом и капитализмом. А ведь пока еще они, эти различия, существуют, и влиятельные круги капиталистического мира при заключении сделок стремятся добиться не только экономических, но и политических уступок (да в современных условиях одну сферу от другой и невозможно оторвать).

Никакой единой программы преодоления нашего технологического отставания в стране нет, каждая отрасль и в принципе каждое предприятие, более того — любой кооператив — вправе решать этот вопрос для себя, и это в условиях почти полного отсутствия кадров, хорошо знающих законы капиталистического рынка. В этих условиях нельзя не отдать должное остроумию доктора экономических наук Г. Л. Фактора. На вопрос, правда ли, что при выходе наших кооператоров на внешний рынок их обманывают в четырех случаях из пяти, он ответил: «Нет, неправда, их обманывают в пяти случаях из пяти». А ведь оборотистые кооператоры, как писал публицист А. Салуцкий, приладились поставлять из СССР за рубеж лекарственные травы, клюкву, бруснику, мед и даже... донорскую кровь — товары, которых остро не хватает в родной стране!

Впрочем, так ведь поступают не одни кооператоры. На апрельском (1989 г.) Пленуме ЦК КПСС приводились примеры того, как государственные предприятия срывают выполнение плана поставок продукции смежникам внутри страны, потому что нашли более выгодных покупателей за рубежом, расплачивающихся валютой. Так развитие кооперации и хозяйственная самостоятельность предприятий, в чем до сих пор видели только благо, обернулись в ряде случаев средством дальнейшего развала экономики.

Любопытен и такой момент: журналист Я. Голованов в «Комсомольской правде» (30 марта 1989 г.) возмущается тем, что первым журналистом, который полетит в космос на советской орбитальной станции, будет, согласно заключенному договору (по валютным соображениям?), японец: «Я обращаюсь в правительство с просьбой вмешаться в это дело и аннулировать этот порочный договор». Но почему-то журналист не требует расторжения куда более кабальных договоров по размещению на нашей территории таких «грязных» производств — совместных предприятий, от которых с возмущением отказываются самые отсталые государства Африки.

Как же назвать тех дельцов, которые столь откровенно распродают за валюту наше национальное богатство?

Внимание общественности долгое время было привлечено, не без усилий ученых-экономистов и публицистов, к перепалке между сторонниками административных методов управления народным хозяйством («кавалеристами») и поборниками использования экономических рычагов («купцами»). «Кавалеристы» требуют «закрутить гайки», усилить плановое начало, а «купцы» настаивают на неограниченном развертывании товарно-денежных отношений, уверяя, что все остальное сделает его величество рубль и полки наших магазинов скоро наполнятся товарами любого качества и в более чем требуемом количестве (рыночная экономика возможна лишь при превышении предложения над спросом). Мне не раз приходилось показывать, что оба эти направления равно ошибочны и ведут в тупики, но сейчас важно отметить другое. Пока шли споры между этими двумя направлениями, из среды как «кавалеристов», так и особенно «купцов», выделилась особая прослойка, целиком ориентированная на связь с иностранным капиталом. А. Салуцкий назвал таких деятелей (по-моему, очень метко) «компрадорами». Я не поленился заглянуть в последний выпуск «Словаря иностранных слов» (М., 1986, с. 242) и прочитал там следующее: «Компрадор (исп. — comprador — покупатель) — в колониальных и зависимых странах — местный торговец, посредничающий между иностранным капиталом и местным рынком; представитель слоя местной буржуазии, тесно связанного с крупной и монополистической буржуазией империалистических государств».

Ну что ж, сказано, как говорится, не в бровь, а в глаз. По мере того, как наша великая страна в каких-то отношениях превращалась в сырьевой придаток Запада, более того — в колониальную и зависимую страну, в ней неизбежно должен был появиться и появился слой отечественных «компрадоров» в обоих смыслах этого термина. Во-первых, возникла прослойка дельцов, из личной корысти подрывающих экономическое могущество и престиж Родины. Здесь можно встретить самую разнообразную публику — от фарцовщиков и валютных проституток до чиновников высокого ранга, за подарки от иностранных фирм заключающих внешнеторговые сделки, убыточные для страны и крайне выгодные для зарубежных наших партнеров. Один ленинградец говорил мне, что в уставе фирмы Сайруса Итона, заключившей сделку о Лисьем Носе, предусмотрены представительские расходы в размере одного процента от ассигнуемого капитала. Так что при стоимости проекта 5,5 миллиарда долларов в принципе более 50 миллионов могли бы пойти на ублажение лиц, от которых зависит принятие необходимых решений. О том, что это в принципе возможно, говорилось даже в апреле 1989 года в программе «Общественное мнение» Ленинградского телевидения. Уже упоминавшийся журналист М. Бергер в другой своей статье («Известия», 20 июня 1989 г.) высказывает мысль о существовании в нашей стране «зернового лобби», заинтересованного в продолжении закупок хлеба за рубежом и блокирующего любые предложения, направленные на быстрый рост производства отечественной сельскохозяйственной продукции. Такие же «лобби», по его мнению, существуют и в других отраслях экономики, и во многом этим объясняются крупные закупки за рубежом техники, которая оказалась ненужной. Во-вторых, за годы застоя в стране образовалась численно не очень значительная, но пользующаяся большим влиянием прослойка сверхбогатых людей — мультимиллионеров. Общественности более всего известна история с кооператором, заработавшим за месяц три миллиона рублей и уплатившим 90 тысяч рублей в качестве партийных взносов со своего дохода («Московская правда», 5 февраля 1989 г.). О миллиардерах наша печать прямо не говорит, а деликатно называет их «теневыми воротилами, владельцами особняков, которые не берет ни одна катастрофа, распорядителями сумм, превышающих республиканские бюджеты...» («Советская культура», 22 декабря 1988 г.). Один экономист, хорошо знающий зарубежную действительность, говорил полушутя-полусерьезно, что по количеству миллионеров мы перегнали США, а по числу миллиардеров пока еще от них отстаем.

До чего все-таки со временем могут изменяться понятия! В канун первомайского праздника 1989 года, 30 апреля в «Известиях» была напечатана подборка «первомайских новостей из 1919-го». Любопытно было прочитать там заметку рабочего Ив. Князева, озаглавленную «Советская буржуазия». В ней говорилось:

«В городе Судогде Владимирской губ. Упродком получил для населения уезда партию мануфактуры. Из этой партии рабочие фабрик и заводов получили только по 2 аршина ситца на едока, тогда как служащие уездных Советских учреждений получили из этой же партии по 8 аршин трико или сукна...

Разве это допустимо?»

Если рабочий назвал советскими буржуями служащих, получивших по 8 аршин сукна, то к какому социальному слою отнес бы он, доживи до нашего времени, отечественных миллиардеров?

То, что новые «компрадоры» сильны экономически, совершенно очевидно, а то, что весьма крепки их политические позиции, мы только начинаем осознавать. Показательно в этом отношении интервью председателя Комитета особого управления Нагорно-Карабахской автономной областью А. Вольского, где сказано буквально следующее: «...Наряду со второй, «теневой» экономикой в Азербайджане, в Армении, да и в Грузии, сформировалась и «вторая власть», выражающая и обслуживающая интересы коррумпированных слоев. По существу, мы имеем дело с определенной политической мутацией в виде своеобразного феодализма. «Вторая власть» обслуживает «вторую», «теневую» экономику» («Социалистическая индустрия», 30 апреля 1989 г.).

События в Узбекистане, Казахстане и в других регионах также показали, что и там сильны коррумпированные элементы.

Оценка новому явлению дана совершенно справедливая. Но разве оно наблюдается только в трех названных республиках? Разве не утверждали публично следователи, занимавшиеся расследованием дел разных мафий на периферии страны, что нити из республик ведут в Москву? Не правильно ли полагать, что речь идет о явлении всесоюзного, если не глобального характера?

Легко представить, насколько неуютно жить в нашей стране, в условиях социализма, обладателям многомиллионных подпольных состояний. Конечно, сейчас они не прячут деньги в чемоданчике, сдаваемом в камеру хранения, как это делал когда-то, боясь разоблачения, подпольный миллионер Корейко. Нет, сегодня состоятельному человеку есть где развернуться. Можно кутнуть в ресторане, снятом «для своих», арендовать теплоход и в приятной компании совершить круиз вдоль Черного моря, заполучить в лучшей гостинице одновременно три роскошных номера — спальню, кабинет и приемную, побывать в обществе, где наряд дам напоминает выставку бриллиантов, наконец сыграть в карты, где ставка — полмиллиона рублей. И все-таки это не настоящая жизнь, а тягостное существование. Когда первоначальное накопление капитала осуществилось, он сам требует достойной сферы приложения. Капитал должен самовозрастать, приносить весомую прибыль, а для этого его нужно вложить в дело, пустить в оборот. Для обладателя больших денег жизнь — это игра на бирже, спекуляция ценными бумагами, а уж если отдавать капитал на хранение, то не в сберегательную кассу, не в бумажных рублях, — тут он в условиях инфляции может быстро «похудеть», а в швейцарский банк, в долларах или в золоте. А как это сделать? Проще всего — если будут сняты ограничения на контакты с Западом.

Раз в стране есть новая, «компрадорская» буржуазия, значит, должны появиться и ее идеологи. А. Салуцкий и считает наших ведущих ученых-экономистов, особенно Т. И. Заславскую и Н. Шмелева, выразителями интересов этого нового слоя сверхбогатых людей. Ведь когда Н. Шмелев предлагал поднять розничные цены на продукты питания, а в качестве компенсации повысить процент на вклады в сберегательном банке, то, надо думать, он имел в виду тех, кто хранит там приличные суммы, а не тех, кто не может прожить до очередной получки, не перехватив десятку у соседа. Если повысить процент на вклады с двух до десяти, то вклад в сто тысяч рублей станет приносить доход в десять тысяч рублей, и на него можно будет безбедно жить, не трогая основного капитала. Подобное предложение очень по душе новоявленному рантье, но вряд ли обрадует простого рабочего, колхозника, врача или инженера.

На теоретические взгляды Н. Шмелева и других большое влияние оказывает то обстоятельство, что эти ученые много занимаются изучением зарубежного опыта, который и пытаются некритически перенести в наши условия. Сошлюсь еще на одну мысль А. Салуцкого. Он показал, что Н. Шмелев, заве-

дующий отделом в Институте США и Канады АН СССР, несравненно лучше знает американскую экономику, чем советскую. Поэтому ему, например, не показалась страшной безработица, которую он, основываясь на зарубежном опыте, предложил допустить у нас. Но ведь в США человек, потерявший, скажем, работу в Чикаго и нашедший ее в Хьюстоне, продает свой дом на прежнем месте жительства и покупает на новом (80 процентов американских семей проживает в особняках). У нас же подавляющее большинство горожан проживает в домах, принадлежащих государству, причем почти повсюду царит острая жилищная нужда. Кому сдаст свою квартиру москвич, потерявший работу в столице, и кто даст ему жилье где-нибудь в Новом Уренгое, где тысячи людей проживают еще в бараках и балках, годами ожидая очереди хотя бы на комнату в коммуналке, но в благоустроенном доме? Вот это незнание реалий жизни собственного народа и безоглядное равнение на зарубежный опыт и определяют абстрактный, нежизненный характер рекомендаций наших ведущих ученых-экономистов.

Однако «компрадоров» подобные рекомендации вполне устраивают, ибо подвигают развитие экономики в сторону сближения с Западом, формируют общественное мнение в направлении, нужном сверхбогатым. Народу, особенно молодежи, внушается все более открыто мысль о том, что на Западе жизнь прекрасна, ибо нормальна, что рыночная экономика — это естественное состояние цивилизованного общества, и если мы включимся в мировое хозяйство, то можно будет и всем нам жить припеваючи, даже вроде бы и не работая. И наши современники, во всяком случае значительная их часть, клюют на эту удочку, а когда жизнь заставит их протрезветь, будет уже поздно что-нибудь изменить, ибо капкан, поставленный транснациональным финансовым капиталом, уже захлопнется, лишив нашу Родину возможностей самостоятельного развития.

Сверхбогатые люди располагают громадными деньгами. А деньги ведь по природе — всеобщие уравнители. К деньгам тянутся чуть ли не все, и золотой поток растекается ручейками разной интенсивности. От сверхбогатых людей часть денег перепадает их прихлебателям и прислужникам разного рода, начиная от шута и кончая телохранителем, наемным убийцей или коррумпированным высокопоставленным чиновником. Мафии, синдикаты организованной преступности приветствуют и идею создания правового государства (забывая добавить, что нам нужно социалистическое правовое государство), где они могут действовать, можно сказать, легально, если не нарушать статьи уголовного кодекса. Мафиям тем более легко навязать всему народу мораль уголовного мира, поскольку за весь послереволюционный период через тюрьмы, ссылки и лагеря у нас прошли десятки и десятки миллионов людей (не считая и погибших там), и потому во многих районах страны половину населения и более составляют бывшие заключенные, в разного рода банды и кланы люди втягиваются с раннего детства, и часто на всю жизнь. Так что у «компрадоров» есть и огромные средства, и прочные позиции в обществе, и благоприятная окружающая общественная среда, и, естественно, свои идеологи.

В связи с этим интересно проследить ход всенародного обсуждения проекта Закона об изобретательской деятельности в СССР. Официальные органы, рассматривавшие проект, нашли его в целом отвечающим интересам государства. Совсем не так расценили его сами изобретатели, особенно те из них, кто рассматривает положение в области изобретательства в неразрывной связи с общей ситуацией в стране. По их мнению, проект явился серьезной победой тех, кто отстаивает интересы сверхбогатых людей и иностранного капитала. Ведь согласно проекту, хозяином изобретения станет не изобретатель, а патентообладатель. В наших условиях, когда подавляющее большинство изобретателей (как правило, людей небогатых) не в состоянии годами преодолеть бюрократические рогатки и добиться общественного признания и внедрения своих предложений, патентообладателями станут сверхбогатые люди, которые добьются (дав, например, приличную сумму в качестве «откупного») того, что истинный творец новой идеи продаст им свое детище. А вожделенный патент даст своему владельцу возможность «отмыть» незаконно нажитые деньги и заняться настоящей предпринимательской деятельностью,

создавать предприятия (в том числе и с участием иностранного капитала), эксплуатировать труд наемных работников.

И, конечно, после принятия опубликованного проекта Закона об изобретательстве, утверждают его критики, нечего будет и думать о том, чтобы догнать и перегнать капиталистические страны в области техники и технологии. Придется тогда нашей стране смириться со своей вечной отсталостью, а в дальнейшем, естественно, и с положением колонии транснациональных корпораций. Всех ли наших соотечественников устроит такая перспектива?

Может быть, мы настолько бесталанны, что этому проекту нет разумной альтернативы, обеспечивающей интересы Родины, социальную справедливость и заинтересованность всех — самих изобретателей и тех, кто способствует внедрению новшеств, — в быстром техническом прогрессе?

Нет, дело обстоит не так. Такой проект, например, разработан группой специалистов из Тюмени во главе с изобретателем, удивительным русским самородком инженером Александром Александровичем Зверевым (называю полностью его фамилию, имя и отчество — страна должна знать своих героев). Эта группа отважно вступила в неравную борьбу с силами, заинтересованными в нашем полном технологическом, экономическом и политическом подчинении транснациональным корпорациям, но пока удалось только напечатать 17 марта 1989 г. маленькую заметку в газете «Литературная Россия».

Могут ли тягаться несколько рядовых специалистов с могущественным кланом «компрадоров», перекрывшим все пути как к директивным органам, так и к средствам массовой информации? И на вопрос, «что может сделать один человек?» (чем многие из нас нередко оправдывают свое безделие), обычно дают ответ: «Многое, если он выражает коренные интересы народа». Им бы еще помощь со стороны руководящих инстанций, но она так редко приходит вовремя. Почему? Чем объяснить бездеятельность или малую эффективность деятельности наших руководящих кадров?

ВСЕ ЛИ РЕШАЮТ КАДРЫ?

...Они — слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму.
Мф. 15; 14
Страшно далеки они от народа.
В. И. Ленин

С детских лет воспитан я в убеждении: «Кадры решают все!» Кадры — это лучшие из лучших. Кадры — это организаторы трудовых и боевых побед, но не только они. Кадры — это и те рабочие-умельцы, которые в начале тридцатых годов на плохоньких станках умели добиваться производительности, какая и не снилась американцам с их сверхсовременной техникой, а в зиму сорок первого — сорок второго, эвакуированные в глубокий тыл, в чистом поле, под наспех воздвигнутой крышей, трудились в мороз, не отходя от станков по шестнадцать часов в сутки, давая фронту самолеты, танки, пушки, снаряды... И поскольку на протяжении всего XX века авангардом народа выступала партия, в моем сознании, как, думается, и у большинства людей моего поколения, с юных лет запечатлелась четкая формулировка: «Кадры — это золотой фонд партии и народа».

С того времени много воды утекло и, как сказал поэт, «много переменилось в жизни для меня, и сам, покорный общему закону, переменился я». К тому же и ученые и политики разъяснили нам: «в нашей стране долгое время рассматривали человека прежде всего как «работника», «трудовой ресурс», «рабочие руки». Если же видеть в человеке еще и социальное и нравственное существо, то окажется, что лучшие работники — не обязательно лучшие люди, и кадры далеко не всегда представляли собой действительно золотой фонд народа и партии. Среди руководящих кадров, как выяснилось, немало было взяточников и казнокрадов, хамов и развратников, и они нередко думали больше о собственной карьере, чем о процветании Родины. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что подобные же явления наблюдались не только «наверху», но и «внизу», и «в серединке» — на всех уровнях социальной лестницы.

Ну а западные советологи и радиоголоса давно уже назвали наши руководящие кадры бюрократией. Разбирая политическую ситуацию в нашей стране,

они чаще всего противопоставляют либералов бюрократам. Либералы — это те, кто стремится преобразовать жизнь в нашем государстве по образцам западной буржуазной демократии, а бюрократы — те, кто этому противится, стремясь сохранить свою власть. К бюрократам при этом относят обычно партийных, комсомольских, профсоюзных и советских работников, хозяйственных руководителей, видных деятелей творческих союзов, а иногда и твердо стоящих на социалистических позициях (и потому именуемых «обюрократившимися») рабочих и колхозников.

Беспринципные карьеристы были, есть и, наверное, еще долго будут в любом обществе, и не о них сейчас речь. Думать надо о тех руководящих кадрах, которые все силы отдают процветанию Родины (как они это подчас понимают — другой вопрос). Всей стране известны имена председателей колхозов, директоров совхозов и промышленных предприятий, руководителей строек, партийных и советских работников, других управленцев различных рангов, которые вопреки нелепым инструкциям и бестолковым указаниям «сверху», рискуя получить строгое наказание (и нередко получая его), все же упрямо проводили ту линию, которую считали единственно верной и отвечающей интересам народа, — отказывались сеять кукурузу за Полярным кругом, ликвидировать чистые пары в степях Целинного края или подсобные промыслы в колхозах Центральной России. Поэтому лишь недругам нашей страны выгодно отождествление управленцев, честно и добросовестно служащих интересам государства, с бюрократами, то есть переродившейся частью управленческого аппарата, только формально служащей государственным интересам, а на деле использующей имеющуюся у них власть в своих собственных корыстных целях. Поэтому многочисленные выступления средств массовой информации якобы против бюрократии, а в действительности против всей системы управления, напоминающие атаки хунвэйбинов под лозунгом «Огонь по штабам», попытки Т. И. Заславской, С. Андреева и других представить управленцев как новый эксплуататорский класс — отнюдь не служат делу оздоровления обстановки в стране.

Конечно, руководящие кадры уже в силу своего общественного положения выступают выразителями и проводниками официальной точки зрения. Однако в такие переломные исторические моменты, как сегодняшний, в их среде неизбежно выделяются, хотя часто и остаются недостаточно оформленными, различные течения — идущее дальше официально провозглашаемых установок, призывающее вернуться назад, «центристское» и т. п. Поэтому в наши дни для уяснения перспектив перестройки очень важно рассмотреть как положение руководящих кадров в целом, так и различные течения в их среде.

У нас нагнетают страсти вокруг того факта, что в сфере управления занято свыше 18 миллионов человек. Но ведь знающие люди утверждают, что и в странах Запада положение не лучше: в США, например, только в государственном секторе занято не меньше служащих (говорят, в апреле 1989 года данные об этом приводились и в «Правде», но я это пропустил). Во всяком случае известно, что в сфере услуг там занято больше, чем в сфере производства.

Дело-то не в том, что управленцев у нас много (хотя это само по себе плохо), а в том, что они свою миссию выполняют плохо, — о причинах этого пойдет речь дальше. Но «психическая атака» на управленцев вообще, на централизованное управление экономикой и на плановое ее развитие, являющиеся в принципе крупными преимуществами социализма, в целом на административно-командную систему (кстати сказать, сам этот термин взят с Запада — см. «Социалистическую индустрию» за 6 мая 1989 года) — отдает изрядной долей социальной демагогии.

Сказанное, понятно, не означает, что наши управленцы — ангелы во плоти. Увы, среди них как раз особенно широко распространен тип работника, которого в народе называют «дуболомом». Это «дуболомы» противятся установлению полной свободы совести, это они настаивают, несмотря на растущее сопротивление все более широких слоев народа, на развитии атомной энергетики и производстве кормового (а в перспективе — и пищевого) белка из нефти и на других подобных людоедских проектах.

Только что опубликован для обсуждения проект Генерального плана развития Москвы до 2010 года, основы которого одобрены в самых высоких инстанциях, — и что же? Москву, в которой и без того нечем дышать, предполагается расширять и дальше, более того — нашпиговать ее огромным количеством новых промышленных предприятий и ТЭЦ, причем уже началось строительство нескольких промышленных зон, например, в Мытищах, что приведет к уничтожению последних участков нетронутой природы, «легких города», ключей с чистой водой, исторической застройки. Осуществление этого Генплана, разработанного даже без намека на какую-либо руководящую идею, тем более без концепции столицы первого в мире социалистического государства, превратит Москву в город-урод, где проживание людей станет, если мерить по мировым стандартам, физически невозможным. Все эти примеры говорят о полнейшей профессиональной некомпетентности «дуболомов» и в то же время об их крайней агрессивности и напористости. Впрочем, здесь, кроме ограниченности, часто действуют и другие причины, о которых пойдет речь в дальнейшем. Важно отметить пока лишь то, что такие управленцы не могут быть вождями народа, а народы нашей страны, особенно русский, не могут подняться на большое дело без признанного вождя.

Долгое время, примерно до начала «периода застоя», наша партия, руководящие кадры правили страной, если так можно выразиться, на вполне законном основании, ибо только они выдвигали перед народом и проводили в жизнь более или менее ясный общественный идеал. Был этот идеал правильным или ошибочным — другой вопрос, кстати сказать, долгое время и не возникавший. Иные идеалы, кроме социалистического и коммунистического, уже были высказаны и отвергнуты прежде — в ходе революционных преобразований, — и лишь идеал, выдвинутый партией, существовал и так или иначе влиял на жизнь народа. Правда, со временем он претерпел заметную эволюцию.

Сразу после Октября 1917 года это был идеал мировой революции, которая должна привести к всемирному человеческому братству. Когда оказалось, что этот идеал несбыточен, ему на смену пришел идеал построения социализма в одной стране, которая призвана была в короткий срок превратиться из отсталой и полуразрушенной в могучую индустриальную, в несокрушимый бастион нового мира среди бушующего моря капитала. Наконец, идеалом стало построение коммунизма при жизни нынешнего поколения советских людей.

Конечно, частые смены идеала в сочетании с неоднократной и почти сплошной сменой кадров в период массовых репрессий способствовали тому, что значительная часть руководящих работников принимала эти идеалы достаточно формально, ибо никогда не забывала о своих личных, достаточно корыстных интересах. Даже писатель А. Рыбаков, с такой симпатией выписывающий своих героев — «детей Арбата», вынужден признать, что мысли многих из них крутились вокруг казенных дач, персональных машин и других житейских благ. Поэт Ст. Куняев в одном из своих выступлений привел рассказ светской советской дамы, подвергнувшейся репрессиям в тридцать седьмом году. Более всего ее обидело то, что через несколько дней после ареста мужа и выселения семьи из квартиры в престижном доме она увидела в комиссионном магазине «свою мебель из Юсуповского дворца». И тем не менее кадры выступали как носители и проводники общественного идеала, который всей силой идеологического и административного воздействия преподносился, а то и навязывался народу. И это, повторяю, хотя бы формально давало им право на власть.

Однако годы застоя оказались также и годами крушения последних остатков сколько-нибудь значительного и возвышенного общественного идеала. Задача построения коммунизма при жизни одного поколения была объявлена утопией. Догнать и перегнать передовые капиталистические страны в экономическом и технологическом отношениях также оказалось невозможным. Попытка нацелить Кубань на то, чтобы она обогнала Айову по производству мяса и молока, была, кажется, последним рывком в этом роде и показала несостоятельность подобных наших потуг. С началом перестройки, особенно в результате откровенного разбора (на январском и июньском Пленумах ЦК КПСС в 1987 году) картины развала экономики и нравственного разложения в разных сферах жизни общества, прошедшие разбирательства случаев коррупции, в которой были замешаны прежние высшие руководители партии и государства, окончательно подорвали у многих веру в высокие и светлые идеалы. Да и сами идеалы как-то потускнели, на место признанных несостоятельными не выдвинулись новые, обладающие сколько-ни-

будь заметной притягательной силой. Мне во время публичных выступлений не раз приходили записки с вопросом, варьировавшимся по форме, но по содержанию одним и тем же: «Что, идеалом нашего общества стал рост материального благосостояния? Чем же тогда он отличается от бухаринского лозунга: «Обогащайтесь!»?»

Такие вопросы возникают не случайно. Дело в том, что за все время Советской власти мы выдвигали социальный идеал, хотели создать такое общественное устройство, которое непременно заставило бы людей трудиться добросовестно и вообще быть добродетельными (ленинский принцип: чтобы некуда было деться от норм социалистического порядка). Но человек оказался существом куда более сложным, чем предполагала наша концепция, во всяком случае, более изобретательным в поисках способов уклониться от соблюдения заповедей морали и прожить легче — без излишних, по его мнению, затрат физического труда и особенно труда по своему нравственному совершенствованию. Прежние идеалы были нацелены не на совершенствование общественных отношений, а на совершенствование личности, пусть подчас и в искаженной, классово ограниченной форме. Идеалом дворянина был благородный человек, и тому, кто совершал бесчестный поступок, нарушал кодекс чести, часто отказывали от дома, не подавали руки в порядочном обществе. В среде искренне и глубоко верующих людей (особенно среди аскетически настроенной части монашества) идеалом было обожение, то есть восстановление в человеке подобия Божьего, утраченного вследствие первородного греха. Свой идеал существовал в институтах благородных девиц. Все это были идеалы личностного характера, и все они были отброшены в послереволюционный период, а труд самоусовершенствования был осмеян как «копание в самом себе», недостойное строителя нового мира. На первый взгляд идеал мелкий, личностный был заменен идеалом гораздо более широким, всеобъемлющим, мирового масштаба, а на деле-то получилось так, что из системы нравственных ценностей был выбит, хотя и один единственный, но зато воистину краеугольный камень. Далеко не сразу мы осознали (да и осознали хотя бы сегодня-то?), что несовершенные, а тем более разложившиеся люди не в состоянии построить совершенное общество, даже если бы захотели, — примем и это допущение, впрочем, вовсе невероятное, ибо с чего же им и захотеть такое?

Итак, социальный идеал померк, измельчал и даже, кажется, вовсе исчез с общественной арены, а личностный, в свое время отброшенный как вещь ненужная и вредная, в своих правах так и не восстановлен. Индивид и общество остались без идеала.

Вот тут-то руководящие кадры и оказались в сложном, даже, можно сказать, драматическом положении. Раз нет идеала, пусть и несовершенного, но принимаемого народом, то они, по сути, теряют право на власть. Чтобы набивать карман, людям не нужны идеологи и организаторы, тут в почете дельцы, умеющие делать деньги из ничего. Вот в чем заключается одна из главных особенностей наших дней, и она уже то тут, то там находит выражение в средствах массовой информации.

В самый канун выборов народных депутатов СССР в московском вечернем выпуске «Известий» за 25 марта 1989 года писатель А. Рекемчук поделился своими суждениями на тему дня, высказав, между прочим, такую мысль: «Когда перестройка только начиналась, мы воспринимали без уныния слова М. С. Горбачева о предстоящих нелегких трудностях и решениях, ибо были убеждены, что лидер знает больше нашего, каким путем вести страну к успеху. А сегодня можно говорить о некоем равенстве: «народ и лидер одинаково не предполагали, что эти трудности окажутся столь суровыми, что мы наделаем столько ошибок, что пути преодоления их придется искать в совместном творчестве и в равноправной полемике, что ответственность мы теперь поделили по-товарищески, по-братски, не прячась за спины друг друга...»

Здесь с редкой для нашего времени деликатностью высказана глубокая и в то же время дерзкая мысль: выход из всестороннего глубокого кризиса, охватившего страну, еще не найден, его еще ищут, причем ищут и народ, и руководство, а движение наше (сказать, что вперед, язык не поворачивается) по-прежнему совершается методом проб и ошибок, приводящим, как известно, всегда к большим излишним потерям и жертвам.

Особенность момента, может быть, яснее других определил первый секретарь Московской писательской организации Ал. Михайлов, выступив на столичной партконференции с поразившим многих тезисом: «Призрак коммунизма, замеченный в сумерках Европы XIX века, как и все призраки, исчез на рассвете. Коммунизм в XX веке оказался иллюзией, красивой мечтой... Коммунистический идеал пришел в такое столкновение с реальностью жизни, что он уже перестал выполнять роль духовной цели, духовной задачи для нашего общества. А духовная цель — это и есть вера» («Московская правда», 22 января 1989 г.; «Московский литератор», 27 января 1989 г.). Ту же мысль он изложил в «Литературной газете» за 15 марта 1989 г. в несколько иной формулировке: «В обществе потеряна вера, потеряна духовная цель. Обещанный романтиками революции коммунизм, столкнувшись с реальностями XX века, оказался иллюзией...».

Итак, процесс осознания ложности идеалов, который еще в начале 30-х годов отразил в своем художественном творчестве А. Платонов (суть его: нарушен нравственный закон, «путь потеряв, ориентиры подменены» — см. «Известия», 5 августа 1988 г.), завершается открытым от них отказом. А что такое идеал и отказ от него?

Во-первых, как хорошо показал академик Д. С. Лихачев в своем предисловии к книге В. Сергеева «Рублев», идеалы — это высшее, что вырабатывает национальная культура. Идеалы, органически выросшие, выработанные русским народом за тысячу лет его исторического существования, были отброшены после Октябрьской революции, преданы поруганию (известно выражение Л. Кагановича «Мы задерем подол матушке-России!») и на какое-то время заменены теоретическими, сконструированными усилиями нескольких мыслителей и нигде прежде практически не проверенными. Теперь идет, по сути, всеобщий отказ от теоретически сконструированных идеалов без возраста к органически выросшим, которые подавляющим большинством народа забыты и вдобавок дискредитированы многолетними усилиями идеологического и административного аппарата. В итоге почти весь народ остался без ясных идеалов, способных очеловечить, возвысить, облагородить человека, а это — самое страшное, что может произойти с народом. Строго говоря, народ-то ведь и существует только до тех пор, пока живет в нем явно или скрытно этот идеал.

Во-вторых, поскольку теоретический идеал коммунизма носил социальный, а не личностный характер, предусматривал совершенствование общественных отношений, а не облагораживание самого человека, то крах этой теоретической конструкции означал признание победы капитализма над социализмом в их мирном соревновании. На вопрос, что же такое социализм в современных условиях, наши теоретики, идеологи и политики ясного ответа не дают, предпочитают отмалчиваться. А на прямо поставленный вопрос: «Возможна ли сейчас пролетарская революция в США?» — ответ дается однозначно отрицательный: «В США, как и в большинстве развитых капиталистических стран, нет на сегодня значительных социальных сил, которые бы желали ниспровержения существующего строя. Скачок в развитии производительных сил, совершенный в США в 30-е—40-е годы, вывел капиталистическое общество на такие рубежи, которые не были предусмотрены классической марксистской теорией. Современный капитализм обеспечил большинству населения достаточный, а в некоторых случаях и просто высокий уровень жизни. Зрелая буржуазная демократия является правовым обществом. Так что пролетарская революция в США... невозможна» («Комсомольская правда», 26 февраля 1989 г.). Ну а раз капитализм обеспечил населению высокий жизненный уровень, тогда как социализм в нашей стране этого добиться не смог, значит, надо возвращаться к капитализму, к рынку — этому, по Н. Шмелеву, естественному атрибуту всякого цивилизованного общества.

В-третьих, если идеала лишен народ, то его лишен и почти каждый индивид. Что же остается ему? На этот вопрос отвечает Инна Земскова из Ульяновска: «Все ругают наркоманов — «такие-сякие», девиц легкого поведения, неформалов, да толку никакого. Была бы у меня возможность, и я бы пошла шататься по подъездам да по углам, но вот не иду — должность не позволяет (я комсорг) и перед мамой стыдно... А всех наркоманов и проституток я понимаю. Нет цели в жизни. Нет!!! Хотим дискотеки — пожалуйста, хотим модную одежду — пожалуйста и т. д. А цель, конечная цель жизни, где она? Такая цель, кото-

рая захватила бы всех? Революционеры верили в будущее, в коммунизм, а нам во что верить? Папе, маме, которые ни черта не смыслят в большой политике?» («Комсомольская правда», 27 декабря 1988 г.). Если нет идеала, нет и шкалы отсчета в сфере нравственности. Словом, отсутствие идеала создает почву, подходящие условия для распада личности. Место подлинно человеческих, возвышенных стремлений занимает борьба страстишек, самолюбий, погоня за материальными благами, и человек утрачивает то, что только и делает его человеком.

В-четвертых, утрата идеала непременно приводит к разъединению как отдельных личностей, так и поколений, особенно тогда, когда вера старших оказалась в глазах младших ложной. В только что цитированном номере «Комсомольской правды» десятиклассница Инесса говорит своим родителям и учителям: «Было ваше время, а каких успехов вы в нем достигли? Результат вашего поколения — это отвергнутые идеалы и скопище вранья».

Наконец, в-пятых, утрата идеала, органически выросшего, воплотившего дух народа, создает почву для бюрократизации всех сфер жизни общества, притом в самой низменной, безродно-космополитической форме. Органически выросший идеал — это идеал, несущий непременно печать духа данного народа. Если его нет — нет и Родины, и патриотизма как осознания неразрывности своей личной судьбы и судьбы своего народа. А раз так, то интересы Родины подменяются абстрактным государственным интересом, за которым сокрыта реальная корыстная выгода самой бюрократии. Патриотизм в его указанном выше изначальном смысле кажется подозрительным и клеймится как шовинизм. Ему противопоставляется интернационализм, но не как братство н а р о д о в (что вытекает из самого этого понятия), а как мешанина из денационализированных, не помнящих родства индивидов. И когда подобная политика проводится десятилетиями, это самым пагубным образом отражается на физическом и нравственном здоровье народов.

Выше говорилось о наших доморощенных компрадорах, всей своей сущностью тяготеющих к капиталистическому Западу. Если прослойка мультимиллионеров появилась у нас сравнительно недавно, то зародыши ее, носители идеи компрадорства, существовали в стране, можно сказать, изначально, прежде всего в среде космополитически настроенной части бюрократии. В силу многих причин, нуждающихся в особом рассмотрении, в среде руководящих кадров после взятия власти большевиками космополитическая струя была очень сильной. Известно, что Л. Д. Троцкий даже своим соплеменникам говорил, что он не еврей, а интернационалист. Всем памятно, как В. И. Чапаев в кино на вопрос крестьян, за кого он — за большевиков или за коммунистов, отвечал: «Я за Интернационал». Уверенность многих борцов за новый мир в скорой победе мировой революции и, следовательно, в установлении всемирного братства способствовала распространению космополитических настроений и препятствовала росту национального самосознания.

Однако в среде руководящих кадров страны существовала и постепенно набирала силы и другая струя, не порывавшая с национальной почвой. Она усиливалась по мере того, как В. И. Ленин, учитывая потребности жизни, уточнял абстрактные схемы социализма, выработанные К. Марксом на основе анализа развития западноевропейских стран, прежде всего Англии второй половины XIX века, наполнял их конкретным содержанием в соответствии с условиями российской действительности начала 20-х годов XX столетия, обогащал традициями и ценностями русской культуры. В 30-е годы, с одной стороны, значительная часть руководящих кадров оказалась жертвой репрессий, а с другой — этот же период ознаменовался выдвижением на высокие посты целой плеяды выходцев из народа, сохранивших связь с взрастившей их национальной почвой, — достаточно назвать лишь имена Г. К. Жукова, Н. А. Косыгина, А. А. Туполева, И. Ф. Тевосяна, И. А. Лихачева, А. А. Кузнецова...

Скрытая борьба космополитической и патриотически настроенной струй в среде руководящих кадров шла, по сути, все время, то затихая, то обостряясь. Но слабость патриотически настроенных управленцев заключалась в их разрыве с прежними идеалами своих народов, поэтому борьба двух названных сил шла не на духовном поприще, а сводилась в основном к дележу казенного пирога, к продвижению «своих» на ключевые посты. Но на этом поприще космополитиче-

ские силы, имеющие колоссальный опыт закулисных комбинаций и интриг, вряд ли можно одолеть.

У проблемы есть и еще одна сторона. Опыт XX века показывает, что лишь те страны способны на резкий рывок в своем развитии, которые имеют четко осознанную и ясно поставленную национальную цель. Самый наглядный пример тому — Япония. Она вышла на передовые рубежи научно-технического прогресса потому, что поставила своей целью стать мировым лидером XXI века и этому подчинила все — и организацию разработок, и финансовую политику, и систему образования и воспитания. Мы же страна, не имеющая ныне великой национальной цели. Конечно, накормить народ — дело очень важное, но это все же средство, а не цель. Сытость, обеспеченность нужны людям не сами по себе, а для чего-то более высокого. Если же этого возвышенного нет, то сытость может обернуться неожиданной стороной и вызвать резкий всплеск «негативных явлений», причину которых в народе называют образно: «с жиру бесятся». Не случайно множество явлений нравственного разложения наблюдается в периоды упадка общества именно в среде наиболее обеспеченных людей, часто у правящей элиты. Этим я вовсе не хочу сказать, что голод и бедность — порука высокой нравственности. Не зря сказано, что гнить можно и в бедности, и в богатстве. Сытость и голод при отсутствии у человека или народа высокой цели в равной мере создают предпосылки для его разложения. При наличии же высокой цели голод не грозит, а чрезмерная сытость не требуется. Поэтому цель в этом смысле как бы первична, а материальная обеспеченность вторична.

Важно, конечно, чтобы цель была именно высокой, благородной, тогда она будет и возвышать, и облагораживать как отдельного человека, так и весь народ. В этом отношении многие цели, выдвигавшиеся в XX веке, были, так сказать, далеки от нужной кондиции. Ведь можно, задавшись целью, стать лидером мира, научиться производить великолепные компьютеры, обогнать при этом другие страны на десятилетия, но так и не суметь ответить на вопрос: «Зачем, во имя чего их производить?» В наши дни, когда мир социализма и мир капитализма в равной мере охвачены кризисом (только у нас — при острой нехватке товаров, а за рубежом — при их сверхизобилии), лидером мира может стать только та страна, которая в состоянии повести за собой человечество духовно. Если оценивать наше положение с этой точки зрения, то оно крайне незавидно, и в этом тоже большая доля вины не только теоретиков, но и руководящих кадров.

Строго говоря, в течение ряда десятилетий большинство нашего народа вообще почти не жило духовной жизнью и не знало, что это такое. У нас утвердилось понимание, согласно которому к духовному относится все, что нематериально. А при таком подходе нетрудно докатиться и до самых примитивных представлений вроде следующего: пообедал человек — это он получил материальные блага, а забил «козла» в домино — обрел блага духовные. Мы забыли, что на протяжении тысячелетий у всех народов под духовным понималось то, что считается высшими вопросами человеческого бытия — о смысле жизни, месте человека в мироздании, космическом призвании человека и всего рода людского. Наш народ, оторванный в послереволюционные годы от значительной части культурного наследия прошлого, в большинстве своем утратил в последние десятилетия интерес к этим «вечным» вопросам, чем и объясняется во многом страшное падение его нравственности. И, увы, это наблюдалось и в среде руководящих кадров.

Помню, несколько лет назад партийный функционер высокого ранга, получив на встрече со столичными пропагандистами записку с вопросом, куда и к кому можно пойти коммунисту, чтобы исповедаться, совсем ее не понял. Когда помощники разъяснили ему суть вопроса, он сначала пристыдил пропагандистов, что им приходят в голову такие вздорные мысли, а затем пригласил: «В горком приходите, товарищи!» Дружный смех зала был ему ответом. И действительно, стоит лишь попытаться представить себе картину того, что будет, если коммунист, у которого есть мучающее его пятно на совести, придет на исповедь к инструктору или даже секретарю горкома партии. А ведь это означает крайнюю ступень нравственного запустения, ибо как тело нуждается в очищении баней или ванной, так и душе требуется очищение исповедью и покаянием, без чего она за-

соряется, разлагается и смердит, распространяя заразу и на окружающую общественную среду.

Утрата идеалов, отсутствие великой объединяющей идеи и бездуховность — не столько вина, сколько беда наших руководящих кадров, но последствия этого сказываются во всех сферах народной жизни; я остановлюсь кратко лишь на двух — на развале экономики и на обострении межнациональных отношений.

Всем очевидна ненормальность положения, когда самая богатая природными ресурсами страна, населенная высокоодаренным народом, доведена до нищеты. Во-первых, у нас сложилась «самоедская» экономика, производство ради производства, работающее само на себя, а не на человека. Часто бывает так: предприятию, скажем, выгодно то, что не выгодно стране, и это ведет к выпуску ненужной продукции, к ненужным затратам. В смысле «гримас затратной экономики» мы оставили далеко позади капитализм с его сжиганием пшеницы в топках, о котором в дни моей юности можно было прочитать в учебниках политграмоты. В журнале «Звезда Востока» (1988, № 10, с. 124) экономист-народнохозяйственник А. Рывкин писал: «Мы... из года в год строим и осваиваем не то, не там и не так. Не менее сорока процентов усилий в нашем народном хозяйстве расходуется напрасно и даже во вред общему делу». Я согласен с этой концепцией в принципе, но конкретную цифру доли бессмысленно расточаемого народного труда уважаемый ученый (статья его — это действительно явление, и очень жаль, что она прошла не замеченной читателями, экономистами и критиками) занизил, по моему убеждению, примерно вдвое. На ветер пускается, пожалуй, четыре пятых всех наших трудовых усилий, о чем говорят, в частности, подсчеты В. Селюнина и других экономистов, а также тот факт, что вот уже много лет почти весь прирост национального дохода страны приходится на увеличение стоимости горы никому не нужных товаров. А если учесть, что многое делается во вред, разрушает хозяйство, имитируя созидание (выражаясь словами того же А. Рывкина), то окажется, что трудимся мы (не каждый на своем месте, а в общей системе) бессмысленно и становимся год от года беднее, утрачиваем плодородие почв, чистоту воздуха и вод, качество (и количество) продуктов питания, здоровье — собственное и своих детей. И когда высокие руководители призывают каждого из нас прибавить в работе на своем месте, но не умеют (или не видят в этом необходимости) улучшить систему общественного производства в целом, то это оказывается непростительным с их стороны промахом. «Между различными производителями и различными экономическими единицами существуют сложные технологические связи. Чтобы хозяйство развивалось в целом, одни должны расти быстрее, другие, наоборот, должны сокращаться. Мы же сегодня ставим задачу увеличения перед каждым звеном цепи и затем все суммируем, тем самым поощряем явление, которое называем диктатом производителя», — напоминает А. Рывкин и показывает: с переходом на хозрасчет и самоокупаемость, при ориентации на рост прибыли неизбежно нарастание диспропорций, которые разрешаются через кризисы. Таким образом, примитивное понимание экономики кадрами, насаждавшееся усилиями ведущих ученых-экономистов, планирование «путем арифметических действий, не связанных непосредственно с течением хозяйственной жизни», ориентация прежде всего на рост цифр национального дохода и валового национального продукта и т. п. — заранее обрекают нас на усиление затратного хозяйственного механизма и прогрессирующий развал экономики.

Во-вторых, мы ведем хозяйство хищнически, колонизаторски, постепенно (и все более ускоренными темпами) разоряем собственную страну, превращая один регион ее за другим в зоны, не пригодные для обитания человека. До каких фантастических проявлений бесхозяйственности можно дойти, показывает интервью недавно избранного первого секретаря Псковского обкома КПСС А. Н. Ильина. В числе самых важных задач в области он поставил «ликвидацию последствий неумелой или бессмысленной мелиорации земель» («Советская Россия», 30 апреля 1989 г.). Подумать только! Сначала вбухать в землю огромные средства якобы на мелиорацию (то есть улучшение, как это слово переводится на русский язык), а потом тратить во много раз больше на устранение последствий! Такой экономики мир, наверное, не знал с самого своего сотворения. И мелиораторы здесь не исключение, просто их деятельность, по сути часто преступная,

у всех на виду, а другие ведомства проводят свои «мелиорации», менее бросающиеся в глаза, но не менее разорительные. Строительство гигантских ГЭС на равнинных реках, приведшее к затоплению огромных площадей плодородных земель и заливных лугов, — это тоже «мелиорация». Профессор В. А. Персианов показал, что не лучше минводхозовской «мелиорации» деятельность метростроителей, у которых один километр метрополитена обходится в двадцать—двадцать пять миллионов рублей, тогда как использование имеющихся наземных железнодорожных линий во многих городах позволило бы решить транспортную проблему с затратой средств в десятки раз меньшей. При этом далеко не всякую «мелиорацию», ее последствия можно устранить, иные наши «улучшения» нанесли земле непоправимый ущерб. Как, например, извлечь обратно нефть, по головотяпству запущенную в водоносные горизонты в Ферганской долине, что загубило эту жемчужину Средней Азии («Социалистическая индустрия», 30 апреля 1989 г.)? Сколько гневных слов сказано о корыстных ведомственных интересах, о том, что гигантские монополии-ведомства опустошают страну, изымая за это громадные средства из государственного бюджета, а дело никак не улучшается, если не сказать наоборот. Но ведь ведомства-то не по собственной прихоти так поступают, им выдают и утверждают задания высшие органы руководства страной, которые, видимо, заинтересованы по каким-то причинам в сохранении сложившегося положения, раз за семьдесят с лишним лет Советской власти так и не изменили его. Конечно, надо учитывать, что ведомственный подход — это всегда частичный, осколочный подход, «отвлеченное начало», как сказал бы покойный Вл. Соловьев, то есть способ мышления, при котором часть выдается за целое (такой взгляд на жизнь осудил еще гениальный автор «Слова о полку Игореве», не говоря уж о более древних источниках). Но если человек неспособен видеть целое и может довольствоваться лишь его кусочком, то что же с ним поделаешь? А утрата связи с Целым — явление духовного, мировоззренческого порядка, это, может быть, самая большая потеря в мире в XX веке, которую не компенсировать никакими материальными средствами. Вообще духовные проблемы в принципе не имеют технологического, экономического или политического решения. «Рожденное от духа есть дух» — это было сказано почти две тысячи лет назад и, как бы это кому-то ни казалось неприемлемым, остается неоспоримой истиной и по сей день. Потому-то такими жалкими потугами и оказываются нередко принимаемые крупные меры (например, административные средства борьбы с пьянством), призванные решить материальными средствами проблемы, порожденные бездуховностью, потому-то обычно и кончаются такие затеи бесславным провалом.

О межнациональных отношениях скажу лишь несколько слов, поскольку это большой самостоятельный вопрос. Весь исторический опыт свидетельствует о том, что разные народы могут дружно жить и трудиться в одной стране тогда, когда объединены одной идеей, решают осознанную общую задачу. В самые трудные периоды Великой Отечественной войны у нас не возникало серьезных межнациональных конфликтов, потому что все народы страны думали об одном — о спасении общей Родины. **Если бы сейчас сказать народам всю правду о положении страны, поставить перед ними общую задачу возрождения родной земли, нами же разоренной, и показать, что ее решение силами отдельных республик немыслимо; если к тому же убедить их в том, что осуществление великой программы работ требует совсем иного уровня духовности, чем тот, какой мы наблюдаем сегодня, — уверен, что главная причина межнациональных конфликтов была бы тем самым устранена.** А раз такой общей задачи нет, то начинается выяснение отношений по вопросу о том, кто больше внес в общую копилку и кто из нее больше взял, — так бывает между супругами в семье, не объединенной сверхзадачей, так же складывается и жизнь семьи народов. Здесь проявляется самая важная и принципиальная разница между богатством материальным и духовным, над которой мы мало задумываемся.

Когда люди стремятся прежде всего к материальному богатству, каждый видит в другом прежде всего конкурента. Ведь материальные блага вполне конкретны, в размере ограничены; когда их заполучает один, другому, естественно, остается меньше. Когда же человек овладевает духовными богатствами, ранее ему неведомыми, его охватывает радость, и первой потребностью для него ста-

новится — поделиться своей находкой с другими. И чем больше человек делится своим духовным богатством с другими, тем более оно возрастает. То, что давно замечено в отношении отдельных людей, в полной мере справедливо и **применительно к народам, когда они живут ради решения возвышающей их сверхзадачи. Но чтобы поставить перед народами страны такую сверхзадачу, надо выйти за пределы узкоэкономического, сугубо прагматического подхода, осветить общие цели с точки зрения высших вопросов человеческого бытия. Тогда и возрождение разоренной страны, и обеспечение ее территориальной целостности станут общим делом всех ее народов.**

Как же обстоит дело с духовной жизнью, с возвышенной общенациональной целью у нас?

Недавно, в который уже раз, прочитал в одной из центральных газет: прежде, в 20-е — 30-е годы, советских людей отличали подлинный энтузиазм и горячая вера в скорое наступление счастья для всего человечества, и они, часто голодные, раздетые и разутые, творили чудеса, создали великую державу, вызывая удивление и восхищение во всем мире; к сожалению, их вера была слепой и в конце концов оказалась беспочвенной, ныне же мы несравненно лучше обеспечены в материальном отношении, но живем «без божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви» (если же и льем иногда слезы, то отнюдь не умиления).

Спрашивается: что же лучше? Иметь веру, но слепую, или не иметь никакой?

Так и напрашивается ответ, данный в свое время на вопрос, какой уклон — правый или «левый» — хуже? Ответ гласит: оба они хуже.

Ложная вера, хотя поначалу и может подвигнуть народ на большие дела, рано или поздно обнаружит свою ложность, породит разочарование и безверие, а следовательно, и нравственную деградацию, так что, как видим, крайности сходятся.

Так выглядит дело при абстрактной постановке вопроса, а в реальной жизни оно обстоит много сложнее. И в 20-е — 30-е годы далеко не все горели энтузиазмом, к тому же значительная часть народа уже подвергалась репрессиям. Да и в наши дни вовсе не все захвачены жаждой обогащения или волной пессимизма. Как раз в последние годы в нашем обществе, прежде представлявшем собой более или менее однородную массу (не в социальном смысле, а в том, что ныне деликатно именуется «атмосферой застоя»), резко ускорился процесс размежевания. Конечно, громадное большинство наших современников (и чем дальше, тем больше), находясь в плену у самой влиятельной партии конца XX века — средств массовой информации, попадает в трудное положение, из которого самостоятельно, не имея высоких духовных ориентиров, выбраться почти невозможно, и потому среди них нарастают проявления нравственной деградации. Зато на другом полюсе образуется численно небольшая прослойка таких нравственно чистых людей, каких мир, может быть, не видел с апостольских времен. Известное суждение о погибельном для человека «широком» пути, которым идет толпа, увлекаемая сиюминутными интересами, и о спасительном «узком» пути для немногих, правильно понимающих смысл жизни и живущих в соответствии с этим пониманием, достойно высокого человеческого призвания, остается, как видим, в силе и в наши дни. К этому можно добавить, что в вопросах духовной жизни народа роль количественного фактора не следует преувеличивать: в обычное время те люди, которые несут в себе незамутненное народное миропонимание (прежде их в русской литературе называли «праведниками»), исчисляются, быть может, единицами, и потому мало заметны. **Но в экстремальных ситуациях, в переломные моменты судьбы Родины именно они становятся выразителями общественного мнения и воли народа, из их среды выходят идеологи и народные вожди. И то, что у нас выделяется тонкая прослойка нравственно чистых людей** (хотя сами они, конечно, таковыми себя не считают, ибо и в наши дни проявляется вечное правило: чем выше поднимается человек на пути духовного совершенствования, тем отчетливее сознает он свои недостатки и слабости), **есть, может быть, самое главное наше достижение, главное приращение богатства и самый верный залог спасения страны.**

Но пока не они определяют тонус общественной и особенно экономической жизни. И чаще всего не в среде руководящих кадров живут эти нравственно чистые люди. В бюрократической системе могут быть люди умные и глупые, хитрые и простоватые, но нравственная чистота ей противопоказана, во всяком случае, с нею там карьеры не сделать. Есть давний анекдот о том, что бог дал людям три качества — ум, честность и принадлежность к бюрократии, но так, что возможны только их сочетания по два. Если человек умный и бюрократ — он нечестен; если честный и бюрократ — то неумный; если же умный и честный — то не бюрократ. Кажется, жизнь и по сей день подтверждает меткость такого наблюдения. Наверное, только нравственно сильная личность, движимая высокоморальным идеалом, может, мирясь до времени с нравами бюрократической системы и принимая ее «правила игры», выйти в верхние ее эшелоны, чтобы перетрясти саму эту систему и попытаться вернуть ей идеал и, следовательно, обновленным руководящим кадрам — роль авангарда народа.

Такие исключения бывают, сама идея перестройки это подтверждает. Однако выборы 26 марта 1989 года показали непопулярность в народе тех руководителей, **которых он воспринимает как носителей идеологии бюрократии, бездуховности и корыстных устремлений.** Ближайшее время, видимо, готовит значительной части руководящих кадров еще более суровые испытания.

Прения на апрельском (1989 г.) Пленуме ЦК КПСС показали, что значительная часть руководящих кадров обеспокоена как в целом сложившейся в стране обстановкой, так и своим положением. И это понятно. Даже если утрачен высокий идеал, именно руководящие кадры остаются носителями идеи государственности, которой грозит ныне натиск разного рода центробежных сил. Можно понять призывы положить конец действиям тех сил, которые ставят своей задачей дестабилизацию обстановки в стране. Но ведь одними призывами или попытками вернуться к старым методам управления новых задач, вставших перед страной, не решить. А положительной программы ни один руководящий деятель не выдвинул — это показали и выборы, и Съезд народных депутатов СССР.

Не выдвинул такой программы никто потому, что в ее основе должен лежать новый взгляд на мир и на человека, иными словами — момент духовного характера, которым наши руководящие кадры столь долго пренебрегали, за что сейчас приходится дорого расплачиваться не только им, но и всему народу.

Нет, сегодня кадры решают далеко не все. Давление со стороны «либералов», «компрадоров» и «демократов», опирающихся на возрастающую поддержку иностранного капитала, нарастающее движение «низов», свидетельствующее о твердом намерении народа взять свою судьбу в собственные руки — все это ставит руководящие кадры в трудное положение. Ныне им без выработки общенациональной программы, которая могла бы снова объединить народ, не обойтись, а для этого надо учесть не только материальные и культурные, но и духовные потребности общества. А где взять духовность тем, кто всю жизнь без нее обходился? Напомню пророческие слова А. де Сент-Экзюпери: «И только Дух, коснувшись глины, делает из нее человека».

Прежде чем перейти к рассмотрению соотношения разных общественных сил, скажу несколько слов о той социальной прослойке, которая на протяжении веков служила чистым источником духовности, но в послереволюционный период была отстранена от участия в решении важнейших вопросов народной жизни.

ДУХОВНОСТЬ И ДУХОВЕНСТВО

...Разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал.

А. С. Пушкин

Церковь наша должна святиться в нас, а не в словах наших. Мы должны быть Церковь наша и нами же должны возвестить ее правду... И эту церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не введем в нашу жизнь!

Н. В. Гоголь

Вся наша история говорит о том, что Россия — это страна с особой, почти фантастической судьбой. Сколько раз оказывалась она на краю бездонной

пропасти, когда миру казалось, что ей уже не подняться! И она каждый раз после страшного упадка поднималась, возрождалась, словно феникс из пепла, отстраивалась и становилась еще краше и могущественнее.

Вспомним 1612 год. Россия, еще два десятка лет назад наводнявшая страх на соседей, уже, можно сказать, как единое государство не существует. На бескрайних просторах вконец разоренной страны бесчинствуют отряды иностранных интервентов и шайки головорезов, ищущих, чем можно еще поживиться. Но патриарх Гермоген, не убоявшись угрозы мученической смерти, вдохновляет народ на сопротивление врагам, и вот уже в Нижнем Новгороде раздается страстный призыв Кузьмы Минина — все отдать ради спасения Отечества. Народ поднимается и изгоняет всякую нечисть с родной земли, и по прошествии нескольких десятилетий Россия снова — одно из самых благоустроенных государств мира.

Возьмем ли мы 1812-й или 1941 год, когда враг подходил к самому сердцу России и во всем мире отсчитывали ее последние часы, — всякий раз народ вставал на защиту родной земли и одерживал победу. И всегда в критические моменты истории России вместе с народом была Церковь.

Одна из причин того, что ныне в жизни нашего народа так ослабло духовное начало, заключалась в том, что в первое послереволюционное десятилетие наши отцы и деды, с лукавой подсказки вульгарных социологов, спутали духовность с духовенством, а благородство — с «их благородиями». Духовенство, дворянство, офицерство — все это было выброшено из народной жизни — вместе с духовно-нравственными ценностями, которые вырабатывались веками и воплощали в себе общечеловеческие моральные достижения и грани народного гения.

В жизни русского народа с самого крещения Руси духовенство играло важную, а нередко — первостепенную роль. Прекрасно сказал об этом в прошлом веке писатель Глеб Успенский, посвятивший немало сил разъяснению образованной российской публике, что такое народный интеллигент.

В своем знаменитом очерке «Власть земли» Г. Успенский писал об удивительных особенностях сердца человеческого:

«...один дерет с другого шкуру — и не чувствует; ему довольно знать, что нельзя иначе... А другой, и издали глядя на это зрелище, не только сам ощущает боль сдираемой кожи, не только чувствует страдание обдираемого человека, но имеет даже дерзость считать этот неизбежный акт возмутительным и жестоким, имеет даже дерзость закричать издали: «Что вы делаете, проклятые!» — хоть и знает, что они не виноваты.

Человек с таким сердцем, с таким чувством и чувствительностью и есть, как мы думаем, человек интеллигентный. И такой человек всегда был, присутствовал в самой среде *народной массы*, работал в ней не во имя звериной, лесной правды, а во имя высшей божеской справедливости. Наши интеллигентные прародители были так умны, знали, должно быть, так хорошо народную массу, что для всеобщего блага ввели в нас «христианство», то есть взяли *последнее слово*, и притом *самое лучшее*, до чего дожило человечество веками страданий. И слово это, проповедовавшее высшую степень самоотречения, они не побоялись внести в среду людей, которые «звериным обычаем живяху». Общество, которое жило таким образом, очевидно, было вовсе не приготовлено к восприятию такой непривычной новизны; ему бы, если верить теперешним нашим руководителям, надобно было пережить весь смрад развалившегося мира, прежде чем вкусить христианство. Но наши прародители, повторяем, знали свой народ, хотели ему добра и, как люди, которые сами близко жили к природе, знали, что такое значит жить «звериным обычаем», — знали, что звериному обычаю незачем переживать всевозможные благообразные изменения этого обычая, раз уж есть нечто высшее, лучше этого звериного благообразия. Они взяли то лучшее, что только выстрадало человеческое сердце, взяли христианство, и притом в самом строгом, не подслащенном виде... Теперь мы роемся в каком-то старом национальном и европейском хламе...

Итак, в русской народной массе всегда был интеллигентный человек. Он, вооруженный христианскою идеей, шел безбоязненно в массу народа, которая жила звериным обычаем. Частенько его колотили дрекольями, но он не унывал и неустанно твердил одно: «Не сдирай шкуры с ближнего!» Этот интеллигент-

ный человек был настоящий работник народный и работник практический... Эта интеллигенция «угодников божиих» внесла в народную русскую массу бездну всевозможной нравственной и физической опрятности (посты, браки в известное время года и т. д.). Но главное-то — они старались «развить *эгоистическое сердце человека в сердце всескорбящее*, обобщить его разумом и в свою очередь оживить им разум...» (Успенский Г. И. Собр. соч. в 9-ти томах. Т. 5. М., 1953, с. 169—171. Последние слова взяты Г. И. Успенским из сочинений А. И.Герцена. — М. А.).

Г. И. Успенский разъяснял также народникам-просветителям и либералам-земцам, почему крестьяне считали новую школу, где преподавали химию и учили множеству полезных вещей, способствующих увеличению богатства, хуже старой, в которой преподавание было основано на Псалтири. В старой школе, говорил он, «цифири учили плохо... Но воспитание сердца было настойчивое; учеба была тиранская, но касалась она не расчета, не выгоды, не простого, ненужного знания, а проповедовала ту самую «строгость» к самому себе и к ближним, которая нужна и важна в человеческом обществе вопреки той правде дремучего леса, в которой оно обязано жить... Ничего практически полезного... выгоды или удобства, — эта школа не давала; напротив, она учила прямо необходимости в некоторых житейских отношениях нести убыток — подавать нищим, убогим, жертвовать на храм и т. д. ... «Божественное» знакомило с нравственными обязательствами и задачами человека...

Вот эту-то божескую правду народ и считал важною в старинной псалтырной и часословной школе. Теперь же... этой высшей точки зрения на окружающее и нет в современной школе. Нет той науки о *высшей правде*, которая бы дала *теперь* человеку возможность сказать себе, что справедливо и что нет, что можно и что нельзя, что ведет к гибели и что спасает от нее» (Там же, с. 171—172).

Здесь великий русский публицист, размышляя над проблемой современной ему школы, вышел на широкие обобщения о роли христианской церкви в истории России. Кстати сказать, в тех же строках он ответил на вопрос, ныне так часто обсуждаемый: «Что такое интеллигентность и кого можно по праву назвать интеллигентом?» Не образование, не количество накопленных знаний определяют меру интеллигентности человека. Г. И. Успенский выделял тип *народного* интеллигента, который, вооруженный христианской идеей, сам воспитывал себя в духе любви к ближнему и учил народ добру и милосердию.

Да, священнослужители и монахи в Древней Руси немало сделали для облагораживания народной нравственности. Церкви и монастыри были рассадниками культуры и просвещения. Монахами были величайшие писатели, художники, просветители, мыслители, церковные и общественные деятели Древней Руси — Нестор-летописец, Антоний и Феодосий Печерские, Андрей Рублев, Феофан Грек, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Епифаний Премудрый, Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, Ермолай-Еразм и другие. Многие монастыри были и военными крепостями, и образцовыми хозяйствами, так сказать, «маяками» для окрестного населения. Монахи показывали образцы стойкости в отстаивании идеи, которую они считали истинной. Так, Феодосий Печерский неустанно обличал великого князя киевского, который незаконно захватил престол, изгнав старшего брата. А угрозы князя сгноить его в тюрьме или казнить вызывали у него только усмешку, поскольку принять венец мученика за правое дело было у этого великого подвижника заветной мечтой. В то же время в трудное для родной земли время, например, при княжеских усобицах именно священнослужители и монахи выступали с призывом к единению и миру, а в годину иноземных нашествий и разорения Руси иностранцами — со словами ободрения и надежды, уверенности в светлом будущем Отчизны как вселенского оплота Православия.

Общее обмирщение жизни народа с конца XVII века и особенно церковные реформы Петра I серьезно подорвали силы церкви и ее роль в жизни народов России. Чего стоили только указы императора, согласно которым в кельях монахов запрещалось держать бумагу, перо и чернила, а пополнять штат монастырей дозволялось лишь за счет увечных и отставных солдат и офицеров. Разве не ясно, насколько сразу же упали и уровень духовной жизни в монастырях, и престиж монахов в обществе (хотя отдельные подвижники благочестия и в этих

условиях никогда в монашестве не переводились)? То, что Петр уничтожил патриаршество и учредил Синод, по сути сделав церковь звеном государственного аппарата (и, в частности, возложив на духовенство обязанность доносить о преступлениях, в которых грешники каялись на исповеди), еще более отдалило священнослужителей от народа (хотя, опять-таки, на Руси никогда не переводились и подвижники-батюшки, подлинные духовные пастыри своих прихожан, и архиереи, отдававшие все силы нравственному просвещению верующих).

И все же ни одно бедствие, ни одно чужеземное нашествие в истории России не сопровождалось таким разгромом церкви и истреблением священнослужителей и верующих мирян, какое произошло в первые два десятилетия после Октябрьской революции. После того, как реабилитированы многие из незаконно репрессированных в годы культа личности политических деятелей, военачальников и специалистов, началась работа по выявлению жертв произвола в отношении служителей культа и мирян, пострадавших за веру. И уже сегодня очевидно, что этих пострадавших — бесчисленное множество, что гонения, которым подвергалась тогда в нашей стране церковь, в особенности православная, превосходили по своим масштабам и жестокости все известные в истории преследования за веру. Гонения на христиан во времена Нерона или Диоклетиана — бледнеют перед тем, что пришлось вынести нашим верующим соотечественникам в 1917—1940 годах. Они сопровождались диким разгулом «оголтелого атеизма» (как выразился один из современных «властителей дум»), разрушением тысяч храмов, изъятием несметных церковных ценностей (значительная часть которых вскоре оказалась за границей), уничтожением не поддающегося учету числа икон, древних книг и других памятников истории и культуры.

И тем не менее веру в народе тогда истребить не удалось. Большинство граждан во время Всесоюзной переписи населения перед войной, несмотря на обстановку страха и репрессий, объявило себя верующими. Не удивительно, что в годы Великой Отечественной войны, когда решался вопрос о жизни и смерти советского строя, государство вынуждено было резко изменить свое отношение к религии и призвать церковь на помощь, тем более существенную, что неисчислимые людские потери, тяготы и беды, обрушившиеся на народ, заметно усилили, как и всегда в подобных случаях, религиозные настроения в стране. В пятидесятые годы вновь поднялась волна оголтелого атеизма, когда были закрыты или разрушены тысячи храмов. Но несмотря на все гонения, церковь устояла и, как выразился недавно один причастный к этой сфере народной жизни высокопоставленный функционер, «победоносно въехала в социализм».

Все это я напомнил отнюдь не ради одного лишь восстановления исторической справедливости, а и для уяснения перспектив развития страны. Ведь в начале статьи я говорил: сейчас резко усилилась социальная напряженность. В Древней Руси в моменты, когда возникала угроза междоусобиц, обычно раздавался мудрый и примиряющий голос Церкви. Способна ли сегодня Церковь, особенно Русская Православная Церковь (мне, русскому человеку, трудно говорить о других верах и церквах), обратиться к нашим соотечественникам с умиротворяющим призывом, и если способна, то есть ли у нее шансы быть услышанной противоборствующими сторонами?

Вопрос этот вряд ли может быть решен, что называется, человеком со стороны, а священнослужитель, вероятно, ответит, что Церковь — это вовсе не то, что люди, вне ее стоящие, под ней понимают. Церковь — это Христос и святые, усопшие и ныне живущие христиане. История же, добавит он, это деяния не только человеческие, но и Божеские, и потому итог их часто бывает совсем не таким, какой люди, их предпринявшие, предполагали. Не зря говорится: «Праведник предполагает, а Бог располагает». И все же выскажу несколько соображений, основанных как на личных наблюдениях, так и на беседах с некоторыми священнослужителями.

Прежде всего надо отметить несомненный рост симпатий к церкви в народе, что особенно ярко проявилось в дни празднования 1000-летия крещения Руси. Конечно, после стольких гонений на Церковь, после того, как два-три поколения наших соотечественников воспитаны в отрыве от сохраняемых и утверждаемых ею духовно-нравственных ценностей, сегодня трудно говорить о преобладании в народе верующих, но что в сумме верующие и не считающие себя верующими, но благожелательно относящиеся к вере, составляют подавляющее большинство взрослого населения, а непримиримые воинствующие атеисты — ничтожное меньшинство, в этом нет никакого сомнения. Лично мне кажется прямо-таки символической картина, которую могли наблюдать москвичи, приехавшие в мае 1988 года в Новгород на праздник славянской письменности и культуры.

Шел по улице торжественный крестный ход, возглавляемый двумя митрополитами, а навстречу ему прошли две простые женщины средних лет. Вряд ли можно считать их верующими: они не остановились, не перекрестились, не поклонились. И все-таки одна из них довольно громко сказала своей спутнице:

— Слава богу, у самих ничего не получается, так хоть хватило ума за помощью к Церкви обратиться...

Не менее сильное впечатление произвел на меня вечер в Московском Доме художника, посвященный Оптиной пустыни — древнему монастырю (недавно переданному Русской Православной Церкви), куда в самые сложные периоды своей жизни и творчества приезжали за советом старцев Гоголь, Достоевский, Лев Толстой и другие выдающиеся деятели русской культуры. На вечере наместника монастыря спросили, чем собравшиеся могут помочь обители. Он ответил, что монастырь приходится восстанавливать почти с нуля, а на это требуются большие средства. И тогда прозвучал призыв собрать деньги на восстановление этого памятника русской истории и культуры. То, что произошло дальше, напоминало картину «Обращение Кузьмы Минина к нижегородцам»: люди кидали деньги в сумки, целлофановые пакеты, причем иные отдавали все, что у них было с собой, я видел, как женщина подала бумажный пакетик, предупредив, что там — золотая цепочка, а мужчина пожертвовал старинные серебряные часы. Невозможно было без глубокого волнения наблюдать это яркое проявление русского народного характера. Между прочим, подобные случаи, на мой взгляд, свидетельствуют и о том, что ни один идеолог или политический деятель, игнорирующий несомненный рост симпатий к Церкви в народе, не имеет сегодня сколько-нибудь обнадеживающей перспективы.

С другой стороны, многие священнослужители оценивают состояние Церкви (в обычном, не мистическом смысле этого слова) весьма сдержанно. Один священник так объяснил мне причины своего пессимистического взгляда:

— В течение десятилетий вопрос о том, кого поставить в священники и дьяконы, решал не столько епархиальный архиерей, сколько уполномоченный Совета по делам религий. А на эти должности — в соответствии с установкой на скорейшее изживание религии — назначали особенно жестких функционеров. И те пропускали в дьяконы и священники, как правило, того, кто, по их мнению, в наибольшей мере подходил для осуществления этой принципиальной установки. В итоге в в Церкви мы столкнулись с ужасающей засоренностью кадров чужеродными элементами...

Не стану приводить слова этого священника о состоянии епископата Русской Православной Церкви, но общий его вывод таков: Церковь только начинает оживать после десятилетий угнетенного существования, она так нуждается в перестройке, которая там, по сути, еще не началась. Среди иерархов Церкви немало умных, расчетливых и дальновидных политиков, но общая обстановка застоя в стране, увы, серьезно отразилась и на них. Так что рассчитывать на умное примиряющее слово Церкви (а оно, как предполагается, может исходить только от ее иерархов) в наше время нарастания социальной напряженности особенно не приходится.

Не мне судить, насколько справедливо суждение этого пастыря о своих архипастырях, хочу лишь заметить, что и сегодня, по-моему, среди священнослужителей, особенно рядовых священников, много — и с каждым годом становится все больше — истинных подвижников, духовных наставников своей паствы.

В одном старинном русском городе служит молодой священник. Служит в двух храмах сразу: в том, в котором числится по штату, и в другом — кладбищенском, только что переданном Церкви и пока еще не имеющем штата. В соборном храме города окрестят любого желающего — младенца и взрослого, слегка окропив водой и исполнив необходимый обряд, а этот священник требует, чтобы желающий принять крещение (если ему более 12 лет) прочитал Еванге-

лне и приобщался бы к Церкви вполне сознательно. Более того, он купил списанный грузовик (и сам привел его в удовлетворительное состояние), чтобы бесплатно развозить по домам дрова немощным старушкам своего прихода. Удивительно ли, что этого молодого священника прихожане не просто называют батюшкой, но и действительно видят в нем духовного отца и, если угодно, вождя? Я попытался представить себе работника исполкома, который на своей машине развозил бы если не дрова, то хотя бы продукты престарелым ветеранам войны и труда, но такая картина показалась мне почти неправдоподобной.

А вот впечатление попавшего в беду человека, которому удалось, пусть всего несколько минут, поговорить с иеромонахом, почитаемым в народе как продолжатель традиций некогда прославленных старцев: я и подумать не мог, что на свете существуют такие высокодуховные, чистые и человечные люди.

А рассказал я об этом вот к чему. Много лет назад довелось мне если и не прочитать, то подержать в руках, бегло просмотреть задолго до того написанную рукопись по истории Церкви. Главная ее мысль сводилась к тому, что история Церкви — это вовсе не летопись Соборов, патриархов и ересей, как это чаще всего преподносится в печатных трудах по этому вопросу, а история подвижничества. Один монах-пустынник, всем сердцем отдавшийся молитве к Богу за наш грешный мир, может значить для Церкви больше, чем несколько Соборов и дюжина иерархов. Мы, мирские люди, да и многие священнослужители, этого не понимаем, вот почему и нет у нас трудов по истории Церкви, которые освещали бы тему по существу, поскольку самая суть-то сокрыта от ученых, не причастных к духовному подвижничеству. И когда я вспоминаю батюшек и иеромонахов, беззаветно преданных своему служению, в моей душе зреет убеждение: какую бы позицию в вопросах развития государства ни занимали те или иные высокие церковные иерархи, Церковь в лице многих своих рядовых служителей сможет сказать народу именно то слово, какое необходимо ныне для спасения нашего общего земного Отечества. А вот будет ли способен народ услышать это слово — зависит от отношения руководящих кадров к Церкви и от духовной зрелости народа.

Насчет первого момента надо заметить, что, по моим наблюдениям, космополитически настроенная прослойка руководящих кадров, которой, по сути, наплевать на народ, на его духовность и, следовательно, на его Церковь, тем не менее из политических соображений заигрывает с церковными иерархами, стремясь накануне решающей битвы в истории нашей страны привлечь верующих на свою сторону. Напротив, патриотически настроенные руководящие кадры, менее искушенные в политике, упрямо придерживаются своего недоброжелательного отношения к Церкви, которое у них за десятилетия господства агрессивного атеизма стало, можно сказать, принципиальным или догматическим. Чего стоит одно лишь недавнее замечание видного идеолога по поводу выступлений священнослужителей в печати и на телевидении: «Расплясались попы!» А получивший всемирную известность случай в городе Иванове, где верующие безуспешно добивались передачи им пустующего храма? Когда все прочие доводы были приведены и не привели к положительному решению вопроса, несколько женщин объявили многодневную голодовку. Но местные власти так и отказались передать храм верующим, мотивируя свое решение тем, что неприлично иметь действующую церковь в центре города, в котором когда-то возник первый в России Совет рабочих депутатов. Данный случай можно считать исключительным, но вообще отказы в передаче храмов верующим — явление широко распространенное, почти повсеместное (так, в Новосибирске власти не передают верующим храм Александра Невского), и вызывают они только одну реакцию — рост недовольства в народе и дальнейшее падение и без того сильно пошатнувшегося авторитета руководящих кадров.

А расстановка сил в народе, уровень его духовной зрелости — область почти неисследованная, публикаций по этим вопросам практически нет, если не считать обзоров (вроде напечатанного в четвертом номере журнала «XX век и мир» за 1989 г.) так называемой социологической службы, которые, как показал А. Салуцкий, имеют целью не столько изучение общественного мнения, сколько манипулирование им.

(Окончание следует)

Олег ПЛАТОНОВ

«О, РУСЬ, ВЗМАХНИ КРЫЛАМИ!..»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Какую дорогу мы выбираем?

«РАСКРЕСТЬЯНИВАНИЕ»

«С вековой тишиной русской деревни решительно покончено,— писал очевидец событий 1917 года,— происходит коренная ломка, великая переоценка ценностей всего и во всем.

Зажиточные, «справные» хозяева нервничают. Они режут не только скот, но и кур, так как ждут не то их конфискации, не то регистрации.

...Крестьянская психология того времени — богатых крестьян и немалой части середняков... колеблется и мечется между радостью, что помещичьи земли перешли к крестьянину, надеждой на какой-то неопределенный, неформулируемый, «свой», крестьянский порядок вещей и опасением, что эти достижения пойдут прахом, и опасением, что то новое, что начинает строиться, это не совсем понятное новое окажется не «своим», не коренным крестьянским».

Конечно, крестьян радовало, что им удалось получить землю на привычной им основе уравнительного землепользования по трудовой или потребительской норме. Крестьянская община на некоторое время ожила, шумели крестьянские сходы, на которых обсуждался вопрос о переделе земель. Чаще всего землю делили по количеству едоков, кое-где по числу работников или по дворам или путем прирезки земли хозяйствам бедных крестьян. Однако уже летом 1918 года начались тревожные процессы разрушения краеугольных принципов общины — самоуправления и трудовой демократии. В деревню направляются продотряды для изъятия якобы излишков хлеба, которых на самом деле не было. В 1917 году в армию было мобилизовано примерно сорок процентов работоспособного населения, что привело к значительному сокращению производства продукции сельского хозяйства.

Для поддержки продовольственных отрядов и установления в деревне новых порядков издается Декрет об организации комитетов деревенской бедноты из числа сельских пролетариев, полупролетариев, люмпен-пролетариев, бедняков и деклассированных элементов, снабжении их хлебом, предметами первой необходимости и сельскохозяйственными орудиями за счет других жителей деревни.

Членам комбеда, которые были равнодушны к интересам коренной деревни, предоставлялась значительная власть и множество привилегий, прежде всего право на бесплатное получение немалой доли зерна, изъятого у своих же односельчан. Сельский мир разделился на два лагеря: пролетарские и люмпен-пролетарские комбеды, поддерживаемые силой оружия, и собственно общину, полностью лишенную самоуправления, и потому бесправную.

На практике дело осуществлялось так. Приходил в деревню вооруженный до зубов продотряд. Собирались на собрание сельские пролетарии, полупролетарии, люмпен-пролетарии, бедняки. Из них руководство продотряда подбирало комбед. Члены комбеда (нередко настоящие деклассированные элементы) указывали продотрядовцам, у кого из сельчан есть зерно. Под угрозой оружия осуществлялось изъятие зерна, часть которого поступала в пользу комбеда. Нередко количество зерна, поступавшего в пользу комбедов, достигало половины. Например, в Усманском уезде Тамбовской губернии из реквизированных у крестьян шести тысяч пудов хлеба три тысячи поступили в пользу комбеда.

С начала 1919 года вводится система продразверстки, то есть принудительного изъятия у крестьян значительного количества продовольствия. Продразверстка обеспечивалась путем круговой ответственности волости и выполнялась любой ценой — даже если у крестьян не оставалось продовольствия на прокорм семьи. Всего было изъято 615 млн. пудов зерна. Свободная торговля хлебом была запрещена. Крестьяне, имевшие хлеб, но уклонявшиеся от сдачи его государству, объявлялись врагами народа и даже предавались суду ревтрибунала. В волостях было введено заложничество крестьян, отвечавших жизнью за немедленный сбор и передачу «излишков» хлеба.

По данным 33 губерний, в 1918 году было 315 тысяч членов комбедов и 117 тысяч коммунистов, членов сельских ячеек. В то время коммунистом мог стать безо всяких формальностей любой сельский пролетарий или бедняк.

За очень короткий срок комбеды огромным количеством злоупотреблений — произвольной конфискацией имущества, зерна и продуктов, бессмысленными арестами и жестоким обращением — сумели снискать к себе всеобщую ненависть коренного крестьянства и в начале 1919 года были официально распущены, хотя на

Окончание. Начало в «НС», 1989, № 7.

самом деле продолжали существовать под вывеской местных Советов.

Увлекшись конфискациями и карательными мерами, пролетарская власть на селе не сумела выполнить самого главного — подтолкнуть коренное крестьянство к обобществлению хозяйства. Несмотря на значительную поддержку и льготы, обобществить свои хозяйства вызвалось ничтожное число крестьян. К концу 1920 года в коллективные хозяйства и коммуны объединилась только 131 тыс. человек. Причем половина из них — горожане, бежавшие в деревню от голода. Число же коммунаров-крестьян составляло около 0,5 процента сельского населения [31].

В 1918 году были национализированы все денежные накопления, находившиеся в банках и кредитных учреждениях. В результате этого шага крестьянство потеряло сотни миллионов золотых рублей (в довоенных ценах). В том же году был принят Декрет о единовременном чрезвычайном налоге на городскую и сельскую буржуазию в размере 10 миллиардов рублей. Только по официальным данным, налогом было обложено 10—12 процентов сельского населения, хотя на самом деле еще больше. В деревни направлялась разнарядка, и под угрозой арестов, расстрелов, конфискаций крестьян вынуждали платить налог. Сбор налогов возлагался на комбеды, и они осуществляли его по своему усмотрению, порой обкладывая им даже неугодных бедняков.

Волюнтаристское поведение комбедов, массовые конфискации, реквизиции, грабительские налоги расстроили сельское хозяйство гораздо больше, чем военные действия. Вместе с тем сказывался огромный дефицит рабочей силы. Имея земли больше, чем до революции, крестьянство не было заинтересовано в расширении запашки, так как боялось конфискаций и реквизиций. В 1921 году производство зерновых составило всего 30 процентов от уровня 1913 года, а производство мяса снизилось почти в четыре раза [32].

Резко сократился доход на одно крестьянское хозяйство. Уровень жизни понизился почти наполовину. Изменился и социальный состав деревни. Значительная часть богатых, зажиточных и средних крестьян была разорена.

В 1920 году по уровню дохода на одно крестьянское хозяйство (если принять за критерий довоенный период) преобладающая часть крестьян могла быть отнесена к разряду бедняков и середняков, живших на границе прожиточного минимума.

Разруха и неустойчивость крестьянского хозяйства в гражданскую войну не создавали условий для накопления имущества и средств производства сельского населения. Изношенные сельскохозяйственные орудия почти не восстанавливались, ибо промышленность работала преимущественно на войну, а поголовье рабочего скота сокращалось. В результате этого количество сельскохозяйственного инвентаря, приходившегося на одно крестьянское хозяйство, снизилось, по самым ориентировочным оценкам, против довоенного наполовину [33]. Число голов скота снизилось примерно на треть. Железный плуг, получивший широкое распространение перед революцией, заменялся деревянной сохой.

В годы гражданской войны в результате военных действий, голода и эпидемии погибло около 7—8 млн. крестьян.

Сразу же после гражданской войны на крестьянство обрушились новые беды — неурожаи и голод. Такого голода Россия еще не знала за всю свою историю. По официальным данным, от голода и его последствий погибло около 5 млн. человек.

В 1921 году система насильственных изъятий результатов крестьянского труда — продразверстка — была заменена продовольственным налогом, который был значительно ниже продразверстки. Крестьянам разрешили свободно продавать произведенную продукцию. Ответственность за уплату продналога возлагалась на отдельного хозяина, и применявшаяся при разверстке предшествующих лет круговая ответственность волости отменялась. У крестьян появилась материальная заинтересованность, посевы стали расширяться, поголовье скота расти.

Большое значение для развития крестьянского хозяйства сыграло введение в действие закона, разрешившего аренду земли и применение наемного труда в единоличных крестьянских хозяйствах.

Налог на крестьянское хозяйство был дифференцирован в зависимости от размеров обрабатываемой земли. Богатые и зажиточные крестьяне облагались налогом иногда раз в 10 большим, чем маломощные и малоимущие. Но нужно сказать, что богатый и зажиточный крестьянин в 20-е годы — это всего лишь середняк по довоенному (1913 г.) уровню жизни. Пролетарские, полупролетарские и люмпен-пролетарские слои села от налога освобождались. В 1923—1924 гг. от уплаты продналога по СССР (без Туркестана и Закавказья) полностью или частично были освобождены 5,9 млн. хозяйств. Преобладающая часть налога падала на коренного крестьянина.

Кроме налога крестьяне были обязаны выполнять так называемые трудовые повинности. По разнарядкам «сверху» крестьян направляли на ремонт и строительство дорог и сооружений, заготовку дров, перевозку грузов на собственных лошадях и т. д.

Несмотря на разрешение денежного оборота, в первые годы нэпа крестьянство во многих местах не желало принимать обесцененные рубли. Торговля в деревне шла по реальному эквиваленту — на хлеб, на пуды, на фунты.

Крестьянам требовалось значительное количество промышленных товаров. Ис-

[31] История социалистической экономики СССР (далее ИСЭ СССР). Т. 1, с. 305, т. 2, с. 372.

[32] Ден В. Э. Экономическая география. с. 217, 367.

[33] ИСЭ СССР. Т. 2. с. 381.

пользуя положение крестьян, государство назначало на товары, необходимые крестьянскому хозяйству, непомерно высокие цены. Если в 1913 году, чтобы купить плуг, крестьянин продавал 20 пудов зерна, то в 1923 году — 150 пудов, покупка косилки обходилась соответственно в 150 и 847 пудов, жнейки — в 120 и 704 пуда [34].

Непомерно высокие цены на промышленные товары были новой формой косвенного налога для крестьянства, которое в значительной своей части оказалось не в состоянии покупать промышленные товары, что сдерживало производительность их труда и ухудшало уровень жизни.

В 1923—1924 гг. отпускные цены на изделия промышленности были снижены на 25 процентов, но оставались очень высокими. Напротив, заготовительные цены на сельскохозяйственные товары государство устанавливало на низком уровне. С 1924 года существовали так называемые лимитные цены, выше которых государственные и кооперативные заготовители не имели права платить.

Ставка на пролетарские, зачастую деклассированные, оторвавшиеся от крестьянского труда слои сельского населения, унижение подлинных крестьянских тружеников — позволяли этим случайным в сельском хозяйстве людям вести паразитический образ жизни. М. Калинин отмечает характерную черту этого периода: «...около власти такая беднота, которая прикрывается ее флагом для своих частных интересов. Беднота формальная. Оглянитесь кругом села или волости: кому попала реквизированная изба, корова, имущество совхозов? Вам перечислят по пальцам, что самое ценное заполучили довольно далекие от Советской власти элементы. Да и реквизиции-то подвергалась иногда действительная беднота. Пример: старуха — ее сыновья погибли на фронтах — осталась одна в двух пустых избах, от нее берут избу и дают молодцу, который удачно ускользнул с боевой линии, у него действительно не было избы. Сейчас старуха ходит по миру, а цепкий крестьянин пробивается в середняки и выше» [35].

Демагогические заявления о крестьянской демократии не могли ввести крестьян в заблуждение, ибо они отчетливо видели, что в Советы депутатов вводились фактически без права замены преимущественно пролетарские или люмпен-пролетарские элементы. В 1925 году во многих местах процент участия крестьян в выборах составлял не более 14-ти всего сельского населения [36]. Несмотря на активную пропаганду и значительную материальную поддержку, колхозное движение также не пользовалось популярностью среди крестьян. Если число колхозов за 1921—1925 гг. возрастало, то в 1926—1927 гг. стало снижаться. Значение колхозов в сельском хозяйстве было ничтожным. В 1924—1925 гг. валовая продукция колхозов составляла всего один процент валовой продукции сельского хозяйства. В 1925—1926 гг. государству удалось заготовить только половину товарного хлеба, необходимого стране. Это объясняется введением такого высокого соотношения цен на промышленные и сельскохозяйственные товары, что крестьянину стало невыгодно продавать свою продукцию заготовительным организациям. Правительство же посредством введения низких закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию и высоких цен на сельскохозяйственные машины фактически безвозмездно изымало средства крестьян для использования в своих целях.

В 1927 году почти треть крестьянских дворов была лишена средств производства, необходимых для ведения самостоятельного хозяйства. Так, 28,3 процента крестьянских хозяйств не имели рабочего скота, 31,6 процента — пахотного инвентаря.

В 1928—1929 гг. в РСФСР 56 процентов крестьянских хозяйств имели доход до 250 рублей [37], что ниже дохода бедных крестьян в 1913 году.

Таким образом, удельный вес бедных и маломощных крестьян по сравнению с дореволюционным периодом увеличился в 2—2,5 раза, на тринадцать процентов сократилось число середняков.

В 1928—1929 гг. доход свыше 700 рублей (в ценах этих лет) получали около двух процентов крестьянских хозяйств [38] с численностью населения примерно 1,8 млн. человек, которые могли считаться богатыми и зажиточными, то есть в 10—12 раз меньше, чем их было в довоенный период.

Тем не менее в 1928 году официальная статистика относила к числу «кулаков», то есть зажиточных и богатых крестьян, 5,6 млн. человек [39].

...В августе 1942 года между Черчиллем и Сталиным произошла беседа, в которой последний выразил официальную точку зрения на коллективизацию в нашей стране.

«— Политика коллективизации была страшной борьбой,— сказал Сталин.

— Я так и думал, что для вас она была тяжелой. Ведь вы имели дело не с несколькими десятками тысяч аристократов или крупных помещиков, а с миллионами маленьких людей...

— С десятью миллионами,— сказал Сталин, подняв руки.— Это было что-то страшное, это длилось четыре года. Чтобы избавиться от периодических голодовок, России было необходимо пахать землю тракторами. Мы были вынуждены пойти на это. Многие крестьяне согласились пойти с нами. Некоторым из тех, кто упорствовал, мы дали землю на Севере

[34] ИСЭ СССР. Т. 2, с. 41.

[35] Калинин М. Вопросы советского строительства. М., 1958, с. 174.

[36] Там же, с. 265

[37] Залесский М. Я. Налоговая политика Советского государства в деревне. М., 1940. с. 82.

[38] Следует также учитывать, что до 30 процентов дохода этих категорий хозяйств изымалось в виде налога.

[39] Социалистическое строительство в СССР. Статистический ежегодник. М., 1938. с. XXX.

для индивидуальной обработки. Но основная их часть была весьма непопулярна и была уничтожена самими батраками...» («Октябрь», 1988, № 11, с. 101).

В этом признании обнажен подлинный механизм происходящего процесса коллективизации и методы ее проведения.

Сущность новых взаимоотношений государства с крестьянством в основном сводилась к созданию сельскохозяйственных предприятий (колхозов), руководимых безоговорочными сторонниками бюрократическо-административной власти, и беспощадным подавлением всех несогласных. Все антиколхозные настроения и выступления крестьян юридически признавались контрреволюционными и подпадали под действие уголовного кодекса, принятого в октябре 1929 года.

Вновь создаваемым сельскохозяйственным предприятиям предоставлялись различные налоговые, финансовые и кредитные льготы, дешевая аренда, сельхозинвентарь и машины, давались лучшие земли, а также имущество, конфискованное у крестьян, несогласных с колхозной политикой.

С другой стороны, крестьяне, которые не соглашались вступать в колхоз, объявлялись «кулаками» или «подкулачниками» и к ним применялись суровые репрессивные меры.

Уровень дохода, получаемого от видов деятельности, признаваемых «кулацкими», был чрезвычайно низок (151—201 руб.). Ведь если взять нижнюю границу семейного дохода, то на каждого члена крестьянской семьи (из 5—7 человек) придется всего лишь по 20—40 рублей в год.

К началу 1928 года государственными учреждениями было заготовлено 300 млн. пудов зерна против 428 млн. пудов в 1927 году [40]. Большинство крестьян не желало продавать хлеб государству по низким заготовительным ценам, а везло его на рынок, где устанавливались более справедливые цены.

Для того чтобы взять хлеб у крестьян, был принят ряд чрезвычайных мер.

Нежелание крестьян продавать хлеб государству объявлено «кулацким саботажем», хотя на долю зажиточных и богатых крестьян приходилось не более пятой части производимого ими товарного хлеба [41]. Репрессиями, напоминавшими годы гражданской войны, в результате которых осуществлялась конфискация хлеба, были затронуты широкие слои крестьянства. Поощрялось доносительство на односельчан — держателей хлеба. За это было обещано 25 процентов конфискованного хлеба. Такая практика усугубляла паразитизм определенной части деревни и исподволь продолжала разрушать деревенскую общину.

Налогообложение зажиточных крестьян в 1928 году начинает производиться не по установленным нормам, а в так называемом индивидуальном порядке. «Индивидуальный порядок» налогообложения допускал самый беззастенчивый и бесконтрольный произвол местных властей, которые подчас облагали зажиточных крестьян такими налогами, что, для того чтобы расплатиться, они были вынуждены продавать часть своего имущества. В 1928 году в индивидуальном порядке было обложено 890 тыс. зажиточных и богатых крестьянских хозяйств.

В марте 1928 года вышло постановление «О землепользовании лиц, существующих на нетрудовые заработки». По этому постановлению богатые и зажиточные крестьяне лишились права распоряжаться землей на началах трудового землепользования и у них была изъята большая часть земли.

В конце 1928 года был принят новый закон, который сильно ограничил возможности арендовать землю и использовать наемный труд в индивидуальных хозяйствах зажиточных крестьян.

Новый закон о земле предоставлял сельским Советам, руководимым партийными ячейками, право приостанавливать или отменять решения общих собраний (сходов) земельных обществ, которые не соответствовали распоряжениям верховных органов или якобы «нарушали интересы» бедных крестьян. Таким образом, сельские Советы, послушные бюрократии, ставились выше всех членов земельных обществ, объединявших все крестьянские дворы, а также лиц, не входящих в состав дворов, но участвующих своим трудом в сельском хозяйстве данного общества (батраки, пастухи, кузнецы и др.).

Зажиточные и богатые крестьяне, а также часть среднего крестьянства, лишались избирательных прав в Советы, не имели права решающего голоса и не могли быть избраны в выборные органы. Так значительная часть крестьян была лишена элементарных демократических прав и механически поставлена вне общества.

В дальнейшем специальным постановлением ЦК ВКП(б) (июнь 1929 года) зажиточные крестьяне были лишены права голоса во всех видах кооперации.

Грабительские налогообложения, конфискация имущества, лишение избирательных прав, прямой террор всколыхнули крестьянство. По всей стране прокатились крестьянские выступления за свои права. Только в конце 1928 — начале 1929 года был зарегистрирован 5721 случай крестьянских выступлений, официально именуемых кулацкими [42]. Наибольшая крестьянская активность наблюдалась в районах, производящих зерно. Крестьянские выступления подавлялись органами ОГПУ, а их участники арестовывались и заключались в лагеря.

В этот период начинается активная «высылка» наиболее деятельных крестьян на острова ГУЛАГА.

Наступление на крестьянство сразу же сказалось на результатах его хозяйствования: прирост посевных площадей в 1926 году составил 5,9 процента, в 1927-м — 1,9 процента, в 1928-м — 0,5 процента. В 1928 году приостановился рост поголовья скота, а поголовье крупного рогатого скота и свиней уменьшилось по сравнению с 1927 годом соответственно на 3,2 и 11,8 процента.

Несмотря на создание невыносимых условий для ведения индивидуального крестьянского хозяйства, на усиленный административный нажим и прямые репрессии, организация колхозов шла не такими темпами, какие были задуманы бюрократией.

С середины 1929 года административный нажим на крестьянство резко усиливается, начинается так называемая массовая коллективизация.

В мае 1929 года Совнарком СССР издал постановление, в котором подтвердил официальные определения основных признаков крестьянских хозяйств, относимых к кулацким. Сюда включалось систематическое применение наемного труда в сельском хозяйстве или в кустарных промыслах, наличие мельницы, маслобойки, крупорушки и других устройств с механическими двигателями, водяной или ветряной мельницы, систематическая сдача внаем постоянно или на сезон отдельных оборудованных помещений под жилье или предприятие, занятие торговлей, ростовщичеством и другие «нетрудовые доходы» (включая служение культу). Таким образом, любая энергичная и предприимчивая крестьянская деятельность подпадала под ярлык «кулачества» и подлежала выкорчевыванию (выражение И. Сталина).

В 1929 году многие крестьяне продолжали отказываться продавать хлеб государству по ценам, в 2—3 раза более низким по сравнению с рыночными.

Власти принудительно заставляли крестьян сдавать хлеб по низким государственным ценам в порядке самообязательства всем селом.

В июне 1929 года в РСФСР (в июле на Украине) специальным постановлением было разрешено сельским Советам в тех случаях, когда общим собранием граждан (сельским сходом) принято решение о выполнении в порядке самообязательства всем селом хлебозаготовительного плана и в связи с этим произведена раскладка задания между отдельными хозяйствами, налагать на отдельных хозяев, не выполняющих указанных решений и уклоняющихся от сдачи хлеба, штрафы в административном порядке, в пределах до пятикратного размера стоимости подлежащего сдаче хлеба, с применением в случае необходимости продажи с торгов имущества соответствующих лиц. Из суммы штрафа 25 процентов отчислялись бедным крестьянам и 75 процентов — в распоряжение государства. Такое постановление означало, что крестьянин перестал быть хозяином своего труда.

Так называемые добровольные самообязательства о выполнении плана заготовок всем селом были обязательными разнарядками, невыполнение которых строго каралось. На общем собрании крестьянам предлагалось проголосовать «за». В противном случае присутствовавшие на собрании сотрудники карательных органов могли арестовать несогласных. Поэтому самообязательства после «небольшой работы» со стороны административных и карательных органов принимались.

Крестьяне, прятавшие хлеб, подвергались судебному преследованию с лишением свободы до трех лет с полной или частичной конфискацией имущества.

В конце 1929 года была создана специальная комиссия Политбюро ЦК, а в январе—феврале 1930-го издаются специальные постановления партийного и правительственного органов по вопросам ликвидации хозяйств зажиточных и богатых крестьян и по колхозному строительству.

Хозяйства зажиточных и богатых крестьян и «подкулачников» делились на категории, к которым рекомендовалось применять дифференцированные меры подавления (отдача под суд вплоть до расстрела, высылка, переселение).

К первой категории относили крестьянский «контрреволюционный» актив, который подлежал изоляции в трудовые лагеря. Для особо активных крестьян предусматривалось физическое уничтожение. Выявление и удаление крестьян первой категории возлагалось на органы НКВД.

Ко второй относился просто крестьянский актив (богатые и зажиточные крестьяне). Таких крестьян выселяли в отдаленные местности страны. Границы между первой и второй категориями были очень расплывчатыми.

К третьей группе относились хозяйства всех остальных зажиточных крестьян и «подкулачников». Их предполагалось выселять в пределах своих районов на самые худшие земли. Но на практике их также выселяли в самые отдаленные места России.

Официально предполагалось «раскулачить» не более 5 процентов крестьянских хозяйств в зерновых районах, 4,3 процента — в незерновых. Цифры эти были, однако, значительно превзойдены.

Независимо от категории названных выше крестьянских хозяйств, их имущество: инвентарь, дом, земля и др.— подлежало обязательной конфискации в пользу образующегося колхоза.

У крестьянских хозяйств с доходом 500 рублей (по довоенным критериям доход середняков) изымалось 60 процентов созданного продукта. А при доходе в 1500 рублей налоговые платежи превышали весь доход крестьянского хозяйства, и у крестьян изымалась часть имущества, орудий и средств производства. В этих условиях ведение индивидуального крестьянского хозяйства теряло всякий смысл.

Чрезмерная величина налогообложения индивидуального крестьянства видна при сравнении с налогообложением колхозных дворов. В 1931 году на один колхозный двор приходилось три рубля сельхозналога, на одно индивидуальное

[40] Сталин И. Соч., т. II, с. 10.
[41] ИСЭ СССР. Т. 3. с. 324.
[42] Ивницкий Н. А. Классовая война в деревне... М., 1972, с. 98.

крестьянское хозяйство, малоимущее или среднее, — более 30 рублей, а на одно зажиточное или богатое крестьянское хозяйство — почти 314 рублей [43].

Индивидуальные крестьянские хозяйства облагались также твердыми заданиями по основным видам заготовок сельскохозяйственных продуктов по низким закупочным государственным ценам. Особое значение имели твердые задания по хлебозаготовкам.

Крестьянские хозяйства, не выполнившие эти твердые задания, подвергались репрессиям. Имущество подлежало продаже, а сами крестьяне выселялись в отдаленные районы.

Увеличилось число крестьян, лишенных избирательных прав. В некоторых районах страны избирательных прав были лишены 20—25 процентов крестьян.

Развязав настоящую войну против крестьян, административная система запретила самостоятельное переселение и распродажу собственного имущества под угрозой полной конфискации. На многих дорогах, станциях, вокзалах были организованы специальные заградительные посты в отряды, состоявшие из регулярных войск, милиции, НКВД, партийного и комсомольского актива.

В считанные сутки крестьянскую семью, подвергнутую «раскулачиванию», сажали на поезд в товарные вагоны и посылали далеко за пределы родных мест в необжитые районы Севера, Урала, Сибири, Казахстана. По дороге многие умирали.

Всего за четыре года «коллективизации» в отдаленные районы было выселено около 300 тыс. крестьянских семей [44], то есть около 1,5 млн. человек.

Эти данные преуменьшены во много раз и, по-видимому, соответствуют общему числу высланных крестьян, размещенных в необжитых районах страны, в спецпоселках, созданных при рудниках, шахтах, строительстве дорог и др. Однако через спецпоселки прошла только сравнительно небольшая часть крестьян [45]. Кроме того, названная цифра, естественно, не включала крестьян, заключенных в трудовые лагеря и тюрьмы.

По данным советских источников, 400 тыс. крестьянских хозяйств (2,24 млн. человек) были подвергнуты «раскулачиванию», то есть конфискациям и высылке до осени 1930 года. Около 350 тыс. крестьянских хозяйств были «раскулачены» и в последующие годы [46]. Всего только за два года (1930—1931) было «раскулачено» 569,3 тыс. крестьянских хозяйств [47]. В 1933 году число «кулацких» хозяйств составляло не более 50 тыс. [48]. Около 250 тыс. крестьянских хозяйств «самораскулачились», бросили свое имущество и бежали в города и промышленные центры [49].

В первые месяцы 1930 года доля крестьянских хозяйств, принужденных к вступлению в колхозы, увеличилась с 3,9 до 56 процентов, то есть в 14,4 раза [50].

Некоторое ослабление нажима на крестьянство весной и летом 1930 года вызвано страхом административной системы перед охватившей всю Россию крестьянской яростью. Конец 1929-го — начало 1930 года по размаху крестьянских волнений напоминал гражданскую войну. В результате партийные и государственные органы пошли на некоторое отступление и послабление, вследствие чего преобладающее число крестьян, насильно «загнанных» в колхозы, вышли из них. По сравнению с весной 1930 года удельный вес коллективизированных крестьянских хозяйств снизился с 56 до 23,6 процента.

Собравши силы, во второй половине 1930 года административная система вновь усилила нажим на крестьянство, и в 1931 году в колхозы вошло до 52,7 процента, а в 1932 году до 61,5 процента крестьянских хозяйств [51].

Имущественной основой вновь организуемых колхозов явилось конфискованное имущество «раскулаченных» крестьян. Доля конфискованного имущества в неделимых фондах достигала 40 процентов. Всего конфисковано и расхищено у «раскулаченных» крестьян на сумму около 5 млрд. рублей.

Полной ясности, как объединяться в колхозы и как в них хозяйствовать, ни у кого не было. При коллективизации, как правило, полностью обобществлялись все земельные угодья, нередко даже приусадебные участки. Обобществлялся весь сельскохозяйственный инвентарь, рабочий скот, а часто и продуктивный скот. При отсутствии общественных помещений скот оставлялся у владельцев под сохранные расписки. Допускалось пользование лошадьми и для личных целей в свободное от работы в колхозе время.

Подсобное хозяйство колхозников допускалось как временная мера. В будущем предполагалось полное обобществление имущества крестьян вплоть до жилых построек.

Обобществленные сельскохозяйственный инвентарь, рабочий и продуктивный скот и т. п. у крестьян, вошедших в колхозы, фактически становились одним из видов собственности государства. В постановлении ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. общественная собственность — государственная и так называемая колхозно-кооперативная — объявлялась основой колхозного строя. Имущество колхозов и кооперативных организаций (урожай на полях, общественные запасы, скот, кооперативные склады и магазины и т. д.) было приравнено по своему значению к государственному

[43] Залесский М. Я. Налоговая политика... М., 1940. с. 98.
[44] Ивницкий Н. А. Указ. соч.. с. 298—299.
[45] Трифонов И. Я. Ликвидация эксплуататорских классов в СССР. М., 1975, с. 371.
[46] Ивницкий Н. А. Указ. соч., с. 245.
[47] Сидоров В. А. Ликвидация в СССР кулачества как класса. — «Вопросы истории», 1968. № 7. с. 34.
[48] Ивницкий Н. А. Указ. соч., с. 299

[49] Ивницкий Н. А. Указ. соч., с. 245.
[50] Там же. с. 198.
[51] ИСЭ СССР. Т. 3. с. 377.

имуществу. За использование колхозной собственности в личных целях, а также за расхищение ее были назначены строжайшие кары.

В период коллективизации осуществляется одно из самых страшных преступлений сталинизма — уничтожается существовавшая с глубокой древности русская крестьянская община. Община ликвидировалась, когда две трети ее членов загонялись в колхоз. Все сельскохозяйственные земли и имущество общего пользования передавались в колхоз, а несельскохозяйственные земли и имущество, предприятия и общественные здания переходили к сельским Советам. Однако нет более нелепого представления о том, что колхозы явились наследниками общины. Нет, колхозы возникли на развалинах общины и являлись ее антиподом, ибо колхозы были организациями принудительного и зачастую почти бесплатного труда, тогда как труд в общине носил свободный, самостоятельный и инициативный характер. Полностью уничтожалось самоуправление, испокон веков существовавшее в общине.

В 30-е годы государство устанавливает твердый контроль над всеми крестьянскими хозяйствами, как общественными, так и единоличными. Все они получают централизованно разработанные плановые задания, являющиеся и для колхозников, и для единоличников строго обязательными. Заготовительные цены на сельскохозяйственные продукты устанавливались государством в три и более раз ниже себестоимости продукции, не возмещали понесенных затрат и вели к убыткам. Экономические отношения между крестьянством и государством были в значительной степени натурализованы.

Система контрактаций сельскохозяйственных продуктов, а также обязательной поставки их по плану посева этих культур, действующая в 30-е годы, заменяется в 1940 году жесткой системой обязательных поставок с каждого гектара земли, принадлежащей колхозу или находящейся в распоряжении самостоятельного крестьянина. За колхозами закреплялись и неосвоенные земли, подлежащие государственному плану освоения путем распашки целины, осушки болот и т. п.

Обязательные поставки колхозами и индивидуальными крестьянами молока, кожевенного сырья, яиц также устанавливались по нормам, исчисляемым с каждого гектара земельной площади. В соответствии с земельной площадью, закрепленной за колхозами, устанавливается обязательный минимум разведения и выращивания колхозами лошадей, годных для армии. Закупочные и заготовительные цены были по-прежнему низкими, поэтому обязательные поставки являлись скорее продразверсткой, чем деловыми отношениями. Спускаемые сверху планы обязательных поставок носили произвольный характер, ибо экономического обоснования планов практически не было.

При таком порядке колхозы и отдельные крестьяне были вынуждены заниматься производством сельскохозяйственной продукции, не отвечающей их профилю и экономической возможности. Планирующий орган не нес никакой ответственности за навязываемые планы, а колхозы и отдельные крестьяне не имели никакого отношения к планированию.

Убытки, которые неизбежно несли колхозы в результате этой системы, ложились на плечи колхозников и никак не компенсировались планирующими органами, виновными в этих убытках.

Таким образом, централизованное планирование колхозного хозяйствования вело к неизбежным плановым убыткам, покрывать которые было некому, кроме самих колхозов. В результате этого колхозам приходилось для выполнения спущенных сверху директивных плановых заданий, для сбалансирования своего бюджета все недостачи относить за счет фонда потребления, то есть за счет снижения жизненного уровня крестьян, работающих в колхозе.

Такое положение узаконивалось государственными органами. В постановлении 1 августа 1940 года «Об уборке и заготовке сельскохозяйственных продуктов» колхозам было указано распределять свою продукцию по трудодням между колхозниками только после выполнения плана обязательных поставок и засыпки семян для посева урожая будущего года, создания на случай неурожая страховых семенных, продовольственных и фуражных фондов в определенных размерах (в процентах от годового потребления в зависимости от района).

Как показывают данные, оплата труда в сельском хозяйстве была крайне низка. Даже в высокоурожайном 1937 году в колхозах ряда областей выдача зерна была меньше 2 кг на трудодень, то есть на одного человека в день из расчета семьи в 6 человек (при условии, что все работоспособные члены семьи работают) приходилось 180 г зерна в день. Таких колхозов было, по официальным данным, 29 процентов. Около 12 процентов колхозов не выдавали денег на трудодни [52].

Спасением для крестьян являлась работа на личных приусадебных участках. Эти участки, занимавшие незначительный процент сельскохозяйственных угодий, давали 28 процентов всей валовой продукции сельского хозяйства [53].

Несмотря на высокие налоги на продукцию личного подсобного хозяйства и обязательные поставки молока, мяса, картофеля, взимаемые с личного крестьянского хозяйства, крестьяне не расставались с личными участками и готовы были даже расширить их. Однако в 1939 году вышло постановление, которое предписывало произвести в колхозах специальный обмер приусадебных земель и все «излишки» изъять из личного пользования и прирезать к общественным колхозным землям. В постановлении так-

[52] ИСЭ СССР. Т. 4, с. 331.
[53] Социалистическое сельское хозяйство Союза ССР. М. — Л., 1939. с. 87.

же указывалось, что колхозники, допускающие сдачу приусадебных участков в аренду, подлежат исключению из колхоза с лишением их приусадебных участков[54].

Количество трудодней, которое необходимо было отработать в колхозе, возросло со 148 в 1933 году до 254 — в 1940-м. Законодательно было установлено, что житель сельской местности (колхозник или единоличник) обязан бесплатно отработать на ремонте и строительстве дорог 6 дней в году и предоставить на тот же срок в распоряжение дорожных органов принадлежащие ему живую тягловую силу, гужевой транспорт, инструменты и инвентарь[55]. Колхозники и прочее сельское население привлекались не только к строительству и ремонту дорог, но использовались и на лесозаготовках, различных видах строительства и т. п.

В результате социальных экспериментов 20 — 30-х годов произошло невиданное доселе крушение традиционной крестьянской культуры, народных основ, традиций и идеалов, накопленных многими поколениями крестьян. Однако было бы в корне неверным утверждать, что крестьянская культура погибла безвозвратно. Конечно, она не погибла, а деформировалась и ушла на периферию крестьянского сознания, так или иначе проявляя себя в повседневной жизни.

Страшная война с германскими захватчиками показала огромную нравственную силу русского крестьянина, взвалившего на себя, по образному выражению Ф. Абрамова, всю Советскую державу. В годы войны на государственном обеспечении постоянно находилось до 80 миллионов человек, многочисленная армия. Потеря значительной части территории, недостаток, а во многих случаях почти полное отсутствие техники, использование ручного труда, преимущественно женщин, стариков и подростков, сказались на результатах сельскохозяйственного производства. Несмотря на тяжелый и упорный труд крестьян, уровень сельскохозяйственного производства в 1942 — 1943 годах составлял только 37 — 38 процентов уровня 1913 года. Величайший подвиг крестьянства состоял в том, что в годы Великой Отечественной войны, вырастив зерна на 43 процента меньше, чем в годы первой мировой войны, они сдали его государству в три раза больше, чем в 1914 — 1917 годах. И все это в условиях трехкратного сокращения (по сравнению с довоенным) уровня крестьянского потребления. Кора, мох, коренья, картофельная шелуха стали неотъемлемой частью рациона российского крестьянина. Да! Сравнительные данные показывают, что ни один из других социальных слоев тогдашней России не принял на себя столь тяжелых испытаний, как крестьянство. Они показали огромную физическую и моральную стойкость русского крестьянина, его высокий национальный патриотизм в борьбе с врагом.

Время, наступившее сразу после войны, было периодом какого-то радостного облегчения. Неимоверные испытания кончились — наступило расслабление. Возвращались мужчины из армии. Жизнь входила в свое русло.

Однако в первые послевоенные годы никаких существенных изменений в сельском хозяйстве не произошло.

По-прежнему существовала практика обязательных поставок и заготовок, а также крайне низкие заготовительные цены, сохранившиеся еще с 30-х годов. Так, например, во многих колхозах производство центнера картофеля обходилось в сорок рублей, а заготовительная цена была три рубля. Производство практически всех сельскохозяйственных продуктов по заготовительным ценам было убыточно.

Особенно сильно это касалось зерна, мяса крупного рогатого скота, свинины и молока.

В первые послевоенные годы нередко имели место реквизиции у крестьян личного скота для колхозов и совхозов по низким ценам. Отказ от продажи вел к уголовному преследованию.

Поголовье крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве крестьянина снизилось с 28,5 млн. до 24,8 млн. голов.

Примерно каждая третья-четвертая крестьянская семья не имела коровы. А это означало, что семья не имела молока. Купить его было практически негде, так как имевшие коров крестьяне обязаны были сдавать большую часть молока государству.

Первые радостные послевоенные месяцы сменились для деревни новым горем — страшным неурожаем и голодом. Десятки, сотни тысяч крестьян (по словам очевидцев) умерли в это время.

Крестьянство и после войны было обложено огромными налогами. Об этом периоде В. Солоухин пишет: «Брали налоги за каждую яблоню или за каждое вишневое дерево — и деревья вырубались с корнем, чтобы за них не платить. С лица земли исчезли целые сады. Брали налог за корову — и коровы поредели, деревенское стадо состояло почти из одних коз». Кстати, в народе козу называли сталинской коровой.

Общественное хозяйство в эти годы не могло выйти из глубокого кризиса. Производство почти всех видов продукции было ниже довоенного. Очень низка была производительность труда. Дисциплина в колхозах поддерживалась главным образом установлением обязательного минимума трудодней. В 1948 году среди колхозников распределялось по трудодням всего лишь 16 процентов валового сбора зерновых и бобовых, в Центрально-Черноземной области и Поволжье эта доля была еще меньше — 10,2 процента[56]. В 1950 году свыше половины колхозов выдавали колхозникам на день

[54] Экономическая жизнь СССР, с. 360.

[55] Постановление ЦИК и СНК СССР «О трудовом участии сельского населения в строительстве и ремонте шоссейных и грунтовых дорог». С. З. 11—88.

[56] [illegible] СССР, т. 6, с. 116.

меньше одного килограмма зерна. И по-прежнему 67 процентов общего производства мяса, 75 процентов молока, 89 процентов яиц производилось крестьянами на своих личных участках, хотя значительную долю этой продукции приходилось за бесценок отдавать государству в счет обязательных поставок.

В конце 40-х — начале 50-х годов деревня продолжала влачить полунищенское существование.

Молодежь под разными предлогами из деревни убегала. На селе оставались работать старики, инвалиды, женщины, составлявшие три четверти всей рабочей силы деревни.

Продолжавшаяся политика раскрестьянивания дала страшные плоды — были подорваны и деформированы все основные устои крестьянского хозяйствования: вместо самостоятельного и предприимчивого труда — окрик и административная накачка, вместо самоуправления и трудовой демократии — мелочная опека и разнарядка сверху, вместо справедливого вознаграждения — внеэкономическое присвоение созданного крестьянином продукта, вместо прямой связи с землей и результатами труда — отчуждение крестьянина от земли и результатов своего труда.

Экономическое положение сельского хозяйства в середине 50-х годов было катастрофическим. Уровень использования трудового потенциала крестьянского населения снизился примерно в четыре раза по сравнению с дореволюционным, производство основных видов продукции было ниже 1913 года, феодальная эксплуатация крестьян посредством неполной оплаты их труда завела деревню в глубокий тупик. Всем было ясно, что дальше так жить нельзя.

Однако даже в этих катастрофических условиях политика раскрестьянивания отменена не была. Порочная троцкистско-сталинская система организации сельского хозяйства, делающая из крестьянина рабочего «от сих до сих», отрывающая его от земли и результатов своего труда, осталась практически без изменений. Вся «мудрость» хрущевских реформ свелась к технико-организационным мероприятиям и повышению оплаты труда и цен на сельскохозяйственную продукцию.

За 1953 — 1959 годы заготовительные и закупочные цены на продукцию колхозов были повышены в три раза, а по отдельным продуктам в 10 — 12 раз и выше.

Чтобы привлечь крестьян к работе в колхозах и совхозах, были внесены изменения в систему оплаты их труда. В 1953 году было рекомендовано колхозам выдавать колхозникам из средств, поступающих от реализации скота и продуктов животноводства, денежные авансы ежеквартально в размере 15 процентов на все трудодни, выработанные в общественном хозяйстве в истекшем квартале, и, кроме того, до 10 процентов на кормодобывание. В марте 1956 года было принято решение «О ежемесячном авансировании колхозников и дополнительной оплате труда в колхозах», в котором рекомендовалось на эти цели расходовать не менее 25 процентов денежных доходов, полученных от всех отраслей общественного хозяйства, и 50 процентов денежных средств, полученных в виде авансов по контрактации, закупкам и обязательным поставкам сельскохозяйственной продукции.

В колхозах стали создаваться переходящие денежные и продовольственные фонды, позволяющие в определенной степени гарантировать регулярную оплату труда.

В 1953 году были снижены нормы обязательных поставок сельхозпродуктов, а в 1954-м отменены обязательные поставки зерна с личных подсобных хозяйств. Но полностью отменены обязательные поставки с личных огородов лишь в 1958 году.

Повышение оплаты труда, отмена обязательных поставок самым положительным образом сказались на дальнейшем развитии крестьянства. Деревня вздохнула с некоторым облегчением. Наметилось некоторое улучшение качества культурной, духовной жизни.

В середине 70-х годов по сравнению с серединой 50-х годов оплата труда колхозникам возросла в сопоставимых ценах примерно в четыре раза, а работникам совхозов в три раза; и все же она значительно отставала от оплаты труда в промышленности.

Между тем, как это ни парадоксально, процесс раскрестьянивания продолжался, и более того — усилился. Побывавший в Америке Хрущев с восторгом воспринял местный опыт организации крупных сельскохозяйственных комплексов и стал его повсеместно слепо-механически насаждать у нас в стране (пресловутая кукуруза была в его планах только эпизодом, отражающим его некритический подход к зарубежному опыту).

Продолжался и начатый еще при Сталине процесс механического укрупнения хозяйств. Если в 1945 году у нас было 222 тысячи колхозов, то перед смертью Сталина 124 тысячи, а после смещения Хрущева — 38 тысяч (при Брежневе 26 тысяч). Наученные горьким опытом колхозники «единогласно» поднимали руки и за соединение колхозов, и за превращение их в совхоз, где колхозная собственность по каким-то «высшим юридическим законам» превращалась в государственную.

Но для такого механического укрупнения хозяйств необходима была и другая структура расселения крестьянского населения, совсем не совпадавшая с исторически сложившейся.

И как всегда, административно-бюрократическая система проигнорировала коренные интересы крестьян, тот факт, что предки этих крестьян жили на этой земле столетиями, были связаны с ней своими корнями, могилами дедов и отцов, сложившимся традиционным укладом жизни. Механически укрупненные населенные пункты должны были обслуживать столь же механически объединен-

ные хозяйства, а сотни тысяч небольших сел и деревень были обречены погибнуть навсегда. Нашлись и ученые, которые услужливо «научно» обосновали это чудовищное мероприятие.

Один из главных защитников псевдонаучной концепции укрупнения сельских населенных пунктов и сселения якобы неперспективных деревень член-корреспондент (ныне академик) Т. Заславская писала в 1970 году: «Необходима активная целенаправленная работа по сселению мелких и мельчайших поселков... Задача заключается главным образом в том, чтобы найти оптимальные формы и методы сселения мелких поселков и благоустройства крупных сел, придать этому процессу планомерный и организованный характер... По нашим расчетам, не менее половины существующих сельских поселков, где проживает до 30 процентов населения, со временем должны быть ликвидированы или превращены в пункты сезонного пользования, а население их должно быть организованно переселено в перспективные села» (Миграция сельского населения. М., 1970, с. 292—293).

А что это означало на практике? Прежде всего усиление миграции крестьян в город. По плану крестьян сселяют из небольших деревень в более крупный сельский пункт, но в реальности иначе. Молодежь обычно просто уезжает в город, а в укрупненные пункты переезжают пожилые люди. Вот характерный пример — старинное село Грибцово Вологодской области.

«Была в Грибцове пекарня. Ежедневно обеспечивала свежим хлебом все деревни сельсовета. Закрыли пекарню, стали завозить хлеб из райцентра, сначала три раза в неделю, а, к примеру, перед первомайскими праздниками — вообще на неделю вперед. И мало того, что хлеб черствеет, он еще и плохо выпеченный. Всегда хуже, чем тот, которым торгуют в районном центре. Веден ассортиментом и наш единственный на 27 деревень магазин... Редко заглядывают к нам механики телевизионных ателье: только когда по деревням накопится пять-шесть требующих ремонта телевизоров. Вот и ждешь неделями. Нелегко у нас починить и стиральную машину, и заказать в районной мастерской пальто, обувь.

...Урезывают нам всякое обслуживание, и в том числе культурное. Лекции в сельском Доме культуры теперь бывают раз в полгода, а остальное время только кино. И вполне понятно, что молодежь по-своему, «ногами», реагирует! За последние восемь лет население сельсовета, и в основном за счет молодежи, убавилось с 560 человек до 325-ти. Из трех школ закрыли две начальные. Да и школа — восьмилетка. Грибцово, имевшее когда-то до 300 учеников, теперь насчитывает 50. Закрылась школа, детей отправляют в интернат, а следом, глядишь, и родители уехали, и ферма закрывается.

А что это значит — ушел человек с земли? Это значит, что из производителя сельскохозяйственной продукции он автоматически превращается в потребителя. А земля, с таким трудом отвоеванная, мало-помалу выпадает из оборота. Больно смотреть, как возле брошенных деревень зарастают кустарником, выходят из сельскохозяйственного оборота земли, добытые, что называется, потом. Сколько участков пашни вокруг Грибцова превратилось в малопродуктивные сенокосы, да сколько лесных, некогда богатых травой полян заросло кустарником, слова ушло под лес. В целом... за непродолжительное время сократилось сельское население вдвое, и главным образом за счет таких, как мы,— «неперспективных». И стоит ли удивляться, что валовое производство сельскохозяйственной продукции по району тоже сократилось, вдвое уменьшилось число сельских жителей и во всей Вологодской области, в которой таких сельсоветов, как Грибцовский, несколько сотен» («Известия» от 13.05.81).

Мы привели эту пространную выдержку, потому что пример очень типичен. В Вологодской, Архангельской, Ярославской, Новгородской, Псковской, Смоленской областях автору этих строк приходилось слышать десятки подобных рассказов и даже более мрачных.

Однако раскрестьянивание времен Хрущева и Брежнева шло не только путем механического укрупнения хозяйств и механического укрупнения населенных пунктов. Наступление осуществлялось также на остатки того, что делало крестьянина крестьянином — на его приусадебное хозяйство (клочок земли, который крестьянин мог обласкать своими руками) и его скотину.

«Повышение уровня и устойчивости доходов, получаемых колхозниками от общественного хозяйства... по-новому ставит и вопрос о личном подсобном хозяйстве колхозников... По мере укрепления колхозов и развития их производительных сил ведение такого примитивного хозяйства становится все менее и менее эффективным»,— писала Т. Заславская в 1960 году[57]. Снова на крестьянина обрушиваются с налогами, урезают участки, ограничивают кормами, заставляя его вырубать сады и отказываться от содержания личного скота. Если в 1959 году в личном хозяйстве крестьян было 19 миллионов коров, то к 1964 году снизилось на шесть миллионов, а к нашему времени сократилось еще на три.

Несмотря на все гонения, в личном хозяйстве крестьян на участках, составлявших менее одного процента земель колхозов, совхозов, в середине 80-х годов производилось 58 процентов картофеля, 54 процента плодов и ягод, 29 — овощей, 26 — мяса, 27 — молока, 26 — яиц.

Кому-то, может, покажется, что мы несправедливо отмечаем негативную роль академика Т. Заславской в 60—70-е годы. Мол, сейчас она идет в авангарде прогресса. Но в том-то и дело, что такие ученые, как Заславская, не имеют морального права возглавлять перестройку, так как их позиция много раз беспринципно менялась в зависимости от последних установок ЦК. Факты показывают, что Т. Заславская участвовала в обосновании целого ряда антинаучных и антинародных концепций, в частности, превращения крестьянского труда в разновидность индустриального, сселения «неперспективных» деревень, ликвидации приусадебных участков. Внесла Заславская свою лепту и при обосновании насаждения кукурузы. «Наиболее перспективной культурой... — писала она «в масть» Н. Хрущеву в 1960 г. — ...является признанная «королева полей» — кукуруза... Следует сказать, что свой путь на колхозные поля кукуруза пробивала не без труда. Многие работники сельского хозяйства упорно придерживались мнения, что эта южная культура не приспособлена для условий нечерноземного Центра, Северо-Запада, Сибири и т. п. Однако огромная организационная работа, проведенная ЦК КПСС и лично товарищем Н. С. Хрущевым, принесла хорошие результаты» (Т. И. Заславская. Современная экономика колхозов. М., 1960, с. 30—31). Впрочем, мы отвлеклись.

Политика раскрестьянивания не могла не отразиться глубокими и необратимыми процессами на селе.

Если в 1913 году наша страна производила почти треть общемировой продукции зерновых культур, то сегодня только десятую часть. Из ведущего экспортера сельскохозяйственной продукции, и прежде всего зерна (41 процент мирового экспорта в 1913 году), наша страна стала главным импортером этой продукции.

Но самое главное даже не в этом. Произведенные нами ориентировочные расчеты показывают, что начиная с конца 20-х годов наше сельское хозяйство было убыточным для общества. За 1929—1975 годы общие затраты на сельское хозяйство, включая капитальные вложения, расходы на технику, оплату труда сельских тружеников, в 1,5—2,0 раза превышали общий объем национального дохода, созданного в сельском хозяйстве. При Сталине убыточность сельского хозяйства перекладывалась на плечи крестьян путем значительной недоплаты за их труд. Со второй половины 50-х годов убыточность раскладывается на все население страны через прямые и косвенные налоги, а также компенсируется продажей природных ресурсов за границу[58]. Такова была цена раскрестьянивания.

«МЕЖДУ КАБАЛОЙ И ВОДКОЙ»

«...Два слова об одном источнике резерва — о водке. Есть люди, которые думают, что можно строить социализм в белых перчатках,— говорил на XIV съезде ВКП(б) Сталин,— это грубейшая ошибка, товарищи. Ежели у нас нет займов, ежели мы бедны капиталами и если, кроме того, мы не можем пойти в кабалу к западноевропейским капиталистам, не можем принять тех кабальных концессий, которые нам предлагают и которые мы отвергли,— то остается одно: искать источников в других областях. Это все-таки лучше, чем закабаление. Тут надо выбирать между кабалой и водкой, и люди, которые думают, что можно строить социализм в белых перчатках, жестоко ошибаются».

Итак, при Сталине новейшая промышленная история нашей страны начинается с явно антиленинского постулата, что все источники и средства хороши для построения социализма. Самое страшное состояло в том, что выбрали те источники, которые объективно подрывали будущее социализма, вели его в тупик, и, конечно, это была не только и не в первую очередь водка. Главным источником финансирования индустриализации, источником социалистического накопления стала экономия на человеке. Декларируя тезис «все для человека, все для блага человека», Сталин и его наследники игнорировали необходимость удовлетворения самых насущных человеческих потребностей. Ожидая необыкновенных «золотых яиц», резали курицу, которая несла золотые яйца.

Развитие народного хозяйства осуществляется противоестественным путем «экономии» на жизненных средствах, идущих на потребление трудящихся. И без того сильно похудевший фонд потребления трудящихся (около 60% по сравнению с дореволюционным периодом) неуклонно сокращается.

Прежде всего это осуществляется путем недоплаты за труд. Доля, причитающаяся работнику в стоимости созданного им продукта, составлявшая перед революцией и в 20-е годы 55—58 процентов, резко снижается, а в 1950 году не превышает 33 процентов, обусловливая падение качества и производительности труда. (США: экономика, идеология, политика. 1988, № 12, с. 13).

Одним из главных орудий перекачки народных средств в пользу промышленности и бюрократического аппарата стал налог с оборота. Академик Струмилин очень верно назвал его «данью», которой государство обкладывает товары широкого потребления.

«Дань» эта была потяжелее татарской. Если Золотая Орда взимала с побежденных десятую часть дохода, то троцкистско-сталинская система забирала для реализации своих планов только в виде этой «дани» (а были еще и другие) до третьей части всего народного дохода. С «легкой руки» Сталина налог с оборота объявляется частью чистого продукта, созданного обществом[59].

Гигантский налог с оборота появляется с конца 20-х годов вместо обычного во всех странах 3—5-процентного налога. Его размер с десятой части национального дохода в 1928 году достигает четвертой части в 1931 году и почти третьей части в 1950 году[60].

Налог с оборота на товары широкого потребления назначается в любом размере (в трехкратном, пятикратном, десяти-

[57] Т. И. Заславская. Современная экономика колхозов. М., 1960, с. 105.

[58] За 1974—1984 годы только нефти и нефтепродуктов было продано на 176 млрд. долларов. Огромные суммы составляла продажа золота — не менее 200 тонн ежегодно («Известия» от 25.01. 1989).

[59] См.: Зверев А. Г. Записки министра. М., 1973, с. 245—246.

[60] Фактически вновь созданный налог с оборота объединил в себе и другие ранее существовавшие косвенные налоги.

кратном) — все зависит от того, будут ли товар покупать потребители. И чем хуже работает экономика и меньше товаров, тем большую «дань» можно собрать с того или иного товара. Современная женщина, например, не может обойтись без колготок, и вот приходится ей выплачивать «дань», многократно превышающую стоимость этого товара первой необходимости. За право владеть цветным телевизором государство взимает в виде «дани» 400 рублей с каждого покупателя. Кстати, ту же экономическую природу носила прибыль от водки, за которую ратовал Сталин. В сентябре 1930 года он писал Молотову: «Нужно отбросить ложный стыд и прямо, открыто пойти на МАКСИМАЛЬНОЕ увеличение производства водки...» Что и было сделано («Правда» от 28.10.1988). Потребление спиртных напитков резко возросло, увеличившись еще больше при наследниках Сталина. Если в начале XX века среднедушевое потребление спиртных напитков составляло около 2—3 литров в год (и было одним из самых низких в мире), то в 30-е годы возросло до 5—6 литров, достигнув 15—18 литров в начале 80-х годов, выйдя на «передовые» мировые рубежи. Превращение водки в важный доходный источник государственного бюджета — один из главных экономических инструментов сталинизма. А ведь на каждый рубль сиюминутного дохода от продажи спиртных напитков мы получаем только экономических убытков на три-пять рублей (а моральный ущерб еще серьезней).

В работах руководителей административной системы в 30-е годы неоднократно подчеркивается необходимость увеличения налогов, принудительных займов, установление цен на таком уровне, который был бы максимально выгоден государству[61]. С 1927 по 1932 год налоги и сборы с населения (без налога с оборота) возросли в 3,3 раза, а величина государственных займов — в 5,4 раза[62].

Тяжелым налогом на население легла чрезмерная инфляция денег, значительно превышающая рост товарной массы. За 1928—1932 годы денежная масса в обращении увеличилась в пять раз, тогда как реальный рост промышленного производства составил 24 процента, а уровень сельскохозяйственного производства даже снизился на 19 процентов. Станок для печатания денег и в последующие десятилетия был формой перекладывания на плечи народа разорительных последствий всех промахов и недостатков в развитии экономики.

Неизбежным результатом такой финансовой политики стал стремительный рост розничных цен. С 1928-го по 1940 год розничные цены в стране выросли в пять раз, а к 1949 году в десять раз. Постоянное отставание роста товаров широкого потребления от выпуска новых денежных знаков, выпуск под несуществующие или не пользующиеся спросом (лежащие без движения на складах) товарные ценности, а также пагубное влияние на стабильность денежной массы огромного налога с оборота обеспечили непрекращающийся процесс инфляции рубля. В таких условиях рядом с официальной сеткой цен возникает цена черного рынка и набирает силу присущий первобытному обществу натуральный обмен производственными ресурсами между хозяйственниками: ты мне листовое железо—я тебе лес, ты мне трубы — я тебе кирпич, и сотни тысяч других комбинаций.

[61] См.: ИСЭ СССР. Т. 3, с. 98.
[62] Там же. с. 102.

Еще одним источником накопления за счет потребления народа была продажа зерна за границу. В начале 30-х годов, когда от голода умирали миллионы людей, за границу вывозили миллионы тонн зерна, которые могли спасти жизнь голодающих. Однако вывоз осуществлялся несмотря ни на что. В 1931 году продано за границу 5,2 млн. тонн, в 1932-м — около 2,0 млн. тонн, и так год за годом вплоть до смерти Сталина. Продавалось не только зерно, но и лес, нефтепродукты — все, что покупалось. Особую статью продажи составляли произведения искусства — картины, иконы, скульптуры, мебель и многое другое, составлявшее национальное достояние. На рубеже 30-х годов их было продано за границу на миллионы и миллионы рублей. Только по РСФСР было снято на нужды индустриализации более 300 тысяч церковных колоколов, часть из которых продана за границу, а другая превращена в цветной металл. Весьма уместно здесь также вспомнить еще об одном страшном проявлении варварства по отношению к духовным ценностям народа — к архитектурным памятникам, и прежде всего к церковным зданиям. Из 50 тысяч храмов не менее половины были «хозяйственно» освоены, а большая часть другой половины разрушена без остатка. Безо всяких капиталовложений троцкистско-сталинская система получила не менее 25 тысяч мастерских, цехов, гаражей, зернохранилищ, складов и т. п. Но как от этого обеднела народная культура!

Нельзя обойти вниманием один из самых страшных источников мобилизации финансовых средств в государственную казну — использование неоплаченного труда заключенных. Идеологи троцкистско-сталинской системы хозяйствования теоретически обосновывали его как форму создания нового человека из материала капиталистической формации (Н. Бухарин) или как метод воспитания человека, не понимающего преимущества идей социализма (Л. Троцкий). Разветвленная сеть трудовых лагерей стала одной из неотъемлемых элементов реализации идеи строительства социализма «сверху». Мифическая иностранная кабала, которой Троцкий, а впоследствии и Сталин пугали народ, была ничто по сравнению с той реальной кабальной системой трудовых лагерей, развитой в нашей стране. «Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия,— писал в 1934 году в письме к Молотову выдающийся русский ученый Иван Павлов.— Если бы нашу обывательскую действительность воспроизвести целиком без пропусков, со всеми ежедневными подробностями — это была бы ужасающая картина, потрясающее впечатление от которой на настоящих людей едва ли бы значительно смягчилось, если рядом с ней поставить и другую нашу картину с чудесно как бы вновь вырастающими городами, днепростроями, гигантами заводами и бесчисленными учеными и учебными заведениями. Когда первая картина заполняет мое внимание, я всегда более вижу сходство нашей жизни с жизнью древних азиатских деспотий» («Советская культура» от 14.01.89).

Во второй половине 20-х годов возникла целая отрасль народного хозяйства — тюремный сектор социалистической экономики, включавший в себя все виды экономической деятельности. Экономический механизм лагерной системы был «блестяще» налажен группой единомышленников, замечательных по своему «творческому» отношению к делу от самых чудовищных пыток и истязаний до тонких психологических рассуждений о перековке преступных элементов в убежденных строителей социализма.

Преимущественно принудительным трудом заключенных были построены, в частности, города Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань, Магадан, Норильск, Дудинка, Воркута, Северодвинск, Дубна, сотни поселков; вырыты три гигантских канала — Беломорский, Волжский, Волго-Донской. Самый малый из них Беломорский — 227 километров, 19 шлюзов, 15 плотин, 49 дамб с общим объемом только земляных и скальных работ 21 млн кубометров, и все это при помощи тачки, кирки и лопаты; проведены тысячи километров железных и шоссейных дорог—Котлас — Воркута, Рикасиха — Молотовск, Караганда — Балхаш, Салехард — Игарка, второй путь Сибирской магистрали (4000 км), Комсомольск — Советская Гавань, начальная часть БАМа от Тайшета до Лены, автомобильное шоссе Москва — Минск; возведены тысячи заводов и предприятий, в том числе такие гиганты, как Балхашский, Соликамский и Березниковский комбинаты; создано несколько крупных ГЭС, в том числе Куйбышевская, Нижнетуломская, Усть-Каменогорская; осуществлено строительство объектов атомной промышленности и добыча урановой руды. Мы уже не говорим о массовом использовании труда заключенных на лесоповале, на копях и шахтах и прочих самых тяжелых работах. Сегодняшняя статистика не располагает точными данными о численности занятых в тюремном секторе экономики во времена сталинизма. Эту цифру можно определить, исходя из общего объема работ, произведенных заключенными. По самым заниженным оценкам, среднегодовой доход этой отрасли в 1940 году составлял в ценах тех лет 30—35 млрд. рублей, то есть десятую часть национального дохода страны. Численность занятых в тюремном секторе достигала 10 миллионов человек (15 процентов всех занятых в народном хозяйстве).

Так путем применения чрезвычайных методов внеэкономического принуждения и насилия, за счет резкого сокращения личного потребления была осуществлена в годы правления Сталина мобилизация и концентрация экономических ресурсов в руках государства. К сожалению, и после Сталина государство экономило средства за счет низкого уровня потребления населения. Продолжалась практика недоплаты работнику за его труд, нарушалось право труда на экономически обоснованную долю во вновь произведенном продукте. Вплоть до последнего времени удельный вес оплаты труда в стоимости чистого продукта промышленности не превышал 37 процентов (в США 80-х годов—60—70 процентов), то есть, как и при Сталине, у рабочего отчуждалось две третьих созданного им продукта.

По-прежнему взимается «дань» (налог с оборота) с потребителя за товары широкого потребления, составившая в 1987 году 94 миллиарда рублей. Весь послевоенный период вовсю работал станок по печатанию денег, не обеспеченных товарами. В 1971—1985 годах количество денег в обращении выросло более чем в три раза, тогда как розничный товарооборот вырос только в 2,1 раза. По некоторым оценкам, неудовлетворенный потребительский спрос составляет в денежном выражении от 70 до 140 млрд. рублей[63]. Для сравнения — на сберегательных вкладах более 300 млрд. рублей.

Что же это означает? А то, что мы не сумели отказаться от старых троцкистско-сталинских представлений о развитии экономики. Как и раньше, функционируют чрезвычайные методы мобилизации экономических ресурсов. У населения изымается часть средств, которые могли бы обеспечивать нормальное развитие человека и семьи. Средства, сэкономленные на потреблении народа, направляются в промышленность (84 процента всех капвложений в 1929—1940 гг.), причем преимущественно на производство средств производства. В результате, начиная с конца 20-х годов, в нашей экономике происходит чудовищный перекос в развитии народного хозяйства. Недостаточное внимание к человеку привело к ухудшению качества подготовки специалистов (рабочих, инженеров, техников), которое не соответствовало требованиям развития науки и техники. В свою очередь создание технических средств сдерживалось отставанием качества рабочей силы, многие виды оборудования производились морально устаревшими. Возник порочный круг, из которого мы до сих пор не можем выйти.

Посудите сами. Если фондовооруженность в материальном производстве нашей страны сегодня находится на уровне США 1965 года, то непроизводственные фонды (просвещение, здравоохранение, жилищное хозяйство и другие сферы, связанные с обслуживанием человека) на душу населения — на довоенном (1940 г.) уровне США. Занятость в отраслях, ориентированных на обслуживание человека, составляла в СССР 37 процентов всех занятых против 64 в США.

[63] «Политическое самообразование», 1989, № 1, с. 55.

А начиналось это так. Гигантская мобилизация средств позволила увеличить основные фонды промышленности за 1928—1940 годы в шесть раз, причем рост фондов предприятий, производящих средства производства, в три раза опережал рост фондов предприятий, производящих предметы потребления. Уже к 1933 году фонды всей промышленности были удвоены, а тяжелой промышленности утроены. Обновление производственных фондов тяжелой промышленности составило 77 процентов, электростанций— 88, нефтяной промышленности — 85, угольной — 83, основной химии — 81. Удельный вес фондов отраслей, производящих средства производства, увеличился за 1928—1940 годы с 56 до 78 процентов. Соответственно доля фондов предприятий, производящих предметы потребления, сократилась в два раза (с 44 до 22 процентов).

Вместо того чтобы сбалансировать развитие отраслей промышленности, Сталин и его наследники продолжали подхлестывать развитие основных производственных фондов. В результате промышленность стала работать все в большей степени на воспроизводство самой себя — на выпуск оборудования и технических средств. Удельный вес производства средств производства возрос с 39 процентов в 1928 году до 61 в 1940-м и до 75 в 1987 году. Стремительный количественный рост технических средств без соответствующего повышения качества рабочей силы стал одной из главных причин (но, конечно, не единственной) падения эффективности производства в нашей стране.

Однобокое развитие промышленности привело к тому, что фондоотдача в 1987 году снизилась по сравнению с уровнем 1913 года в три раза (с 71 копейки на один рубль производственных фондов до 23) [64].

В США этот же показатель за 1900—1957 годы повысился почти в два раза. Если бы в нашей стране был сохранен уровень фондоотдачи хотя бы 1950 года, национальный доход сегодня составил бы не менее триллиона рублей, то есть на 400 миллиардов больше ныне достигнутого.

МОНОПОЛИИ И СВЕРХМОНОПОЛИИ

Осуществление глобального контроля над промышленностью стало одной из главных задач новой власти в конце 1917 года. Одним из первых решений ее — создание фабрично-заводских комитетов со статусом государственных учреждений, подчиняющихся только единому государственному центру. Осуществление государственного контроля через фабрично-заводские комитеты перерастает в национализацию десятков тысяч предприятий, объединяемых в несколько огромных государственных монополий. Некоторые думают, что централизация промышленности возникла в разгар гражданской войны и исходила из военной необходимости. На самом деле все крупные монополистические объединения возникли у нас еще весной 1918 года, и объяснялись не военной необходимостью, а исходными теоретическими предпосылками руководителей новой власти. «Коммунизм,— писал Ленин в мае 1918 года,— требует и предполагает наибольшую централизацию крупного производства во всей стране. Поэтому общероссийскому центру безусловно надо дать право подчинять себе непосредственно все предприятия данной отрасли» [65].

Шаг за шагом централизуется сначала крупная, средняя, а затем и мелкая промышленность. Механическое объединение и подчинение тысяч предприятий единому центру, лишение их самостоятельности, трудности с сырьем и рабочей силой привели к тому, что более сорока процентов национализированных предприятий еще в августе 1918 года закрылись, усугубили промышленный голод в стране и создали серьезные трудности для многих тысяч других предприятий. К концу 1920 года подчинены центру и мелкие предприятия, многие из которых вошли в состав крупных на правах цехов. Глобальная централизация привела к параличу местной инициативы, ухудшению снабжения населения продуктами местного производства и вызвала новую волну закрытия предприятий. В 1920 году не работало уже свыше 54 процентов предприятий России, прервались складываемые многими десятилетиями, а то и веками промышленные и коммерческие связи. Выработка продукции сократилась в семь раз, производительность труда — в четыре раза. Промышленность была отброшена почти на полстолетия назад и работала главным образом на обслуживание армии.

Кавалерийская атака на промышленность не удалась. «Попытки оперативного руководства из единого центра для всего СССР,— отмечалось на XII съезде РКП(б),— превращались в свою противоположность, то есть происходило отсутствие всякого руководства» [66].

В годы нэпа степень монополизации и централизации управления промышленностью снижается, однако не настолько, чтобы можно было говорить о самостоятельности развития промышленности. Наряду с системой главков была создана система крупных централизованных трестов, определявших всю политику промышленности. На долю 140 крупных трестов приходилось 90 процентов всех рабочих государственной промышленности, на остальные 240 трестов только 10 процентов. Это свидетельствовало об очень высокой централизации управления промышленностью. Трудно было говорить и о самостоятельности трестов. За главками ВСНХ сохранялось право общего руководства, определения направления хозяйственной деятельности, утверждения производственных программ и смет, обязательных для трестов, право распределения прибылей. Ограничивалось также право трестов распоряжаться своими основными фондами. Хотя предполагалось, что тресты могут продавать свою продукцию по договорным ценам, довольно часто постановлением ВСНХ и СТО назначались обязательные цены.

Предприятия, входившие в трест, не имели права юридического лица, а считались его производственной единицей. Они не имели ни своего баланса, ни своей отчетности, не могли самостоятельно выступать на рынке. Руководители предприятий не знали точно, как работает их предприятие, так как балансы хорошо работающих предприятий сливались с балансами отстающих в один большой баланс треста. Такое положение не заинтересовывало работников предприятий в улучшении производства, в проявлении инициативы. Мелочная регламентация деятельности предприятий со стороны трестов, а деятельности трестов со стороны главков ВСНХ на деле перечеркивала многие возможности официально провозглашенного коммерческого хозяйственного расчета.

Для того чтобы тресты не вступали во взаимную конкуренцию, не сбивали друг у друга цены, их объединяли в торговые синдикаты, монополизировавшие вопросы сбыта и снабжения в отрасли, возложив, таким образом, все изъяны их деятельности на потребителя. Синдикатам давались плановые задания ВСНХ, которые они были обязаны выполнить любой ценой.

Не удивительно, что именно эта мелочная государственная опека сдерживала развитие объединенной трестами промышленности. Результаты деятельности государственных предприятий, обладающих по сравнению с частными лучшим оборудованием, были совсем не утешительны. Частные и кустарные предприятия, несмотря на множество чинимых им препятствий, оказались гораздо более жизнеспособными и эффективными. Выработка на один человеко-день на частном предприятии составляла 29 рублей, а на государственном — только 18 рублей. Тысяча шестьсот мелких частных предприятий (с численностью занятых менее 50 человек) давали такой же объем продукции, что и три тысячи триста мелких государственных предприятий.

В начале нэпа оживились кустарные предприятия. За первый год кустари удвоили свою продукцию, что вызвало большое беспокойство Троцкого. «Что такое ремесло и кустарничество? — спрашивал он.— Это тот питательный бульон, из которого в прошлом развился наш капитализм...» Значит, его надо ограничивать, и на кустаря начинаются гонения. Если кустарь имеет учеников (а без учеников нет преемственности и качества), он объявляется эксплуататорским элементом, его обкладывают налогом, лишают избирательных прав, повышают плату за коммунальные услуги, детей в школу принимают в последнюю очередь и за высокую плату. Что ему остается? Бросить все и переходить рабочим на государственное предприятие.

Частные предприятия постоянно находились под угрозой закрытия и, ощущая неустойчивость своего существования, имели поэтому крайне низкую долю накоплений (в три раза ниже, чем на государственных).

Несмотря на создание парниковых, привилегированных условий для госпредприятий, они вырастали в хилое и маложизнеспособное деревце монополизированной и необычайно централизованной промышленности, работники и руководители которой были слабо заинтересованы в ее развитии. Монополизированная промышленность могла удержаться «на плаву» только путем постоянного «вливания» в нее все новых и новых ресурсов, прежде всего за счет эксплуатации крестьянства, вынужденного платить за промышленную продукцию государственных предприятий во много раз больше ее действительной стоимости. При высокой себестоимости промышленной продукции ее качество было очень низким, а ассортимент продукции крайне бедным. Проблема качества продукции в середине 20-х годов встала так остро, что был создан специальный государственный орган по вопросам качества, который возглавлял Лев Троцкий, потребовавший еще больше завинтить гайки монополизации промышленности, сосредоточить в одних руках руководство производством и сбытом большей части промышленной продукции.

На XV съезде ВКП(б), состоявшемся в 1927 году, Председатель Совнаркома Рыков А. И. выступил против линии Троцкого: «Необходимо изменить систему и метод работы наших организаций. Мы имеем огромные централизованные организации, работающие в масштабе такой гигантской страны, как наша. Верхушки этих организаций так далеко отстоят от фабрики, завода, деревни, что возможность отрыва от того, что делается внизу, является реальной. На протяжении ряда лет в этих организациях неизбежно складываются элементы рутины и косности, в то время как внизу происходят гигантские сдвиги и изменения, каждый день проявляется и вырастает что-то новое. Мы стоим перед опасностью, что эти сложившиеся, окрепшие, имеющие огромное значение в жизни Советского государства органы, приобретая некоторую рутинность и инерцию, будут давить и сдерживать то новое, живое, революционное и прогрессивное, что вырастает в порах Советского государства и хозяйства».

Но голос сторонников строительства социализма «сверху» оказался сильней. Для них монополизация промышленного производства по образцу, предложенному в свое время Троцким, была предпочтительней развития самоуправляющихся и самостоятельных производственных единиц. Попытки поднять вопрос о демонополизации промышленности расценивались как подрыв устоев социалистического хозяйствования.

В период индустриализации монополи-

[64] Для сопоставимости из данных о национальном доходе за советский период исключены налог с оборота и различные виды приписок. Фондоотдача, по официальным данным, составляла в 1940 г. 46 копеек, в 1950 г. — 59 копеек, в 1970 г. — 55 копеек, в 1984 г. — 36 копеек.

[65] Ленин В. И. ПСС., т. 38, с. 392.

[66] Двенадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет. М, 1923, с. 349.

зация промышленного производства резко усиливается, управление производством определенных видов продукции осуществляется по военному образцу. В 1929 году главки были заменены 33 всесоюзными отраслевыми объединениями (Союзнефть, Союзуголь, Сталь, Машинообъединение и пр.), которые сосредоточили в своих руках огромную власть. В 1931—1932 годах ликвидируется система ВСНХ. Ей иа смену приходят промышленные наркоматы. Именно в это время создается существующая до сих пор система промышленных наркоматов (позднее министерств), монополизировавших производство определенной отрасли. В 1936 году Наркомтяжпром рукоаодит непосредственно 355 крупными предприятиями вместо 32 на начало 1933 года, выпускающими более половины продукции тяжелой промышленности.

В 30-е—40-е годы наркоматы растут как грибы после дождя. После войны продолжается дальнейшая специализация министерств вплоть до образования министерств медицинской и пищевкусовой промышленности. В 1953 году около 70 процентов промышленной продукции производилось на предприятиях, управляеных союзными министерствами.

В настоящее время в нашей стране существует несколько сотен министерств, являющихся монополистами в своей отрасли. В рамках этих сверхмонополистических объединений существует около 2,5 тысячи крупных предприятий, являющихся полными монополистами по выпуску того или иного вида промышленной продукции. Сила и власть отечественных монополий значительнее самых мощных западных, так как там в свое время были приняты антитрестовские законодательства, запретившие монополизацию определениого вида продукции в руках одного производителя. Ибо производитель-монополист, не имея конкурентов, неизбежно начинает диктовать свои законы рынку. Потребитель в этих условиях беззащитен, он будет получать товары такого качества, которые выгодны монополиям.

Не имея конкуренции, монополии превращаются в замкнутую систему, интересы которой становятся превыше интересов общества и рядового потребителя. Полностью контролируя потребительский рынок, где ее товары являются дефицитом, монополия становится даже заинтересованной сохранять рынок неполностью удовлетворенным, ибо это позволяет ей навязывать потребителю товары низкого качества по дорогой цене и в бедном ассортименте.

Замкнутость монополии на саму себя затрудияет развитие специализации, комбинирования и кооперирования производства, ведет к ослаблению территориальных и производственных связей между предприятиями разных отраслей, даже если они расположены в одном регионе или промышленном центре, вызывает многочисленные нерациональные перевозки из одного конца страны в другой.

Все это вкупе серьезнейшим образом тормозит развитие научно-технического прогресса. Как справедливо отмечает академик В. А. Трапезников, «монополия тормозит технический прогресс, в конечном итоге гасит научно-техническую инициативу. В этом случае потребителю не из чего выбирать — он вынужден брать то, что дают, а организация-монополист постепенно отказывается от активного поиска новых решений и живет по правилу: не устраивает моя продукция — сделай сам. Воспитываются «ленивые мозги», технический прогресс замедляется».

О наших монополиях можно рассказывать много, ибо с результатами их деятельности мы сталкиваемся каждый день.

Вот ваш сосед погиб в квартире от взрыва цветного телевизора. В ответ иа жалобы родственников приходят отписки из Минэлектронпрома о том, что ведутся работы по улучшению качества телевизора, а между тем телевизоры-бомбы продолжают выпускаться и каждый год уносят несколько человеческих жизней. Монополист знает — у потребителя выбора нет.

Десятилетиями Минводхоз ведет колоссальную «работу» по созданию гигантских систем, разрушающих природу, наносящих ущерб всему живому, и прежде всего человеку. Израсходованы сотни миллиардов рублей, отвлечены от человеческих нужд огромные ресурсы, которые могли быть использованы на строительство жилья, детских учреждений, дорог, оснащение вузов, НИИ, школ оборудованием и приборами.

Минсельхозмаш на своих предприятиях выпускает плохие комбайны, которые часто ломаются, не имеют запчастей. На селе от некоторых видов комбайнов просто отказываются; но все равно они продолжают выпускаться и их навязывают волевым порядком — бери что есть, других не получишь.

Минлеспром наносит огромный ущерб природе. Если сравнивать стоимость продукции его комбинатов со стоимостью уничтоженных ими природных ресурсов, то итог их «работы» окажется отрицательным.

Аналогично обстоят дела в строительной монополии, навязывающей заказчику дорогостоящие проекты. Строительная монополия — злейший враг архитектурных памятников и исторической застройки древних русских городов. Капитальным ремонтом исторической застройки она занимается с большой неохотой, предпочитая ему снос и стандартное строительство на ее месте — большие объемы работ, дорогие материалы. И вот уже бульдозер сносит милые нашему сердцу здания; на их месте возводятся безликие коробки.

Монополизация промышленной деятельности порождала гигантоманию. Огромные заводы и фабрики всегда считались у нас «верхом» прогресса и развивались, как правило, в ущерб развитию средних и небольших предприятий.

Чрезмерная концентрация производства и «гигантизм» многих наших предприятий сделали их структуры громоздкими и неповоротливыми для управления и планирования, маловосприимчивыми к техническому прогрессу и обновлению продукции.

Сегодня в нашей стране три четверти промышленной продукции производится на предприятиях с численностью рабочих более 1000 человек (в США 34 процента продукции). Низкий удельный вес небольших предприятий, всего два процента производимой продукции (в США 20 процентов), делает структуру нашей промышленности малоэластичной по отношению к меняющимся условиям научно-технического прогресса, не позволяет должным образом реагировать на изменение потребительского спроса.

Монополистический характер развития нашей экономики не мог бы осуществляться так «успешно» без создания своего рода «инфраструктуры» по обслуживанию монополий, главными звеньями которой стали Госплан, Министерство финансов, Госснаб, Госкомцен и Госкомстат. Возникла эта инфраструктура еще в конце 20-х, в 30-е годы, а ныне можно говорить о полном ее сращении с монополистическими министерствами.

Во-первых, Госплан. Собственно планирование хозяйственной деятельности той или иной отрасли осуществляется министерствами-монополиями. Сам Госплан, имея много функций, прежде всего выполняет главную — обеспечивает монополиям гарантированный сбыт продукции, нередко навязывая потребителю негодную и ненужную продукцию.

Министерство финансов осуществляет мобилизацию финансовых ресурсов для расточительного развития монополий за счет фонда потребления населения. Средства, сэкономленные на человеке, вкладываются в основные производственные фонды, в «производство ради производства».

Госснаб ведает бесплатным снабжением материальными и капитальными ресурсами. В условиях бесплатного снабжения ресурсами усилия предприятий направляются не на их экономию, а на умение их «доставать» и «выбивать», конечно, опираясь на влиятельность своего ведомства. Для монополий «не страшно», что огромное количество материальных ценностей, созданных народом, оседает мертвым грузом на складах. Ныне на складах предприятий лежат в запасах без движения материалы, сырье и готовые изделия на общую сумму 470 млрд. рублей, то есть половина годового промышленного производства («Правда» от 9.12.88).

Особая роль в инфраструктуре по обслуживанию монополий принадлежит Госкомстату. Именно ему выпала задача обслуживать «механизм превращения» невиданного экономического расточительства в «эффективность» и «грандиозные успехи в создании материально-технической базы коммунизма». Ядром этого механизма стал затратный метод определения результатов хозяйственной деятельности по валовой продукции в рублях. Суть его в том, что предприятия вместо увеличения эффективности производства стремятся использовать при создании продукции как можно больше сырья и материалов, и по возможности более дорогих, что ведет к «вымыванию» дешевых товаров, удорожанию продукции за счет потребителя. Таким образом, монополии перекладывают на потребителя результаты своей неэффективной деятельности и ответственность за свою техническую отсталость. Чем дороже выпускаемая продукция, тем выше фонды оплаты и премирования, тем больше «чести» монополиям. Но то, что по стоимости в рублях выглядит хорошо, в виде товаров для населения оказывается никуда не годным. Как отмечает Д. Валовой: «По плану пятилетние и годовые планы выполнялись и перевыполнялись, а по выпуску реальной продукции срывались. Поэтому с каждым годом на рубль приходилось все меньше и меньше предметов потребления в натурально-вещественном выражении. Важнейших видов продуктов питания и промтоваров первой необходимости в 1985 году производилось на рубль национального дохода в два раза меньше, чем в 1965 году, и в четыре-пять раз меньше по сравнению с 1950 годом».

В погоне за внешними показателями успеха монополии расточают огромные ресурсы. Сегодня на каждую единицу продукции мы тратим в два раза больше сырья и материалов, чем наши конкуренты за рубежом. Только по этому показателю наши потери во много раз превысили потери нашей страны в Великой Отечественной войне.

Использование показателя валовой продукции в рамках государственной экономической политики началось с первой пятилетки. В 1933 году на январском Пленуме ЦК ВКП(б), подводя итоги первой пятилетки, Сталин заявил, что по выпуску валовой продукции в рублях промышленность выполнила план досрочно за 4 года и 3 месяца. Но это была большая неправда, ибо ни по одному из основных показателей в натуральном измерении (то есть в метрах, штуках, тоннах) выполнение плана по добыче угля и нефти, выработке электроэнергии, выплавке стали и чугуна, выпуске автомобилей и тракторов... не произошло.

Да, именно здесь кроется секрет «успеха» первых пятилеток. Ведь что получалось! Отдача трудового потенциала за 1928—1940 годы снизилась примерно в три раза, фондоотдача тоже упала, материалоемкость значительно подскочила, а официальная статистика трубила нам о грандиозных успехах в экономическом строительстве, о росте национального дохода почти в шесть раз.

Что же было на самом деле? Национальный доход возрос только в 1,5 раза [67], и то главным образом за счет гипертрофированного роста отраслей тяжелой промышленности и машиностроения, выпуск продукции которых действительно увеличился в 4—5 раз, тогда как производство продукции сельского хозяйства снизилось, а рост отраслей легкой и

[67] «Новый мир», 1987, № 2, с. 193.

пищевой промышленности либо сокращался, либо был незначителен.

С 1940-го по восьмидесятые годы национальный доход увеличился в четыре раза, однако реальный трудовой потенциал страны использовался не более чем на треть, фондоотдача оборудования была в два-три раза ниже дореволюционного уровня, росли материалоемкость и энергоемкость производства. Все это сопровождалось огромным расточительством ресурсов на производство устаревшей и ненужной продукции, строительством никому, кроме монополий, не нужных каналов и предприятий, потерями продукции на пути от производителя к потребителю, нерациональными перевозками, хищнически-колонизаторским отношением к природным богатствам страны. По некоторым оценкам, не менее сорока процентов трудовых усилий связаны с работами, общественная полезность которых либо сомнительна, либо равна нулю.

Чтобы как-то компенсировать результаты неудовлетворительного хозяйствования, бюрократия предприняла гигантскую распродажу наших природных ресурсов за границу, от которой в середине 80-х годов она получала 60 миллиардов рублей ежегодно.

В целом мы имеем удручающую картину отчуждения экономики от человеческих нужд и подчинение ее интересам нескольких сотен монополистических объединений, разделивших страну на обособленные и замкнутые сферы влияния. Конечный результат всего этого в том, что сегодня экономический потенциал нашей страны используется не более чем на 25—30 процентов. И это означает, что производим мы в три раза меньше продукции по сравнению с нашими народнохозяйственными возможностями. А по сути дела, хозяйствуем с отрицательным итогом. И если до войны можно было говорить, что мы живем в определенной степени за счет прошлого (старые кадры, производственный опыт, продажа художественных ценностей за границу, хозяйственное использование архитектурных памятников и др.), то сегодня мы проедаем ресурсы, принадлежащие будущим поколениям.

КАКУЮ ДОРОГУ МЫ ВЫБИРАЕМ?

Трагедия нашей экономики в том, что, оторвавшись от народных корней, она стала ареной всевозможных хозяйственных экспериментов, развивавшихся, как правило, вопреки вековому народному опыту, народной культуре труда и хозяйствования. Вопрос об особенностях национальной модели хозяйственного развития чаще всего сводился к иллюстрации экономической отсталости России, низкой эффективности ее хозяйства. Не учитывались ни анализ Маркса о самобытном пути социалистического развития России, ни ленинские выводы, в которых подчеркивалась необходимость учиться у народа новой жизни, предоставить полную свободу творчества народным массам.

По сути дела, были отброшены, как ненужный хлам, величайшие ценности народной культуры — общинные навыки самоуправления, трудовой демократии и взаимопомощи, самостоятельности и предприимчивости, крестьянского нестяжательства и отсутствия материальной жадности. Эти ценности создавали благоприятную почву для развития социализма. Но именно народные традиции и пострадали в результате насаждения троцкистско-сталинской теории строительства социализма «сверху». Вместо того чтобы учесть в хозяйственной практике величайшие ценности народной культуры, значительная часть общественной энергии была противоестественно направлена на их искоренение, как чего-то отжившего и отсталого, в угоду примитивным, космополитическим, оторванным от народной жизни представлениям Троцкого, Сталина и их соратников. Сорняк сталинизма вырос на почве, готовой к социализму. Троцкистско-сталинская система бессовестным образом эксплуатировала светлые чувства нашего народа.

Сталинизм, как пустоцвет социализма, затормозил реализацию многих лучших качеств русского труженика. Трудовая демократия, преобладание моральных ценностей побуждения к труду над материальными широко распространились в экономике многих западных стран, а нам надо заново учиться тому, что было обычным для наших предков.

Сложившаяся система монополистической бюрократизированной экономики, отчужденная от интересов и потребностей трудящихся, стала во многих случаях антиподом народной культуры труда и хозяйствования. Групповой интерес монополий (замкнутых на самих себя) противостоит общенародным социалистическим традициям и идеалам большинства трудящихся.

Троцкистско-сталинская экономическая система, с некоторыми модификациями дошедшая до нашего времени, сильно деформировала и дискредитировала социалистические идеи, бывшие частью народной психологии, хотя не смогла их убить. В глазах некоторой части наших соотечественников социализм стал отождествляться с тотальным бюрократическим контролем над личностью, диктатурой, несправедливой уравнительностью в распределении! Более того, они заговорили о том, что у нас построен казарменный социализм, а справедливой альтернативой ему может являться только рыночный (с резким неравенством в распределении, диктатом сильного, безработицей). Но ведь нельзя назвать социализмом ни казарменные, ни рыночные отношения, так же как нельзя назвать любовью изнасилование или проституцию. Социализм — это прежде всего накопленная поколениями сумма высших духовно-нравственных ценностей человеческого общежития на основе самоуправления, трудовой демократии, взаимопомощи и нестяжательства. Рассуждения о рыночном социализме — очевидная попытка внедрить в сознание масс иную (не народную) шкалу ценностей, повернуть вспять историю.

Впрочем, таким же возвратом к прошлому являются рассуждения о «революции сверху» тех, кто хотел бы всю революционную перестройку нашего общества свести к некоторым технико-организационным мероприятиям. В стране идет процесс революционного роста самосознания широких слоев трудящихся, и попытка подменить его «революцией сверху» грозит повторением кровавых преступлений сталинизма. Схема здесь более чем проста: сначала манипуляция общественным сознанием, для которой используется «образованное меньшинство», которое «лучше знает, что нужно народу» («человеку с улицы»), затем ограничение возможности творческого развития и волеизлияния трудящихся (мол, еще не созрели), и наконец неизбежное появление нового тирана. Так уже было у нас в 20-е годы, когда под предлогом темноты и отсталости от участия в управлении были отстранены миллионные крестьянские массы, а «революционное меньшинство» выродилось в касту бюрократов. Во что это вылилось, полезно вспомнить нынешнему «революционному меньшинству», сторонникам современной «революции сверху». Рассуждение о том, что, мол, у нас будет все по-другому — по крайней мере наивно. Давно пора понять, что социализм появился у нас не по волшебной палочке пламенных революционеров, а вызрел в толщах народных масс задолго до Октября. Поэтому успешное развитие социализма зависит прежде всего от движения снизу, от степени реализации духовно-нравственных идеалов социализма, накопленных поколениями наших предков и ставших неотъемлемой частью народной психологии.

Выход у нас один. Вернуться к первоисточнику социализма — к народным основам, традициям и идеалам, среди которых социалистические идеалы занимают ведущее место. А это одновременно означает и возвращение к ленинскому пониманию социализма как творческого движения масс снизу за реализацию идеалов, выношенных вековым народным опытом.

Жизненная необходимость обязательного учета национальной модели хозяйственного развития, кажется, сегодня не должна вызывать сомнения. Национальные особенности хозяйствования должны приниматься в расчет при разработке любого экономического мероприятия. А что мы видим на самом деле?

Некоторые современные «прорабы» экономической перестройки (А. Аганбегян, Т. Заславская, Н. Шмелев) больше думают о технико-организационной стороне дела, сводят все проблемы к решению технических частностей, склоняются к заимствованию, механическому копированию американских или западноевропейских экономических форм как некоему образцу и идеалу (свободный рынок, безработица, западные формы материального стимулирования и организации производства).

Такое сползание к заимствованию западных форм крайне опасно, так как оно вновь отлучает нас от выстраданного веками народного хозяйственного опыта, перечеркивает его, как что-то устаревшее и ненужное.

Конечно, мы должны и будем использовать западный опыт, применять западную технику и технологию, но проблемы это не решит до тех пор, пока мы не найдем в себе силы вернуться к народным основам, традициям и идеалам труда и хозяйственной деятельности. Возвращение к народным основам вовсе не означает желания одеть современного человека в старые одежды, как, я уверен, интерпретируют это наши оппоненты, а предполагает обязательный учет тех культурных, социальных и психологических установок, выработанных многовековой историей народа и ставших ориентирами его жизни. Не отвлекать огромные силы и энергию на борьбу с этими установками (как это было раньше, да и сейчас), а использовать их в хозяйственном развитии.

Давно дискредитировавший себя, оскорбительный тезис 20-х годов о традиционной косности русского народа и присущей ему психологии рабского подчинения сегодня открыто проповедуется некоторыми учениками и последователями Т. Заславской. Так, В. Ядов (кстати, директор Института социологии АН СССР), говоря об исторических и культурных традициях русского народа, недавно заявил, что «русское православное мировоззрение рисует образ человека в качестве объекта неземных сил, а труд — как наказание божье. В нашей культурно-исторической традиции полагание на господа бога, вождя, коллектив — на кого угодно — стало общественно признанной нормой повседневной жизни. Подавление индивидуальности, личной инициативы отлично укладывалось в традиционные социально-культурные рамки». В понимании Ядова задача нашего времени «разрушить эти косные структуры социальной организации» («Известия», 23.05. 1989 г.).

Научно несостоятельный тезис Ядова опирается на поверхностные и неприязненные представления о роли христианской религии в формировании личности и общественного сознания. Но даже если с ними согласиться (хотя это невозможно), то все равно удивляет нелогичность последователя Т. Заславской; почему христианство стало причиной «косности» и «рабской» психологии именно нашего народа и не повлияло на другие христианские народы, сохранившие массовое христианское мировоззрение вплоть до сегодняшнего дня.

Откровенно антирусская позиция Ядова характерно отражает взгляд некоторых «прорабов» перестройки, с завязанными глазами уверенно ведущих страну к пропасти.

Трудолюбие, добросовестное, старательное отношение к труду, самостоятельность, инициатива, предприимчивость могут возродиться только при возрождении народного самоуправления и трудовой демократии. Трудовая демократия, являясь исконно народным началом, вместе с тем отражает ленинские принципы развития труда, развитие социализма как

строя цивилизованных кооператоров. Строй цивилизованных кооператоров — это всемерное развитие различных видов кооперации, распространение разнообразных артельных форм организации труда, бригадного и семейного подряда, различные формы добровольной аренды. Главная суть цивилизованной кооперации — объединение в нее не ограничивает, а поощряет дух свободного развития, самостоятельности и предприимчивости каждого члена.

Сегодняшнее развитие кооперации далеко от идеала, иногда даже складывается впечатление, что многое делается, чтобы дискредитировать ее развитие. До сих пор не созданы эффективные органы по контролю над ценами и качеством продукции кооперативных предприятий (кстати, здесь есть чему поучиться за рубежом). К сожалению, какая-то часть нынешних кооперативов стала «крышей» для спекулянтов, дельцов и организованной преступности. Преступные капиталы могут сильно повредить развитию нашей социальной и экономической системы, пустив его в русло, способствующее процветанию паразитических слоев общества.

Новой формой паразитирования наших монополистических объединений является передача убыточных предприятий с устаревшим оборудованием в аренду кооперативам. Продукция, выпускаемая кооперативами, включается в счет выполнения плана монополии, и одновременно она снимает с себя обязанность технически реконструировать предприятие. Кооператив же делает предприятие из убыточного прибыльным за счет повышения цен.

Сегодня много говорят о возвращении крестьянину чувства хозяина земли. Это, конечно, главное условие возрождения сельского хозяйства. Но есть и еще одно немаловажное условие, которое следует из народного опыта. Это вопрос отношения крестьянина к земле. Некоторые, например, предлагают передать землю крестьянину в частную собственность. Многовековой опыт подсказывает другой путь — путь коллективного землепользования сельских обществ или сельских Советов с выделением определенной части земли в государственное централизованное землепользование для сдачи ее в долгосрочную аренду совхозам, артелям, кооперативам и отдельным земледельцам. Владение землей на условиях коллективного землепользования означает выделение каждой крестьянской семье участка для самостоятельной обработки. Получить такой участок может и горожанин, приехавший по своей инициативе работать на земле. Крестьянин, владеющий землей на праве коллективного землепользования, платит определенную сумму государству и волен сам выбирать, чем он будет заниматься, соединит ли он свой участок с другим, создав кооператив, а может быть, арендует еще земли из централизованного государственного земельного фонда. Он может добровольно отказаться от своего участка, и тогда земля вернется во владение всего сельского общества и будет перераспределена между его членами. Колхозы и совхозы должны получать землю на конкурсной основе на равных правах с другими и за плату не ниже арендной платы отдельных сельских тружеников. Конечно, невозможно предусмотреть все многообразие форм землепользования, но в основе их должен лежать принцип общественного самоуправления, справедливости и трудовой демократия.

Безусловно, крестьянин себя полным хозяином не почувствует до тех пор, пока не будет ликвидирована «продразверстка», государственный план закупок, указывающий ему, где, что и когда делать. Все это крестьянин знает лучше аппарата агропрома, в значительной степени паразитирующего за счет сельских тружеников.

Всяческое поощрение и развитие самостоятельности, предприимчивости, чувства хозяина, самоуправления, трудовой демократии раскрепостит в душе труженика огромные силы и энергию, позволит на качественно новом уровне обеспечить экономический подъем.

В промышленности трудовая демократия должна выражаться в переходе от жестких авторитарных форм управления трудом к гибким коллективным, артельным формам, расширению прав участия рядового работника в управлении, предоставлении ему возможностей открыто высказывать свое мнение, участвовать в обсуждении производственных проблем. Однако сама по себе трудовая демократия повиснет в воздухе или будет превращена в бездушную проформу, пока не будет демонтирована бюрократическая система организации нашей экономики, ее монополистический механизм, ориентированный на замораживание народной самостоятельности, инициативы и предприимчивости. Огромная экономическая власть (можно сказать, всевластие) монополистических ведомств, используемая чаще всего против интересов народа, должна быть беспощадно сокрушена. Следует выработать специальное законодательство, запрещающее монополизацию выпуска или продажи того или иного вида продукции в руках одной организации в ущерб потребителю. Как мы помним, у нас перед первой мировой войной вопрос о таком законодательстве активно обсуждался, в других странах он был принят еще в конце XIX века. В США, например, было разработано антитрестовское законодательство, по которому Верховный суд неоднократно принимал решение о разделении крупных монополистических корпораций на несколько самостоятельных компаний, конкурирующих друг с другом. По-видимому, предстоит в корне реформировать систему «министерской» организации промышленности, создав в каждой отрасли множество самоуправляющихся промышленных объединений на корпоративной основе (лучше всего с продажей акций для работников предприятий—для укрепления в них чувства хозяина). Эти самоуправляющиеся объединения могут на добровольной основе соединяться в ассоциации по

координации деятельности своей отрасли, но конечно не в ущерб потребителю. Нужны консультативные организации на хозрасчетной основе со свободной покупкой их услуг предприятиями и объединениями.

Кустарный, примитивный («от достигнутого») уровень централизованного директивного планирования, которым характеризуется деятельность современного Госплана и плановых комиссий, должен уйти в прошлое, и чем скорее, тем лучше. Попытки из единого центра административными методами завязать в один узел десятки миллионов экономических показателей и миллиарды их комбинаций могут быть успешными только в воспаленном воображении наследников Троцкого. Административное централизованное планирование, которое существует у нас, в лучшем случае равнозначно отсутствию всякого планирования, а в худшем (что чаще всего) является формой стимулирования хозяйственной анархии и различных злоупотреблений, ведущих к подрыву нашей экономики. Сегодня ни для кого не секрет, что аппарат Госплана является злокачественным механизмом по торможению экономического развития страны, сдерживанию самостоятельности, инициативы и предприимчивости в угоду интересам монополистических объединений. Централизованное планирование экономики страны (кроме оборонных отраслей) должно осуществляться индикативно, рекомендательно, а не директивно.

Эффективная централизованная экономическая политика может осуществляться только на основе экономического регулирования налоговых ставок и цен, процента за кредит, амортизационных отчислений. Следует возродить древние традиции хозяйственных ярмарок (в конце XIX века их было 18,5 тысячи), на которых будут увязываться спрос и предложение, производство и потребление.

Заказы на производство продукции предприятиям должны организовываться не как продразверстка — навязанное сверху невыгодное дело, а как завоеванное в соревнованиях на торгах право произвести продукцию на условиях, наиболее выгодных и обществу и предприятию. Конечно, такая организация заказов может осуществляться только при свободной продаже сырья, материалов, технических средств и полной хозяйственной самостоятельности.

Острейшей проблемой нашей экономики является чрезмерная концентрация производства, гигантизм промышленных предприятий, препятствующие их нормальному управлению, способности к перестройке.

Поэтому необходимо ослабить чрезмерную концентрацию производства до пределов, выше которых теряются преимущества крупных масштабов производства (они неодинаковы в разных отраслях), а также создать условия для развития небольших предприятий.

Экономическая практика дореволюционной России и современных зарубежных стран показывает, насколько в динамично развивающемся хозяйстве велика роль небольших предприятий. Они обладают большей эксплуатационной гибкостью, относительно легко перестраиваются и обновляют основные фонды, быстро внедряют новую технологию, легко реагируют на все изменения потребительского спроса, и все это при относительно небольших капитальных вложениях. Необходимо создание условий для свободной кооперации крупных и небольших предприятий, что позволит не только быстро внедрять нововведения и реагировать на изменение спроса, но и оперативно расширять производство на крупных предприятиях путем сотрудничества с небольшими предприятиями. Крупные предприятия смогут ориентировать свое производство на массовый выпуск стандартных изделий с помощью фондоемких технологий, окупающихся при большом масштабе производства. Небольшие предприятия сосредоточат свои усилия на производстве продукции, выпуск которой невыгоден для крупных заводов.

Необходимо привести в соответствие развитие факторов производства, остановить опережающий рост основных производственных фондов, «производство ради производства» за счет экономии на человеке.

Прежде всего следует провести поэтапное повышение доли оплаты труда в национальном доходе (в настоящее время менее 40 процентов) до той справедливой меры (50—60 процентов), которая была в нашей стране еще в конце 20-х годов, а ныне существует в большинстве промышленно развитых стран. Увеличение доли оплаты труда повысит его производительность и качество. Для сбалансированного развития факторов производства потребуется постепенное увеличение доли потребления в национальном доходе примерно до 80—85 процентов, повышение доли общественных фондов потребления в общих издержках на рабочую силу не менее чем в два раза.

Необходимо постепенно отменить позорную «дань», которую государство взимает с населения при покупке товаров широкого потребления, так называемый налог с оборота. Гигантский косвенный налог на промышленные товары, покупаемые населением, разрушает всю структуру трудовой стоимости, вызывает несоответствие между трудовыми усилиями работника и материальными благами, которые он за них получает. Более того, так как косвенный налог взимается только с населения и не затрагивает промышленные предприятия, он является своего рода дотацией на экстенсивное развитие предприятий, углубляя несоответствие трудовой стоимости. И, наконец, самое главное в том, что налог с оборота — фиктивная, несозданная часть общественного продукта, и, безусловно, не должен учитываться в составе национального дохода. Использование налога с оборота — это одновременно и поддержка экстенсивного развития промышленности, и обеспечение легкой жизни бюрократического аппарата, и вместе с тем запланированная девальвация рубля, сводящая

его на нет как функцию меры труда. Именно поэтому реформа финансовой системы и прежде всего ликвидация налога с оборота — настоятельное требование времени. Она позволит сделать рубль реальной мерой труда, даст толчок развитию товарного обеспечения, то есть создаст основу для эффективного функционирования системы материального стимулирования.

Вопрос о финансовой несбалансированности экономики (так стыдливо называют ныне целый ряд хозяйственных болезней — дефицит казны, превышение расходов над доходами, резкое превышение денег в обращении по сравнению с товарами, которые на них можно купить) кое-кто предлагает решить путем денежной реформы, повышения цен, то есть переложив на плечи трудящихся результаты неэффективного хозяйственного механизма, хотя сегодня даже ярые сторонники такого решения вопроса, поняв, к чему это может привести, в частности для них самих, не заикаются больше об этом.

Но вместе с тем у этих людей появилась новая сногсшибательная идея «облагодетельствовать» народ, или, в их лексиконе, «человека с улицы», путем закупки за рубежом потребительских товаров примерно на 5 миллиардов долларов в год за счет сокращения импорта оборудования и привлечения кредитов. Мол, как временная мера, лет на пять, для видимого всем улучшения положения, чтобы убедить «человека с улицы» в необходимости перестройки (Н. Шмелев).

Замечательный аргумент! На уровне передового человека 60-х—70-х годов. Решение экономических проблем модернизированными методами «брежневского времени» — путем создания иллюзий для народа, затыкания прорех в экономике путем экспорта-импорта. А что временная эта мера — уже слышали, когда начали зерно покупать (тогда тоже на год, два, три) и до сих пор покупаем, фактически привязав себя к западному рынку, сначала немного, потом больше, больше, а сейчас, получается, и обойтись не можем. Так же будет и с этими товарами, если вместо развития собственных ресурсов перейдем на иждивение к Западу, постоянно превращаясь в его сырьевой придаток и рынок сбыта товаров, которые изготовлены из нашего же сырья.

Мы, что бы там ни говорили, пока еще великая держава, и идти путем, который нам предлагают, это заведомо отказаться от самостоятельного развития. Конечно, мы должны и будем покупать у Запада передовую технику и технологию, но только для того, чтобы развивать собственное производство, использовать свой экономический потенциал.

Еще, конечно, поражает снобизм творцов идеи закупки товаров за границей. По их мнению, народ («человек с улицы») может понять необходимость и привлекательность перестройки только через владение импортным ширпотребом, только материально заинтересовавшись в ее итогах. В этом духовная нищета и несостоятельность некоторых наших «прорабов» перестройки, разговаривающих с народом на разных языках. Можно ли осуществить гигантское дело нашей перестройки, опираясь прежде всего на материальный интерес, на идею «колбасы»? Думается, что нет! Приоритет материального интереса не свойствен большинству наших соотечественников, и люди, одержимые им, назовем их «колбасниками», составляют меньшую их часть. Почему же мы должны навязывать идеологию «колбасников» всему обществу? Почему эту идеологию мы должны считать более прогрессивной?

И наконец последнее. Кому же попадут эти импортные товары? При огромных масштабах нашего неудовлетворенного спроса эти товары будут каплей в море, и достанутся они прежде всего узкому слою «революционного меньшинства», интересы которого, по сути дела, отстаивают Аганбегян, Заславская, Шмелев, а также нашим толстосумам из торговли и сферы услуг. К народу же эти товары придут через спекулянтов.

Финансовая сбалансированность должна обеспечиваться не закупкой товаров за границей, а кардинальным сокращением государственных расходов, сокращением паразитической части государственного аппарата, ликвидацией ведомств типа Минводхоза, прекращением строительства ненужных строек и каналов, уменьшением потерь и расточительства.

Все это будет возможно при условии возрождения предприимчивости, инициативы, самостоятельности, самодеятельности «снизу»; проявления трудолюбия и добросовестности, чем всегда были славны наши соотечественники и что сегодня вытеснено на периферию нашего сознания.

Сегодня история в который раз ставит нас перед выбором. Либо мы идем старым путем, чуть-чуть скорректировав его на современность, по-прежнему игнорируя вековой хозяйственный опыт, национальную модель экономического развития, отвергая народные основы, традиции и идеалы, насаждая вместо них заимствованные из-за рубежа экономические формы, понятия и идеи. В этом случае мы неминуемо повторяем тот круг, который начался у нас в двадцатые годы и закончился экономическим тупиком...

Либо мы всем миром возьмемся за возрождение богатейших культурно-исторических и духовно-нравственных ценностей, накопленных нашими предками и ставших неотъемлемой частью народной психологии, вернемся к народным основам, традициям и идеалам, учтем исторические особенности нашего хозяйственного развития, соединим их огромный потенциал с лучшими достижениями человечества. Мы глубоко убеждены, что только этот путь принесет нам счастье и процветание, создаст условия для реализации возможностей каждой человеческой личности.

Москва,
ноябрь 1988 — февраль 1989 г.

Народными депутатами СССР были избраны четыре члена редколлегии журнала «Наш современник» — В. П. Астафьев, В. И. Белов, И. А. Васильев и В. Г. Распутин. Двое из них выступили на Съезде. Идя навстречу пожеланиям многих читателей, мы публикуем текст этих выступлений.

Валентин РАСПУТИН

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СЪЕЗДЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

УВАЖАЕМЫЕ товарищи депутаты! Здесь невольно выявилось противопоставление между нами — между теми, кто прошел конкурентные многомандатные бои, и теми, кто пришел от общественных организаций. Не раз за эти дни приходилось слышать, что одни — избранники народа, а другие подсажены, чтобы тормозить активность перестройки. Я тоже считаю, что Закон о выборах несовершенен и со временем должен быть изменен в пользу только окружной системы. Разве это нормально, когда один человек голосует дважды или даже трижды — у себя в округе, где-нибудь в Фонде культуры, а потом еще в Союзе писателей? Такого, естественно, не должно быть.

Однако чем дальше заходят наши дискуссии, тем больше убеждаюсь я, что на начальном этапе демократических выборов представительство от общественных организаций было необходимо. Во имя того плюрализма, о котором мы много говорим как об условии демократического существования. Потому что перестройка вступила сейчас в такую стадию общественного развития и поднялась на ту вершину, где обитают ястребы, которые и пытаются монопольно стать ее хозяевами, а всякого, кто не согласен с ними, объявляют врагом перестройки. Самое употребительное выражение на Съезде — «антиперестроечные силы».

Мы слышим: если перестройка — это революция, то должна быть и контрреволюция. С контрреволюцией, как сами понимаете, разговор бывает особый, без всякого плюрализма. Когда «ястребы» придут к власти, они постараются создать и государственную систему подавления контрреволюции, а пока, на пути к власти, вводится, и вводится довольно успешно, система общественного подавления.

Дело не в расхождениях, которые неизбежно появляются в процессе развития и которые по мере развития могут быть сближены или устранены. Дело куда как в большем — в судьбе перестройки и демократии. Мне понравилась прозвучавшая здесь мысль Олжаса Сулейменова: если все время загребать слева, непременно пристанешь вправо. Это не просто образ, а закон действия всякого поворотного механизма, в том числе и общественного. У Платона, древнегреческого философа, есть по этому поводу замечательные слова: «...тирания возникает, конечно, не из какого другого строя, как из демократии; иначе говоря, из крайней свободы возникает величайшее и жесточайшее рабство».

Так вот: чтобы этого не произошло, чтобы демократия в нашей стране утвердилась раз и навсегда, нет ничего предосудительного в том, если в обществе появляется необходимость сдерживания «безумства храбрых». Пропетая ему, этому безумству, песнь привела в свое время к трагическим результатам. Теперь из одной пропасти оно способно толкнуть нас в другую. Так что поосторожнее с «антиперестроечными силами», к ним по всей логике вещей в первую очередь вас и следует отнести.

Плюрализм возможен как разность и многообразие общественных и политических мнений. Вы навязали стране плюрализм нравственности. Вот это поопаснее бомб. Общество или поддерживает нравственность или не поддерживает ее — третьего пути не бывает. Раздававшиеся здесь робкие голоса о главенствующем значении в любой цивилизованной стране культуры

и духовности, как мне показалось, были пропущены мимо ушей. Нас больше занимает различное законодательное крючкотворчество. Упаси меня боже быть против разумных поправок к Конституции и законам, я только был бы удивлен, если бы новая Конституция вслед за сталинской и брежневской стала евтушенковской. Повторяю, я не против всяких разумных поправок, только во имя души, достоинства, культурного и нравственного облика народа их пока не было.

«Хлеба и зрелищ!» — вот что исподтишка записали на знаменах перестройки. В зрелищах мы уже преуспели, притом в зрелищах самого сомнительного свойства. Идет почти открытая пропаганда секса, насилия, освобождения от всяких нравственных норм. Сейчас время трагедий, которые следуют почему-то одна за другой, но заметили ли вы одну закономерность: только смолкнет голос диктора, объявляющего о человеческих несчастьях и жертвах, как экран и эфир заполняет какофония бесноватой музыки. Мол, нам все трын-трава, мы свободны и от морали, и от сопереживания. Куда дальше: орган Детского фонда им. Ленина журнал «Семья» из номера в номер печатает детскую сексуальную энциклопедию в картинках, от которых даже взрослому становится не по себе. Вероятно, в таком воспитании председатель фонда и редактор журнала видят свою миссию спасения обездоленных детей. Злу не положено предела, говорили древние, и истина эте подтверждается все более и более.

Не знаю, как грузинской депутации, а мне не по себе стало, я счел это святотатством, когда красотки в плавках, участницы очередного конкурса красоты, кокетливо застыли в минуту молчания в память о погибших в апрельских событиях. Неужели подобный цирк не оскорбляет ваши национальные чувства?

Со зрелищами, как видите, все в порядке, а если добудем еще и хлеб, замешенный не на поте и нравственности, а приобретенный в полном ассортименте распродажей национальных богатств, недалеко будет и до повторения судьбы Римской империи.

Здесь, помнится, кто-то строго взыскивал с тов. Лукьянова за рост преступности. Причин много, что и говорить, но одна из главных, может быть, самая главная, — нравственная разнузданность и похотливость, неразборчивость и сквернолюбие средств массовой информации, особенно молодежных изданий и программ. Все это мутным потоком хлынуло в книги, кино и театр и принялось обслуживать индустрию развлечений, паразитирующую на человеческих пороках. Наша молодежь бессмысленно гибла в Афганистане, столь же бессмысленно она калечится в необъявленной войне против нравственности. Призывов стать лучше в таких случаях недостаточно, нам необходимо закрепление закона, который бы взял под охрану нравственность и запрещал пропаганду зла, насилия и пороков.

Когда-нибудь мы пожалеем, что пренебрегли столь важной наукой в это переломное время, как социальная психология. Знание этой науки, позволяющей учитывать настроения людей, способно принести самые неожиданные и удивительные результаты. У нас в обществе вместе со здоровой создается в последнее время активность, из которой изымается гражданское и патриотическое содержание и которая переводится в русло нигилизма и высокомерных притязаний. Неправые, как известно, всегда активнее и организованнее. В ходе предвыборной кампании настроение определенных групп улавливалось некоторыми кандидатами с чуткостью барометра. Стоило кому-нибудь из них выложить партбилет, как популярность его взмывала сразу, будто на крыльях.

Я не член партии и сознательно не вступал в нее, видя, как много пробивается туда разного рода корыстолюбцев. Состоять в партии было выгодно. Потому она и потеряла свой авторитет. Сейчас состоять в партии стало невыгодно, более того — опасно, и оставлять ее в такой момент отнюдь не мужество, как преподносится неискушенным людям, а тот же самый расчет, который прежде вел в партию. Мужеством это было бы десять или даже пять лет назад.

Юристы не однажды объясняли нам здесь такие тонкости своего предмета и показывали столь ювелирное знание законов, что сердце радовалось: есть такие специалисты — недалеко и до правового государства. Но как быть, уважаемые товарищи юристы, с такой закавыкой, отнюдь не тонкого свойства, когда ваш коллега в интересах избрания в депутаты подбрасывает сенсацию, связывая с преступностью имя из самого верхнего эшелона власти? Разве тайны следствия уже не существует? Разве презумпция невиновности отменена? В неправовом государстве, в котором мы долго пребывали, хоть генерал и член Политбюро могли чувствовать себя в безопасности, а в том правовом, к которому, судя по всему, вы нас ведете, ни высокопоставленные особы, ни тем более самый простой человек, если он выказал инакомыслие или не угодил кому-то, не свободен будет коли не от физического, так от морального уничтожения, от клеветы и машины шельмования, которая ничем не лучше машины четвертования и которая, похоже, уже пущена в ход. А не все ли равно, от чего погибать приговоренному — от государственного террора или от террора среды в государстве, где, возможно, формально станут соблюдаться писаные законы.

К сожалению, Вы не ответили, Михаил Сергеевич, на заявление депутата Роя Медведева, будто всякий раз, когда Вы отлучались из Москвы, да если еще Ваше отсутствие совпадало с отсутствием А. Н. Яковлева, то создавалась обстановка, близкая к государственному перевороту. В связи с этим я хочу спросить Вас, так ли это и была ли очередная опасность государственного переворота в период последнего Вашего визита в Китай, где Вы находились одновременно с Александром Николаевичем. Если таковой злоумышленник в Политбюро существует, то почему Политбюро с ним мирится, а если обвинения депутата Медведева беспочвенны, почему Вы об этом не скажете? Разве не видно, что в борьбе за власть, которая ни для кого здесь не является тайной, намечена к устранению первая фигура, против которой давно ведется организованая кампания? Нет нужды напоминать Вам, кто станет следующим.

Все это, уважаемые товарищи депутаты, увы, уже было. Слишком многое в атмосфере нашего Съезда узнаваемо. Появляются у нас свои Керенский, Чхеидзе, Милюков, Гучков, со временем обозначатся и другие; слышны поры Государственной думы призывы; те же пляски на процедурных вопросах, срывающих обсуждение важных дел, то же стремление навязать свою позицию, та же страсть к сильным выражениям... Помните: обвинили в государственной измене сначала военного министра, а когда и это сошло с рук, обвинили в том же императрицу. Остальное было делом техники. Не мною сказано, но кстати повторить здесь в небольшой редакции знаменитые слова: вам, господа, нужны великие потрясения, нам нужна великая страна.

О стране. Никогда еще со времен войны ее державная прочность не подвергалась таким испытаниям и потрясениям, как сегодня. Мы, россияне, с уважением и пониманием относимся к национальным чувствам и проблемам всех без исключения народов и народностей нашей страны, но мы хотим, чтобы понимали и нас. Шовинизм и слепая гордыня русских — это выдумки тех, кто играет на ваших национальных чувствах, уважаемые братья. Но играет, надо сказать, очень умело. Русофобия распространилась в Прибалтике, в Грузии, проникает она и в другие республики, в одни меньше, в другие больше, но заметна почти повсюду. Антисоветские лозунги соединяются с антирусскими, эмиссары из Литвы и Эстонии едут с ними, создавая единый фронт, в Грузию, оттуда местные агитаторы направляются в Армению и Азербайджан. Это не борьба с бюрократическим механизмом, это нечто иное. Здесь, на Съезде, хорошо заметна активность прибалтийских депутатов, парламентским путем добивающихся внесения в Конституцию поправок, которые позволили бы им распрощаться с этой страной.

Не мне давать в таких случаях советы, вы, разумеется, сами распорядитесь своей судьбой по совести и закону. Но по русской привычке бросаться на помощь я размышляю: а может быть, России выйти из состава Союза, если во всех своих бедах вы обвиняете ее и если ее слаборазвитость и неуклюжесть отягощает ваши прогрессивные устремления? Может, так лучше? Это, кстати, помогло бы и нам решить многие проблемы как настоящего, так и будущего. Кой-какие ресурсы, природные и человеческие, еще остались, руки не отсохли. Без боязни оказаться в националистах, мы могли бы тогда произносить слово «русский», говорить о национальном самосознании, отменили бы, глядишь, массовое растление душ молодежи, создали наконец собственную Академию наук, которая радела бы российским интересам, занялись нравственностью, помогли народу собраться в единое духовное тело.

Поверьте, надоело быть козлом отпущения и сносить издевательства и плевки. Нам говорят: это ваш крест. Однако крест этот становится неподъемен. Мы очень благодарны Борису Олейнику, Иону Друцэ и другим депутатам из республик, кто сказал здесь добрые слова о русском языке и России. Им это позволяется, нам не прощается. Нет возможности сейчас подробно объяснять, да вы это и сами должны знать, что не Россия виновата в ваших бедах, а тот общий гнет административно-промышленной машины, который оказался для всех нас пострашнее монгольского ига и который и Россию тоже унизил и разграбил так, что она едва дышит. Нет нужды в подробных разъяснениях, но мы просили бы вас: жить нам вместе или не жить, но пока мы вместе, не ведите себя высокомерно и не держите зла на того, кто его, право же, не заслужил. А лучше всего вместе бы нам поправлять положение, сегодня для этого есть возможности.

Я согласен с теми, кто предлагал здесь не запугивать без особой нужды депутатов, а значит, и всю страну, которая не отрывается от телевизора, тяжестями нашего положения. Запугивать не нужно, но есть одна, самая главная, изначальная сторона нашего существования, где, что бы вы ни сказали, как бы ни пытались преувеличить картину, все будет мало. Речь идет об экологии, слово это самой природой давно уже начертано не зеленой, а черной краской.

Мы пытаемся строить новое, справедливое государство, а для чего его строить, если годы наши при таком отношении к природе сочтены? Госкомприрода не справляется со своими функциями и при ее подчиненности не может справиться. Пока не поздно, необходимо вывести ее из бесправного положения и передать Верховному Совету. Все широкомасштабные природопреобразующие проекты нужно обсуждать в комиссии Верховного Совета и выносить на окончательное утверждение Съезда. Иначе снова и снова будут появляться правительственные постановления, принятые тайно от народа, как, например, постановление о строительстве в Тюменской области пяти нефтегазохимических комплексов, разорительных для страны, чрезвычайно губительных для природы, но, вероятно, выгодных иностранным фирмам. Иначе нельзя будет покончить с практикой принятия проектов без экологической экспертизы.

Я обращаюсь, к Николаю Ивановичу Рыжкову. Будучи в Алтайском крае, Вы, Николай Иванович, введенный в заблуждение толкачами строительства Катунской ГЭС, публично, на всю страну согласились, что да, строить надо. Затем на встрече в крайкоме партии Вы оговорились: при условии положительной экологической экспертизы.

Однако эти Ваши слова слышали лишь те, кто не хотел их слышать, а первые, прозвучавшие по телевидению, были приняты руководством к действию. Нас, многих депутатов, потому и забрасывают телеграммами и письмами со многими тысячами подписей людей, болеющих за Алтай, что именно в эти дни экспертная комиссия СО АН и Госплана РСФСР принимает решение об одобрении строительства и таким образом об уничтожении последнего уникального природного комплекса Сибири. Мы просим Вас, разберитесь внимательно с катунским делом. Нам, нескольким депутатам, участвовавшим в создании Байкальского движения по сохранению пресной воды, пришлось на два дня оставить Съезд, чтобы провести на Севане очередное заседание этого международного движения. Мы посмотрели там фильм о болезни Минамата, привезенный японцами, — о болезни, вызванной органической ртутью. Фильм жуткий, волосы становятся дыбом от страшных картин, показывающих мучения людей и масштабы бедствия. В районе Катунской ГЭС месторождения ртути, они и вызывали до сих пор сомнения ученых, которые исчезли после Вашего, Николай Иванович, невольного вмешательства. У нас на Ангаре вот уже несколько лет на гидростанциях спускается вода — некуда девать электроэнергию. Может, вместо того, чтобы губить Катунь, передавать эту энергию на Алтай? Есть, разумеется, и другие пути, о коих нет времени говорить.

И закончить я хочу тем, что если уж мы собираемся вводить практику всенародных референдумов, то на первом референдуме должен быть поставлен вопрос об АЭС.

Василий БЕЛОВ

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СЪЕЗДЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

Я БЫ ХОТЕЛ начать выступление с того, что я не понимаю и не принимаю вчерашних двух или трех грубейших выпадов против только что избранного президента. Даже американцы, уж на что шумный народ — и те не требуют импичмента на второй день после избрания президента. Они уважают своего президента.

И вообще я задумываюсь, народные ли мы депутаты? Если действительно народные, то в какой степени? Я понимаю благородство депутата Казанника. Запомнился мне и пафос двух ленинградских депутатов, предложивших снять свои кандидатуры в пользу другой республики. Но я бы на месте ленинградских избирателей не стал голосовать за таких депутатов, которые с такой легкостью отказываются от своих прав. Мы обязаны исполнять волю своих избирателей. Даже депутатское время становится сейчас народным достоянием, и поэтому нам необходимо осознать иерархию ценностей.

В политической борьбе существует много самых разнообразных приемов. Один из них очень простой и надежный — это способ подмены. Можно, например, целыми днями обсуждать процедурную тему или какой-нибудь второстепенный, а то и просто ненужный закон. Нас очень легко спровоцировать на затяжную, изнурительную дискуссию по какому-нибудь совершенно случайному поводу, и тогда мы потратим впустую свою энергию.

В тысячах писем от читателей, телеграммах избирателей четко и ясно выражены наказы этих избирателей. Они диктуют мне иерархию моих депутатских ценностей. На мой взгляд, необходимы срочные доработки и уточнения Основного Закона. Особенно важно здесь, во-первых, осуществить дальнейшее совершенствование избирательной системы; во-вторых, утвердить расширение прав местных Советов за счет децентрализации власти; в-третьих, и это самое главное, на мой взгляд, в нашей Конституции должно быть особо оговорено то, что наряду с колхозно-совхозной собственностью на землю должна наконец появиться и существовать частная, с правом передачи по наследству. Я убежден, это можно и нужно решить уже сейчас, на нынешнем Съезде.

Закон, допускающий наряду с колхозной частную, хуторскую, фермерскую собственность на землю, необходим всем народам, населяющим наше великое государство. Принятие такого закона явилось бы доказательством того, что мы всерьез думаем о будущем. Дело не только в том, что надоело клянчить хлеб у других государств. Дело в том, что новый закон о землепользовании в значительной мере сгладил бы множество экономических и особенно национальных противоречий. Он же способствовал бы и экологическому оздоровлению, а также языково-культурному возрождению всех народов нашего многонационального государства.

Я предлагаю называть продовольственную комиссию комиссией по землепользованию. Разумеется, я вовсе не сторонник тех горячих голов, которые предлагают вообще ликвидировать колхозно-совхозную собственность на землю. То, что многие наши колхозы ограблены и разорены государством, еще не основание для их немедленной ликвидации. Наоборот, нужно прекратить этот грабеж и ликвидировать не сами колхозы, а ведомство Мураховского.

Землей и водой должны распоряжаться не ведомства, а народ в лице его местных Советов с помощью общесоюзных законов. Минводхоз СССР, израсходовавший за последние двадцать лет 150 млрд. народных денег и разрушивший миллионы гектаров лучших земель, поставил сельское хозяйство на грань катастрофы. Это он, вместе с гидростроителями и химиками, сгубил великую реку, на берегах которой веками жили десятки разных народов! Я имею в виду Волгу.

Курс на разрушение экономики с помощью ведомственных решений продолжается. Недавно Мураховский направил в Политбюро записку с предложением довести к 2005 году площадь орошаемых земель до 40 млн. гектаров. На эти разрушительные цели Минводхоз опять требует от нас 230 млрд. рублей. Не надо давать! На эти деньги можно построить 500 тыс. километров дорог, 10 млн. благоустроенных сельских домов, сотни тысяч школ, больниц, магазинов. С помощью этих миллиардов можно закрепить кадры на селе и оперативно погасить продовольственный кризис. Но мы почему-то не хотим признавать своих ошибок.

Минводхоз, который давным-давно опростоволосился, в 1988 году получил тысячи экскаваторов и бульдозеров. В то же время несколько сот единиц этой техники, запланированной для программы «Дороги Нечерноземья», так и не были поставлены Минавтодору РСФСР. Вообще не мешало бы поговорить о политическом, экономическом и финансовом равенстве советских союзных республик. Неравное политическое положение РСФСР в союзе наших республик становится, по оценкам экспертов, источником русофобии. Поскольку в РСФСР отсутствуют такие важные органы, как ЦК, многие государственные комитеты, Академия наук, то и предполагается, что их функции якобы выполняются общесоюзными органами. Не потому ли все общесоюзные органы воспринимаются как русские органы? Их ошибки и просчеты, все пороки нашей системы, в которой живут все наши народы, воспринимаются как ошибки русских людей. Неравенство республик сказывается и в формировании общесоюзного бюджета, в политике заготовительных цен, дотаций и распределяемых фондов. Многолетнее неравенство подтверждается демографической ситуацией. Она, эта ситуация, неблагоприятна не только в РСФСР, на Украине и в Белоруссии, но и в Эстонии, Латвии и Литве. Однако экономическое неравноправие особенно характерно для Сибири и так называемого Нечерноземья. Большинство депутатов нашего Съезда просто не знают удручающих статистических данных по этому делу. Во избежание эмоционального всплеска я не буду зачитывать цифры. Скажу только одно: до революции русские и украинцы имели самый высокий прирост населения. Теперь и те и другие оказались перед угрозой депопуляции. В стране продолжается голосование ногами. И я не завидую правительствам трех прибалтийских республик, где прирост населения происходит за счет приезжих, а не за счет увеличения рождаемости коренного населения. Нормально ли это? Я глубоко верю в то, что депутаты Закавказья, среднеазиатских республик и прибалтийских, а также депутаты автономных российских республик правильно поймут эту часть моего выступления. Но я совсем не уверен в том, что так называемое «демократическое меньшинство», вернее, пресса, не приклеит мне очередной ярлык. Однажды «Московские новости» на шести языках уже назвали меня «человеконенавистником». Конечно, брань на вороту не виснет. Если уж и некоторые члены Политбюро, да и сам Михаил Сергеевич Горбачев, научились терпеть бранную клевету, то нам, простым смертным, грех жаловаться. Но меня все же очень беспокоит тот факт, что средства массовой информации, особенно телевидение, находятся в одних руках и зачастую отражают интересы не всех людей, а интересы определенных, причем столичных групп. Тут плюрализм пока что даже не ночевал. Судя по выступлениям, московская группа во многом опирается на науку. Действительно, ни в одной стране нет такого количества академиков, как у нас. В Москве академики сплошь: космические и всякие. Но почему в моей деревне крестьянин косит сено тем же способом, что в XII веке? А каков результат новейшей экономической науки? Результат, по-моему, пока один. Это Рижский рынок в Москве. За четыре года перестройки столичные и прочие экономисты ничего не придумали, кроме городских кооперативов, которые надо было начинать не с города, а с деревни. А как уважать такую науку, которая подарила нам Чернобыль? Я совсем не против науки как таковой, но нельзя же думать только о своих академических интересах. Большинство интеллигенции находится и живет в городах. В моем родном колхозе уже лет пятнадцать в школе не преподают иностранный язык — нет преподавателя. А сможет ли деревенский выпускник поступить в университет или в институт, если в школе даже не преподавали обязательный предмет? Всего около восьми процентов от общего числа студентов — дети крестьян. А мы не должны забывать, что миром правят грамотные...

Здесь говорилось об опасности хулиганства и экстремизма для нашей юной демократии. А кто виноват, простите? Разве не сами мы, разве не телевидение, не эстрада, не кино пропагандируют культ жестокости и насилия?

Централизация культурной политики, отдача ее на откуп одним и тем же, довольно развязным людям, не приводит к добру. Вот я зачитаю выдержку из телеграммы: «Просим передать Съезду — предотвратите опошление культуры. Коммерческое кино, эстрада, порнография, авангард, алкоголь, наркотики разрушают надежду на возрождение». Кстати, об алкогольных наркотиках. Невыполнение Закона 1985 года вызвало в народе разочарование в действиях Политбюро. Это был неплохой закон. Был закон, да сплыл. Я еще одну телеграмму, вернее, выдержку, зачитаю с Урала. Женщина пишет: «Я сама от пьяницы мужа из-за его пьянки развелась. Одна воспитала сына, держу корову, двух телок, овец. Всю войну ребенком выстояла на фабрике, с пяти лет нянька. Сейчас из последних сил держу хозяйство. Сдаю молоко государству, жирность — 4,1. У нас в день выборов начальство послало автобус с урной, в автобусе всем давали выпивку — только голосуй. А народ и так споенный весь. Два мужика в деревне осталось, и те лыка не вяжут». Теперь я обращаюсь к членам Политбюро. Вы, вероятно, как все мы, ходите во время перерыва в буфет. Там продают прекрасную ряженку, но, если и вот эта женщина запьет, я не знаю, что останется в кремлевском буфете. Пора бы нам понять простую истину, что с пьяным бюджетом невозможна трезвая экономика. У тех, кто жалуется и сейчас на жестокий бюджетный дефицит, надо спросить: а почему же он получился? Не из-за того ли, что в стране 18 миллионов человек — управленческий аппарат? Во что обходится содержание такого аппарата? А война в Афганистане почем? А Куба, а Никарагуа, Эфиопия? А космос почем? А сколько стоят наши грандиозные фестивали, олимпиады и международные форумы? А минводхозовские каналы сколько стоят? Немудрено быть бюджетному дефициту при таких министрах, как Васильев и Мураховский. Истратили миллиарды, а толку нет и в ближайшее вермя не предвидится.

Я вынужден процитировать отрывки еще из одного письма, адресованного мне и Валентину Григорьевичу Распутину: «Обращаемся к вам с просьбой выступить с законодательной инициативой об аннулировании Верховным Советом всех сделок о сдаче в аренду участков территории Советского Союза иностранным и смешанным фирмам. О запрещении подобных сделок впредь, а также об аннулировании всех прочих концессий и аренд. Сейчас наступило какое-то торгашеское осатанение. Некоторые готовы с потрохами самого себя продать, да еще при этом и плюнуть на свою Родину. Мало того, что пошла торговля живым товаром (спортсменами, нумерованными на конкурсах красавицами). Мало того, что внутренние доброхоты готовы за доллары выгрести подчистую все богатства страны. Мало того, что Советский Союз превращается в свалку радиоактивных отходов и вредоносных производств, так теперь пошло и разбазаривание территорий своей собственной страны».

Я продолжаю цитировать: «Что это — крайняя степень политического слабоумия, крайняя степень безответственности, скрытая ненависть к своей стране или циничная продажность? Натренировавшись на взятках в рублях, потянуло на доллары? Но у нас нет Родины про запас. Здесь нашим детям, внукам и правнукам жить. Это — их земля. С какой стати горисполком или облисполком, с какой стати вот эти люди командуют всенародным достоянием? Подобные вопросы должны решать только Верховный Совет или Съезд народных депутатов. Позорные сделки должны быть аннулированы. Позорные сделки по превращению нашей страны в свалку радиоактивных отходов тоже должны быть преданы гласности и отменены».

Трудно не согласиться с этими авторами, но я бы добавил сюда требование опубликовать и обсудить условия всех международных договоров, опубликовать подробности, почему эти условия принимаются и подписываются узким кругом лиц. Я предлагаю Съезду и Президиуму Съезда поставить на голосование Съезда вопрос о немедленной подготовке и проведении референдума по атомной энергетике.

Уважаемые депутаты! С трибуны Съезда несколько раз прозвучали гордые, даже ликующие слова о власти. Дескать, отныне и навсегда власть у народных депутатов. Я не разделяю такого депутатского оптимизма. Не торопитесь спешить, как говорили в Одессе! У нас пока нет власти, она принадлежит иным, иногда даже не известным нам людям. Она в руках, в тех руках, в чьих руках телевизионные камеры и редакции газет. У тех, кто сидит ближе к трибуне и кто уже научился пользоваться ксероксами. Даже здесь, на Съезде, власть принадлежит именно таким людям. А есть люди, мечтающие вообще о всяком безвластии, о хаосе мечтают. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Надо жить и работать со все возрастающей ответственностью.

Спасибо за то, что терпеливо выслушали.

Василий ЕЛОВСКИХ

СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

Евгении Ивановне Селиверстовой, человеку нелегкой судьбы, посвящаю

1

ПАДАЛ унылый лохматый снег. Деревья будто застыли. За всю дорогу не встретилось ни одной подводы и, кажется, ни одного человека, лишь изредка — верст через десять — показывались немые деревушки, маленькие, как варежка, с темными, тоже унылыми бревенчатыми избами.

Обоз с раскулаченными вытянулся почти на полверсты. Ехали тихо. Подвода, в которой везли семью Болдыревых, была в середине обоза. Катя и ее младшая сестренка Люба сидели в санях рядом с узлами, обшарпанным чемоданом и корзиной. Их отец Андрей Григорьевич, рыжебородый кержак, и мать Мария Васильевна, моложавая женщина с усталыми глазами, шли возле саней.

Возница — недобрый на вид мужик — изредка подозрительно взглядывал с облучка на Андрея Григорьевича. И когда старший Болдырев спросил, долго ли еще ехать, сухо ответствовал, окая по-уральски:

— Не торопися. Не в гости едешь. Успешь ишо намантулиться.

— А какая там деревня, куда нас везут? — спросила Мария Васильевна.

Возница не ответил.

Мария Васильевна наклонилась над девочками:

— Не замерзли?

— Нет, — сказала Катя. Ноги немели у нее от холода, на шее таяли снежинки и холодными щекочущими каплями стекали по спине. Но Катя не хотела признаваться в этом.

— А ты, Люба?

— Я не люблю зиму, — вяло проговорила она.

Сказала так неспроста...

Их увозили из весенней донской станицы утром на телегах. Больше десяти семей раскулачили. Говорят, позднее еще раскулачивали. Станица тогда только-только пробудилась. Из окон выглядывали казаки и казачки. С любопытством. С сочувствием. Но кое-кто и со злорадством. Степь уже покрывалась умытой зеленью.

Потом Болдыревы долго, очень долго ехали в товарном вагоне-теплушке с нарами в два яруса, битком набитом взрослыми и ребятишками. Теснота. Духота. И грязь. И чем дальше ехали, тем холодней становилось. Вот уже и снег показался, он лежал в оврагах и низинах. А потом их доволокли до таких мест, где снег был везде, — к зиме приехали. Это был Северный Урал.

Катя с Любой впервые увидели лес. Показывая на деревья, отец говорил им:

— Вот это дерево — со стволом белым, видите? — береза называется. Она ишо голая. А опосля листочками покроется. А те вон с верхушками зелеными — сосны. Они и зимой и летом такие же. И гляньте туда вон, вправо, за речку... Там три дерева зеленых. Вверху как клинья острые. Видите? Это ели.

— А почему листочки у них не застывают? — дивилась Катя.

— У елей и сосен листочков нету.

Двери вагона почти все время были закрыты. И получалось так, что Болдыревы не успели толком разглядеть горы. И теперь во все глаза смотрели на них, — обоз тянулся среди гор, лесистых и угрюмых. Казалось, горы эти устали, принизились, приплюснулись. И цвет у них был разный: темно-зеленые, синие, голубые, в зависимости от того, где расположены — близко или далеко.

Как много елей, они жмутся друг к другу, будто согреться хотят. Такие густые-густые и, как горы, угрюмые. Нелюдимые. Они пугали Катю и Любу. Пашен не видно, лес, изредка лужайки да речки. Ясно, что их везут туда, где не пашут, не сеют. Открестьянствовали. Тягучей горечью наполнялась от этого душа.

К ним подошел Михаил Чаусов, мужчина-крепыш с удалым чубом и озорными, веселыми глазами, что казалось странным в его положении ссыльного. Он из той же станицы, что и Болдыревы. У Чаусова был хороший курень, была невеста, была мать. Все было. Когда началось раскулачивание, невеста от него отшатнулась, а матушка слегла и через несколько дней тихо скончалась.

— Ну, как дела, казачки? Спецпереселенчики. — С хмурым весельем спросил. С нехорошим весельем. Посмотрел на возницу, на его лошадь и добавил уже другим голосом, в котором чувствовалась насмешка: — Что же это ты лошадь свою так заморил, а? Она же еле-еле ноги переставляет.

— Давай-ка не хорохорься, — буркнул возница и вдруг прикрикнул: — Откомандовался! Будя!.. Щас тобой командовать будут.

— Ты, дядя, меня за кого-то другого

принимаешь. — Чаусов протянул темную изработанную пятерню. — Это что, руки барина? У меня вся жизня на навозе прошла.

— Ша! Не вякай! Не положено мне с тобой разговаривать.

Мужчины шагали за подводой. Михаил чадил едучей махрой. А кержак Болдырев отворачивался, морщась от дыма. До Кати доносился злой голос Чаусова:

— Везде кости казачьи лежат. Даже в чужеземных странах. А зараз и в Сибири будут. Разделалось с нами мужичье как бог с черепахой. Нет, эта кроличья жизня не по мне. И я что-нибудь придумаю.

— Ничего ты не придумаешь. И помалкивай давай. А то наболтаешь себе на голову. Думай о боге.

— Эээ! — усмехнулся Чаусов. — Бог!.. Бог с коммунистами в сговоре. Он с ними в дружбе, так я думаю.

— Не богохульствуй, Михаил.

— Что-то я не дюже верю в него. Верю, не верю — не поймешь. Уж ежли кто и есть, так это сатана. Этот уж точно есть, тут и гутарить нечего. — Чаусов бросил остаток цигарки в голые кусты и сплюнул. — Я ить тоже орал когда-то: «Долой буржуев!» Доорался!

Болдырев опасливо покосился на возницу и, махнув рукой, отошел от Чаусова.

Ехали долго, до самого вечера. И все молчком, молчком. Дорога потянулась куда-то книзу; здесь было уже совсем глухое место, без деревьев, с редким, как бы выщипанным кустарником, — видимо, ехали по болоту или возле него.

— Куда нас везут? — с тревогой спросила Мария Васильевна.

Андрей Григорьевич не ответил, только мыкнул.

Показалась большая деревня, притулившаяся у подножия лысой горы, — две улицы и еще с дюжину изб, будто отброшенных к опушке леса. Избы из столетнего сосняка со множеством надворных построек. Темные, по-северному мрачные строения.

Семью Болдыревых поместили в двухоконной избенке, у дряхлой подслеповатой старухи, которая, по всему видать, не шибко разбиралась в том, «чё делатся в мире», кого к ней подселили и зачем. Подселили сирых, несчастненьких. А боженька велит таким помогать.

В избе была одна-единственная комната с русской печью. Стояли кровать-самоделка, стол, скамейки и табуретки самой грубой работы. Да еще курятник с курицами был тут. И старинный обшарпанный сундук испуганно глядел на пришельцев. Тесно. Но Болдыревы были рады и этому. Мария Васильевна стала готовить ужин («хоть чайку горяченького попить»), а Андрей Григорьевич вышел за ворота.

Наискосок, через полянку и дорогу, стоял новый пятистенник о пяти окнах с добротной амбарушкой и несколькими хлевами. В палисаднике две на диво ровных, будто подстриженных вербочки. Все в этом подворье было ухоженным. У ворот, по-уральски высоких, стоял в распахнутом полушубке сутулый мужик с длинными руками. Курил. Смотрел исподлобья. Это был местный богатей Черных. Докурив, притворил за собой ворота.

Еще в дороге Болдыревы надумали поменять кое-что из своей одежды на продукты. И сейчас, взяв шерстяную кофту, связанную в прошлом году Марией Васильевной, Андрей Григорьевич пошел к Черных. Потянулась за ним и Катя, ей хотелось посмотреть деревню.

— А ты ишо куда? — удивился Андрей Григорьевич.

— Да пусть идет, — вяло возразила Мария Васильевна. — Нехай видят люди, что и дети у нас голодуют.

Хозяин, сидя у окна, ремонтировал хомут. Тут же, поблизости, грудастая баба, с измятым лицом, в латаном переднике, толкла пестом в ступе.

«Видать, прислуга», — подумал Андрей Григорьевич.

— Тебе чего? — быстро и грубовато спросил хозяин.

Андрей Григорьевич сказал, что хотел бы поменять кофту на продукты.

— У нас, слава богу, своего хватат. Будем еще всякое рванье на себя напяливать.

— Да ты что! Эта кофта из чистой шерсти. И новая почти что.

— Все, все, топай! — нехорошо ухмыльнулся хозяин. Махнул рукой: — Подожди! Скажи-ка мне, за что тебя сослали? Ограбил, наверно, кого-нибудь?

Болдырев даже рот разинул от удивления и сразу не нашелся что ответить. Потом сказал, что его раскулачили вместе со всеми, которых сюда привезли. Добавил негромко:

— Подожди, и до тебя доберутся.

— А до меня неча добираться. Я руками своими...

— А я чужими, что ли? У тебя вон и работница есть.

— Ну, черт! Это ж баба моя. Врешь ты все. Ну, будя, поговорили. Топай давай!

Черных снова взялся за свой хомут. Но что-то не шибко ловко у него получалось. И Андрей Григорьевич просяще сказал:

— Я мог бы тебе наладить хомут. И, окромя хомута, сбрую всякую, если надо. Я в этом разбираюсь.

— А где это ты так научился разбираться-то?

— Вся жизня с лошадьми прошла.

— Чё, жрать, видно, неча? А ты меня не надуешь? Не обжулишь?

— Ты же увидишь, как я сделаю. И дашь мне хоть немножко хлеба.

— А где будешь робить?

— Дык, если можно, то тут вот... во дворе у тебя и начну.

— Когда?

— А вот зараз и начну. Только дочь уведу.

Черных изучающе поглядел на рыжую бороду Болдырева и сказал:

— Ладно, договорились.

Открылась дверь, и в избу ввалилось человек восемь-десять, из них половина ребятишек. Впереди стоял мужчина в облезлом полушубке. Одет бедно, а все же видно, что начальство.

— Вот, значит, так... Мы к вам подселяем на время семью спецпереселенцев. Как и было говорено...

— Не надо нам никого! — зашумел Черных.

— Спокойно, спокойно, хозяин!

— Пошли, Катенька. — Андрей Григорьевич взял за руку дочь и шагнул за порог...

Люба лежала на полу у печи. Ей все время нездоровилось. Старуха хозяйка сходила куда-то и принесла в бидоне молока. Немного, с чашку.

— Худо нонче с молоком-то. Коров-то мало осталося. Попей давай, детонька. Попей.

Нездоровилось и Марии Васильевне. У нее было плохо с сердцем. А мужу говорила:

— Ничего, ничего. Отдохну я. Что-то дюже устала.

Андрей Григорьевич поработал у Черных только в этот вечер — хомут починял. А утром его вместе с другими мужчинами угнали дальше, верст за двадцать от деревни. Там, в тайге, у реки, стояли старые бараки с поломанными дверями и дырявой кровлей. Их наскоро отремонтировали, перевезли сюда семьи и сколько-то времени жили тут, сбрасывая в половодную реку бревна, кем-то ранее заготовленные. Общие нары. Теснота. Духота и вонь.

В вечерней и ночной темноте, а если удавалось, и днем, спецпереселенцы копали огороды с неистребимым упорством и старательностью кондовых крестьян. Все пустыри, полянки и лужайки перекопали, все, что можно. Где-то раздобыли семян. Болдыревы привезли кое-какие семена с собой. Многие даже картошку посадили, обменяв ее у окрестных крестьян на свою скудную одежу. На посадку шли глазки. Ругали ребятню за леность, себя за то, что «как-то не так посадили», «не так посеяли», «поленились, и вот зараз кусай локти». Ведь это была их новая земля, их новый дом. А «дом вести — не бородой трясти». Даже Катя помогала маме и папе в огороде.

Но воспользоваться урожаем не удалось: летом всех повезли дальше на север, сперва мужчин (они на новом месте строили бараки), а потом их жен и детей. И снова копали огороды, что-то садили и сеяли. Поливали. Окучивали. Пропалывали. С прежней старательностью и азартом. Но азарт исчез, когда их в конце лета вдруг опять подняли с места и погнали еще дальше, уже на восток. К черту на кулички.

Зиму прожили в одном и том же барачном поселке. Все тут было непривычным: глухая тайга, бесконечная зима с дикими морозами, когда воздух становится столь густым и тяжелым, что его уже не вдыхаешь, а как бы проталкиваешь глоток за глотком, когда лицо обжигает, будто огнем, и в воздухе что-то сухо и зловеще потрескивает. И работа у этих степняков-земледельцев была тоже непривычная — валка леса и трелевка.

Они без конца улаживали свои убогие гнезда-бараки: что-нибудь да ремонтировали, чинили и поправляли. В каждом бараке одна печь, но такая, что и в пургу, и в стужу было всем тепло. «В лесу, с дровами такими, ды мерзнуть — это ж стыдоба», — говаривал Андрей Григорьевич.

Не хватало еды. Ее все время не хватало. Хлеба давали мало. Голодали. И потому, наверное, так часто говорили о пище. Летом было полегче: ели пиканы, кислицу, стебли репья и другие съедобные травы. За грибами ходили и за ягодами. Есть в тайге и малина, и брусника, и клюква. Весной ели молодые сосновые шишки и круплянки и пили березовый сок. Заваривали чай из трав лесных. Даже коренные степняки и те как-то скоренько приловчились добывать еду таежную. Нужда научит. Только вот времени на все это у взрослых не было: с утра до ночи на лесосеках. По ближним лесам и полям рыскали ребятишки.

Зимой голодали даже таежные звери и зверьки: выйдешь утром, глядь — следы волчьи и лисьи, одни побольше, другие поменьше, те и другие на собачьи похожи.

Катя каждый вечер слышала, как спецпереселенцы вполголоса поругивали «вольных» десятников за то, что те грубы и бессердечны. Катин отец отмалчивался, он был терпеливым.

Недобрая тишина окутывала бараки. Все были угрюмы и подавлены. И лишь изредка слышался громкий хриплый голос горбатого старика, который оглох от чего-то; он обычно молчал, а когда начинал беседовать со своей старухой, тоже полуоглохшей, то орал на весь барак.

Мучила барачная теснота: везде люди, люди, справа и слева, спереди и сзади. То тут, то там ревели и хныкали ребятишки, и чаще всего не в одиночку, а почему-то группой. Ночами мешали спать стоны больных и не в меру громкий храп измученных за день мужчин. Такой жизни не виделось конца.

К весне спецпереселенцы немножко оживились, заговорили об огородах, о том, что хорошо бы завести курочек и кроликов, за которыми могут ухаживать и ребятишки. А уж о коровах и пашне и мечтать не смели. Болдыревы тоже приглядели ладненький пустырек для своего огорода. Но... опять поступила команда готовиться в дорогу. До реки добирались пешим ходом, погрузив на телеги детишек, хворых и весь свой скарб. Потом погрузились на баржу и поплыли куда-то к Сибири. Плыли день, плыли два, тихо, по-черепашьи.

До чего же много людей уместилось на этой длинной, как обоз, барже. Стоят, сидят, полулежат. Так и спят: кто сидя, кто полулежа. Везде мешки, котомки, узлы и чемоданы. Какая-то неестественная, угрюмая тишина. Вот заплакала девочка. На нее грубо цыкнули. И опять тихо, только всплески волн да приглушенные шумы старенького, выдыхающегося буксира.

Были здесь и уральцы, которых тоже начали раскулачивать. Справа от Болдыревых разместилась семья Степана Котова, головастого мужика, который даже теперь, в его жалком положении, проявлял какую-

то степенность и самоуверенность. С женой Анной, толстой бабой-болтушкой, он разговаривал неторопливо и заметно небрежно — сказывалась привычка повелевать. Анна жаловалась Марии Васильевне:

— Стро-огай он. Не крикнет, бывало, а все боялися.

Сама Анна, по всему видать, тоже побаивалась муженька. Когда он звал ее, слегка вздрагивала, и по этому, вроде бы незначительному признаку, было ясно, что Котов бывает суров и груб со своей женой.

— Богато, видать, жили? — спросила Мария Васильевна.

— Жили. Да отжили.

— И, конечно, работники были у вас?

— Были и роботники. Все было, да сплыло.

— И много?

— Чего много?

— Работников-то много было?

— Хватало. Да мы их что, силком к себе загоняли? У вас, поди-ко, тоже были.

— Да нет, мы сами работали.

— Ну, гадство! А мы не робили, чё ли? Вкалывали как окаянные. Лентяев не ссылают.

Понаблюдав за Котовыми, Андрей Григорьевич сказал жене:

— Вот этот — кулак. Всамделишний. А остальные так... Не поймешь...

К ним протиснулся Михаил Чаусов. Неприметно усмехнулся:

— Ну, как дела, лихие казачки?

Он сильно сдал, отощал. Вместо роскошного чуба на лоб спадал жалкий клок волос.

— Слушай!.. — сказала Мария Васильевна. — Ты слыхал, что говорят спецпереселенцы здешние? Уральские. Будто скоро ослобонят нас всех. И обратно возвернут.

Чаусов снова усмехнулся, на этот раз приметно и зло:

— Да, да, ослобонят. Посадят в мягкие вагоны и отправят. Под духовой оркестр. Под марш «Прощание славянки». Если уж куда и отправят, так это на кладбище. Видели, как оно за зиму-то выросло?

— Да тихо ты! — испуганно замахала рукой Мария Васильевна. — Не надо об этом гутарить.

— Ээ! Что вы как слепые котята? Ведь все делается, чтоб изничтожить нас. Гоняют как цуциков. Мне говорили, что на Кубани даже расстреливали коекого из кулаков. Изничтожили работяг, а лодырей и болтунов оставили. И теперь в голодухе Россия.

— Михаил!.. — взмолилась Мария Васильевна.

Но ее умоляющий голос будто подхлестнул Чаусова:

— Они, видно, думают там, наверху, что хлеб будет сам собой расти. И сыпаться в амбары как манна небесная. Все чегото боимся. И я боюсь. Я вот даже врать начал. А раньше не врал.

Андрей Григорьевич поглаживал Катю по голове. И делал вид, будто не слушает. Люба сидела, опустив голову. И вдруг встрепенулась:

— Вон там ягодки на кустах.

Она показала рукой на прибрежные, еще по-зимнему голые кусты.

Отец кашлянул и сказал:

— Что ты, господь с тобой! Какие зараз ягодки?

Катя подмечала, что отец стал нервным. И, волнуясь, покашливает. Сперва кашлянет и лишь потом что-то скажет. Разговаривая с комендантом поселка, он покашливал по нескольку раз. Катя долго будет помнить глаза того коменданта — острые, прилипчивые.

Она долго всматривалась в группу женщин, стоявших у кормы. И с какой-то даже радостью сказала отцу:

— Там вон тетя Черных. Ты ишо хомут у них починял. И тебе муки дали.

Да, это была жена Черных. Она каменно-неподвижно глядела на берег, на лес, как-то по-особому — нескладно опустив руки с темными скрюченными пальцами.

Женщина не узнала Болдырева. Да и сам Андрей Григорьевич тоже не мог вспомнить поначалу: та или не та? Семью Черных раскулачили, это яснее ясного, но Андрей Григорьевич сделал вид, будто ничего не понимает:

— А ты что тут, хозяйка? И где твой муж?

Женщина заплакала:

— Орестовали его.

— Как так?

— А так вот!.. Пришли раскулачивать нас. Дескать, давайте одевайтеся. Собирайтеся. Берите с собой то-то и то-то. А Митрий кричит: «Не имеете права!» — «Имеем». — «Убирайтеся из моего дому! Это мой дом». Слово за слово. Ну, и бухнул он тут одного под горячу руку. Тот и с копылков долой. Искровянился весь. Тогда они разозлилися и схватили Митрия. И увели.

— И где он теперь?

— А откудов я знаю. Может, и в живых уже нетука. Господи, за что ж тако наказанье? Говорят, надо начальству написать. Но я ж неграмотная.

— Вот приедем, и я напишу за тебя. Может, оно и ничего ишо. Может, все обойдется как-нибудь.

— Да что там обойдется! И на свет белый не глядела б.

Катя сидела, привалившись к мягкому узлу. Ей было скучно, и она прислушивалась к ленивому разговору двух мужчин, стоявших сзади нее:

— Снег ишо кое-где вон. А у нас степь зараз вся зеленая.

— Влаги дюже много здесь. Речки и озера везде. Да и дожди часто выпадают. Капуста хорошо будет расти.

— А сколько земли пустует.

Небо было вязким, непроглядным, — грозило дождем.

2

Болдыревы вконец обнищали. Все, что можно было, уже давно променяли на продукты. Теперь у них осталось только немного ржаной мучицы. И еще была соль. Соли много. Мария Васильевна второй месяц лежмя лежала в углу барака на рваной дерюге. И вид у нее был хуже некуда: кожа да кости. Лицо потемнело, нос заострился и стал похож на клюв.

Катя ходила в лес за ягодами. Но не уродились они нынче: лишь иногда попадались полузасохшие-полузеленые земляннички. Подальше бы в тайгу, да боязно. Третьего дня по грибы ходила. Нашла четыре штуки. И обрадовалась. Сама Катя и Мария Васильевна ничего в грибах не понимали. Показали их Анне Котовой. Та нехорошо хохотнула:

— Дык это ж мухомор. А эти три тожа поганыши. Ежли жить надоело, то варите и ешьте. Все ж таки лучше, чем вешаться.

Мария Васильевна отдавала еду дочерям. И хвороба у нее, конечно, от голодухи. На работу ее уже не посылали. Раза два в день она, постанывая, поднималась с постели, вместе с Катей делала болтушку из муки, воды и соли, варила ее, отхлебывала из общей миски несколько ложек, говорила: «Ну, я наелась. Ешьте, доедайте, доченьки», и ковыляла к дерюге. Приборкой в их углу барака занимались Катя с Любой. На полу и на самодельном столике было чисто.

Лето выдалось засушливое. Приезжая с лесозаготовок, переселенцы говорили не о лесе, а о хлебе, о том, что будет, по всему видать, недород. И уж тогда вовсе крышка, каюк.

На рассвете шумными шагами вошла в барак Анна Котова. Села возле Марии Васильевны и тревожно шмыгнула носом:

— Михейло Чаусов убежал.

— Куда убежал? — машинально спросила Мария Васильевна, хотя знала, что Михаил рано или поздно все равно убежит.

— А бог его знат. Взял да и смылся. Уже два дня как нету. И котомку забрал. Комендант выспрашивал у меня, не видела ли я Чаусова. Ему из Бурманова сообщили. Тока зря убежал. Все одно поймают. И тода еще хуже будет.

— Этого не поймают. Так, говоришь, и котомку забрал?

— Забрал.

— Ушел! — уже живее произнесла Мария Васильевна. — Дай ему бог удачи!

— Ну а ты-то как?..

— Плохо, Аннушка. Слабость такая, что не приведи бог. Руку поднять и то тяжко.

— Мясца б тебе. И маслица. Да где их возьмешь. Хлеба и то нетука. Ну, мне на роботу.

Анна ушла. А Мария Васильевна недвижно лежала и, глядя в грязный потолок, с горькой ясностью представляла, как бредет по горам, по тайге степняк Михаил Чаусов и смолит махру, едко щуря свои цыганские глаза. Впереди деревушка. Он обходит ее. И слышит сзади командный милицейский голос: «Гражданин, остановитесь!»

«Зачем эти мысли? Зараз о другом надо думать».

— Катюша, подойди ко мне. — Указала на самодельную табуретку: — Сядь.

Глаза у дочки как у взрослой — усталые, слегка настороженные.

— Вот что, доченька. Сходи давай к папе.

— А где он? — В Катином голосе испуг.

— Да в Бурманове, где ж? Сходи уж, доченька. — Мария Васильевна виновато смотрела на Катю. — А то отец уже три недели не был у нас. Пусть приедет. И, может, муки привезет или еще чего-нибудь. А то помрем мы тут. — На глазах у нее навернулись слезы. — Дотуда пятьдесят две версты. По пути деревни есть. Попросись заночевать, у старичков какихнибудь.

— А когда идти?

— А зараз и иди. Не надо бы тебя так далеко-то посылать. Но... что делать? Иди, доченька.

— Босиком идти?

— Да нет, надень ботиночки. Пройдешь Понькино. И дорога пойдет на юг. По ней и иди. Только гляди, никуда не сворачивай. Кусок хлеба возьми. Вон в узелке. — Мария Васильевна перекрестила Катю: — Молися, доченька. И боженька поможет тебе.

И вот Катя шагает по дороге. Шагает, шагает. Дорога то кривая, то ровная, то узкая, то широкая. И везде пыльная, исхлестанная колеями, обезображенная ухабами и буграми.

Все тут кажется Кате чужим, холодным — и горы, и тайга, и темные избы. От чего они такие темные, почти что черные, как головешки? От морозов, наверное. У них на Дону степь без конца и края. И светлые казачьи курени. Катя думала поначалу, что в здешних мрачных избах обитают мрачные, недобрые люди.

Сосны со стволами в плешинах лезут прямо на дорогу, вот-вот все затопчут. Анна Котова говорила, что в здешнем лесу полно волков. И голодной зимой они забегают в деревни: то корову зарежут, то овечку или собаку уволокут. Есть рыси и змеи. И даже медведи.

А еще живет здесь леший — хозяин леса и зверей. Этот страсть какой сильный — сосну запросто переломит. Он ревет и насвистывает в чащобах, отчего начинает дрожать земля и сгибаются деревья. Но страшнее всех черти и чертенята. И когда начался мрачный ельник, Кате стало вовсе не по себе. Она зябко пожимала плечами. Ноги как деревянные.

«Господи, помоги мне! Ты все можешь. Господи, помоги! Помоги, господи!..»

Вспомнился насмешливый голос дяди Миши Чаусова: «Чего ты пугаешься? А ишо казачка!»

Дорога вдруг разделилась, одна шарахнулась влево, другая вправо. Катя постояла, подумала, прошептала: «Господи, помоги мне!» — и пошла влево, где виднелись глубокие колеи и следы от лошадиных копыт. Эта дорога потянулась куда-то в низину. Вот показались болотинка, кочки, поросшие бурым мхом. Прошла еще сколько-то и увидела маленький поселок — с десяток бревенчатых бараков-казарм. Бараки здесь были еще более жалкие и убогие, чем в Понькино.

Людей не видно. Оконца в ближнем бараке темны и немы. Входная дверь распахнута. Тихо. Мертво.

И тут Катя вздрогнула. Возле завалинки

лежал покойник — долговязый седобородый мужчина в латаных штанах и грязной нижней рубахе.

Испугавшись, Катя побежала. Откуда и прыть взялась. Из соседнего барака вышла девочка лет одиннадцати-двенадцати, в оборванном платье, и глухо спросила:

— Ты куда?

Катя показала рукой на покойника:

— Мертвый!..

— Ты к кому идешь?

— Мне в Бурманово. Я к папе.

— В Бурманово? — переспросила девочка. — Это не сюда. Тут дальше дороги нету. Тут только лес и болота. Обратно иди. Туда.

Катя опять показала на покойника:

— Почему он лежит?

— А как?.. Помер и лежит. Вечером придут с работы и похоронят. В том вон бараке тетя померла ночью. Голод у нас.

— Вы ссланные?

— Ссланные. — Девочка говорила как сонная — тихо и монотонно. — У нас много поумирало. В июне, шестого числа, моя мама померла. А в феврале папа помер. Тогда много мертвых лежало. У каждого барака человек пять, а то и десять. Везде лежали...

— И ты одна?

— Одна. Меня в детдом хотели отдать. А не отдают. Я прибираюсь тут. Полы мою. За больными ухаживаю.

— А ты уходи отсюда. Чего ты будешь одна?

— Куда уходи?

— А где твоя родина?

— Мы с Кубани. Там у нас очень хорошо. И никакого голода нету. И как я... У меня ни денег, ни еды.

В бараке протяжно застонал какой-то мужчина. Тяжело глянув на Катю, девочка сказала:

— Я пойду. А ты обратно иди.

Когда Катя вышла на другую дорогу, ей вспомнилось... Было это в марте. Пошла она тогда с соседской девочкой в лес за хворостом. Ночью снег выпал, и был он под ногами как вата. Идут и видят: возле дороги костер горит. Точнее, догорает. А возле костра что-то лежит, темное, длинное. Подошли. Мертвец. Мужчина в легоньком пальто, одна пола которого тлела и дымила. Скуластое восковое лицо будто иссечено темными морщинами. Уж тут не до хвороста.

В бараке были только малыши да больной старик с костылями, лежавший на нарах. Выслушав девочек, он сказал безразличным голосом: «Беглый, наверное», — и отвернулся.

Ботинки у Кати давным-давно стоптались. Отец уже не раз чинил их. Днем подошва правого ботинка почти наполовину отвалилась и стала цепляться за землю. Катя разулась. Она понимала, что обутка никуда не годится, но бросить ее не решилась.

Теперь дорога тянулась по каменистому берегу горной речушки. Катя села у воды и, развязав узелок, стала есть хлеб. Корочка похрустывала во рту. Хлеб был ржаной и вкусно пахнул.

Вода в речке торопливо неслась куда-то, устало и надсадно булькая. И метались, метались по воде солнечные блики. Весь противоположный берег в скалах. В бок утесу вцепилась корнями сосенка, согнув коромыслом лысую рыжеватую спину с маленькой головкой-кроной, будто прощения просила: вот, дескать, как у меня получилось неладно, простите. И Кате стало жаль эту сиротливую сосенку, видать, плохо ей тут, вон какая тощая, скоро помрет совсем.

Она не заметила, как съела почти весь хлеб. На один, на два глоточка осталось. Подумала и доела все — стоит ли такую малость в узелок завязывать.

Почему-то пахнет болотом. А такая чистая водичка, все дно видно. Мальки туда-сюда носятся. И везде камни, камни. Всякие. Один вон зелененький. А там вон темно-синий, будто чернилами обмазан. И драгоценные есть, наверное. Подобрав подол, она опустила ноги в воду. Ух, какая холодная вода! Прямо ледяная. Взяла зелененький камушек. Оглядела со всех сторон. Никакой не зелененький, обычный камушек. Скользкий. Бросила его в воду. Еще шагнула, решив посмотреть темно-синий камушек, и провалилась в подводную яму. Дико закричала и выскочила на берег.

Солнце слабело, скатываясь к горизонту. Дальние голубоватые горы начали синеть.

Опять захотелось есть. И Катя начала вспоминать, какая вкусная еда у них в станице — потом такой нигда не было. Больше думалось почему-то о варениках с творогом и пирожках с мясом. Девочке показалось, что она даже чувствует вкус пирожков и слышит, как потрескивает масло на сковороде.

Конечно, в тайге полно всякой еды. Так говорят тутошние люди. Летом — грибы, ягоды, съедобные травы, весной — шишки сосновые и сок березовый. Катю угощали пиканами, кислицей и лесной морковью. Ничего, есть можно, даже вкусно. Но Катя не знала, где растут съедобные травы.

Дорога шарахалась то вправо, то влево, огибая скалы и громадины камни, поросшие кустарником. Выходит, для кустарника камни и скалы как земля. Чудно! Потом с левой стороны потянулось поле овсяное. Равнина и овес. Прямо как у них на Дону. Хорошо!.. Катя сошла с дороги и начала обсасывать овсяные колоски. Долго не могла от них оторваться.

Сзади раздался хриплый голос:

— Эй! Ты сеяла овес этот?! — На дороге стоит старик в сапогах, обтрепанном пиджаке и в шапке. Смотрит исподлобья. — Топчешь, как овечка.

Катя отбежала к дороге и виновато глядела на старика.

— Оголодала, и чё ли? — И, не услышав ответа, спросил: — Куда идешь?

— В Бурманово. К папе.

— Из спецпоселка?

— Да. Я правильно иду?

— Правильно, правильно! — В голосе уже что-то мягкое, дедушкино. — Гляди ты, малечька така, а идешь далеко. Смотри, в лесу на ночь не оставайся. Мало ли!.. Лучше в деревне ночуй. Скоро будет Таповка. А овса щас поешь. Тока гляди, чтоб не увидели. И не топчи.

— А я не топчу.

Вздохнув, пошел. Не поздоровкался, не попрощался.

Шагает Катя, шагает, без конца шагает. Ноги как не свои, деревянные будто — топ, топ, топ, даже подкашиваются. Дюже устала. Вечереет уже. Ночь скоро, с таежной мглой и шорохами. Это пугает Катю. И она начинает считать шаги: раз, два, три, четыре...

«Дойду вон до тех двух кустов и посижу маленько». А у кустов решает: «До той вон сосны дойду. И там уж... Почему она такая кривая? Больная, наверное». Шагает медленно — так легче.

Дорога снова начала подниматься в гору. И вдруг между кустами и толстыми, как бочки, стволами сосен мелькнуло что-то живое. Катя остановилась. Три штуки. Бегут, быстро бегут, опустив морды. Волки! Она никогда их не видела, но знала, что они похожи на больших собак. Эти похожи!..

По груди и по животу прокатилась ледяная боль. Боль страха. Катя стала шептать быстро и горячо: «Господи, спаси меня! Господи, помоги мне!..» Шептала, шептала, шептала. Стояла долго. Волков уже не видно. Пошла, едва переступая ногами. А дорога все в гору тянется. И вот уже верхушка ее, тупая, лысая, вся в камнях. Лишь кое-где жухлая травенка. А на другой стороне, внизу... Глянула и обрадовалась. Луга, копешки. И темные избы.

Все окрест покрывалось немой вечерней синью. Было тихо. Из леса, по лугу, к домам живо махали одна за другой три больших собаки. Те самые. Да, это были собаки. Весело бегут. Домой бегут.

Катя остановилась возле копны. Копешек на лугу было шесть. Эта — возле околицы. Большая. Копешка по-вечернему печально глядела на дорогу, белевшую в синеве, и на хилую крайнюю избенку с убогим подворьем. Где-то далеко промычала корова и зло ухнула калитка.

Самое лучшее было бы попроситься на ночлег. Но Катя стеснялась. Хотелось есть. Можно было выклянчить милостыню: «Подайте христа ради!» Она не стыдилась этого, она боялась, что получится как-то не так, неумело или глупо. Села и прижалась к копне. Сено грубое, как солома, сенинки толстые. А пахнет вкусно.

Катя радовалась, что ночь не застала ее в лесу, там она не смогла бы заснуть. До утра молилась бы богу.

Опять вспомнился дядя Чаусов и его весело-сердитый голос: «Какая ты пугливая. Ай-ай-ай!..».

От ближней избенки ковыляла по лугу старуха в черном полушубке, чем-то похожая на монашку. Подошла. Совсем старая бабка, ноги уже согнуты коромыслом. Глядит так, будто не может понять, кто перед ней — ребенок или теленок.

— Ты чё тут лежишь?

— А мне ночевать надо.

— А куды ты идешь?

— Я к папе иду.

— А где твой папа?

Катя сказала.

— У-у, дотудова далеко еще! Ну, пошли ко мне. Чё ты тут будешь? А я гляжу: кто это у копешки? Собака — дык не похоже вроде.

Катя встала и застонала: ноги ныли, ступни будто огнем жгло.

— Че с тобой? Давай помогу.

Старухина избенка на два оконца, с хилым прогнившим крылечком и полуоторванной калиткой, крайний нижний угол которой уже прочно сел на землю. Сколько здесь дерева: стол, кровать, скамья, два стула, кадушка, корыто. Все старое-престарое, грубой работы.

Голос у бабки с хрипотцой:

— Откудова ты? Как-то не по-нашенски говоришь-то.

Она долго расспрашивала Катю. Горестно качала головой. И вдруг спохватилась:

— Да чё ж это я, дура! Щас я тя покормлю. Садися давай. Молочко вот. Паренки. Две оладышки. И больше уж ничё нетука.

Катя не могла скрыть радости. Она уже и забыла, когда пила молоко. Поела немножко и встала:

— Спасибо!

— Да ешь ты, ешь давай! — Обняла Катю и посадила на лавку. — Ешь, не стесняйся. У меня ж свое все. Хотя, конечно, тяжело с коровой и огородом-то, старая уж я. А без их — ноги протягивай. Бога мы забыли, вот чего. В грехах погрязли.

Скрипнула дверь, и, кряхтя, ввалилась в избу толстая баба лет пятидесяти.

— Овдотьюшка, ты ли? — воскликнула хозяйка.

— Я. Не узнала, и чё ли?

— Уже скока я тя не видела-то. Хоть и в одной деревне живем. Садися давай. Хошь, самовар поставлю?

— Не. Я к тебе за советом, теть Нюр. Скажи, ты в снах разбираешься?

— Это как?..

— Я вчерась видела во сне, будто тяжело заболела. Ну, ни рукой, ни ногой двинуть не могу. Совсем умираю. Прямо в поту проснулась. И вот все думаю теперь...

— Не думай. Болезнь — это к здоровью. А вот ежли какая-то вода привидится, то это уж к болезни. И к неудаче. И ишо блины к болезни.

— Какие блины?

— Какие? Какие ешь.

— А я не ем. Муки нетука.

— Ну, если во сне их увидишь. Рыбу есть — тоже к болезням снится. И мытье в бане тоже к болезням.

— Я что еще хотела спросить у тебя. Скажи, петров день когда будет?

— На тебе! Да петров день давным-давно прошел. А зачем тебе его?

— Да мы тут с соседкой поспорили. С Манькой. Я ей тоже говорю: прошел. А она ерепенится: «Петров день после сенокосу».

— Да сенокос-то теперь до самого снегу тянется.
— И вот еще... У меня топор куда-то подевался. Не дашь мне на время, а?
— Дам. Чего-чего, а топоры есть. Ишо от тяти осталися. Можешь взять насовсем.
— Ладно. Слушай, а чья это гостюшка у тебя?
— Да вот, в копешке нашла. — Бабка хотела улыбнуться. Но получилось жалкое подобие улыбки. — Люди в капусте детишек находют. А я вот в копешке.
Евдокия с дотошностью простодушных сельчанок стала выспрашивать у Кати, кто ее родители и «откудов приехали».
— Богато, поди-ко, жили-то? Там ить тепло.
— У нас хорошо.
— А скотина кака у вас была?
Катя сказала.
— Тока корова и две лошади? И собака? — удивилась Евдокия. — А за что ж вас раскулачили?
— Да ты чё говоришь-то?! — недовольно махнула рукой бабка Нюра. — И с одной лошадью раскулачивают. А собака... Че собака... В деревнях и собак не стало. Кулаки всех переловили и сожрали.
— Я три собаки видела, — робко проговорила Катя.
— Это они корм ищут. Но и этих собак сожрут.
— У нас дом большой был. Из кирпичей. Три комнаты и кухня.
— А роботники были? — Это опять Евдокия спросила.
— Какие работники?
— Ну, там... прислуга. Или как их — батраки.
— Нет.
— Что же это, господи! — вздохнула Евдокия. — Ссылают ни за что ни про что. Наш вон Егор Иваныч хоть роботницу держал. Асплотирывал.
— Дык он ее силком держал, и чё ли? — тихо возразила бабка Нюра.
— Ну, держал все ж таки. А Семеныча с Марьюшкой за что сослали? Вкалывали, как окаянные, с утра до ночи. Да и жили-то не шибко уж. Вон в селе Успенка, там — да. Там богачи так богачи. Ты в Успенке-то давно была?
— Да лет десять назад.
— Уу!.. А Попова знаешь? Большой такой мужик, хромой, с палкой.
— Ну!..
— Знаешь или не знаешь?
— Ну, знаю.
— Ведь он там самый богатый был. Самый такой... Два двухэтажных дома. Целый табун лошадей и коров. И батраков держал. А его вот не раскулачили.
— Да как это?
— А увильнул, сволота. Хитрый мужик. Бросил все и смылся куда-то со своей бабой. И даже сестра не знает, где они.
— Да уж сестра-то знает, поди-ко.
— Говорят, будто бы подпоил он секретаря сельсовета. И тот написал справку, что Попов этот самый такой... бедняк из бедняков.
Открылась дверь, и через порог неловко перешагнул молодой мордастый мужик. Глаза у пришельца сердитые, цепкие.
— Здорово, бабоньки! Че это вы, как кисло глядите, будто уксусу хватанули? Я к тебе по делу, бауш.
— И ты по делу, — весело отозвалась хозяйка.
— Говорят, у тебя есть сушеная малина.
— Есть маленько. С прошлого году ишо.
— Дай мне сколько-то. А то я простыл что-то.
— Это тя бог наказыват, Митряй.
— Да, бог не захочет, дак и чирей не вскочит. Тока я ие шибко-то верю в вашего бога. На бога надейся, а сам не плошай. Так дашь малины-то?
— Дам, дам! — Бабка вытащила откуда-то кринку с сушеной малиной. — На, сам отсыпь.
— Спасибо!
— Да ты не шибко, не шибко. А то уже половину отвалил.
— Не скупердяйничай уж. Не жилься.
Они еще поговорили о том о сем, и, глянув на Катю, мужчина спросил:
— А это что у тебя за гостюшка? — Выслушав бабкин ответ, нехорошо ухмыльнулся: — Кулацкая дочка, значит. Откудов тебя привезли?
Катя сказала.
— Не по-нашенски говоришь. Ну, здесь вам будет не шибко-то жарко.
В голосе мужчины что-то задиристое.
— Да что ты пристал к девчонке? — недовольно проговорила хозяйка.
— А ничё не пристал. Интересуюсь. А ты-то чего зашумела? Это подкулачник в тебе говорит, бауш. Ты и за Семеныча Щеглова тоже заступалася, помню. Вздрючат тебя когда-нибудь, вот увидишь.
— Кто это вздрючит ее? Что ты несешь-то? — набросилась Евдокия на мужика. — Я тоже считаю, что Семеныча с Марьюшкой зазря раскулачили. Вкалывали, как окаянные, а их...
— Зазря не раскулачивают, дорогие товарищи. Надо разбираться в текучем моменте. И видеть, где главна линия. Самая главная. Подкулачники вы обои, вот что я вам скажу. Самые такие...
— Балалайка ты, Митрий, — опять шумнула Евдокия. — Не тем местом думашь.
— Ну, это еще надо посмотреть, кто каким местом думает. И ты, Овдотья, не оскорбляй меня. Она, видите ли, тем местом думает. Она одна в ногу идет. А все другие не в ногу. Кулацкие разговорчики. Я вот дивлюся: пошто не ссылают вместе с кулаками и вас, подкулачников?
Шутит вроде бы. А может, и не шутит. Черт его знает.
Когда мужчина ушел, Евдокия плюнула:
— Балаболка!
— А у их в родне сроду все такие были, — махнула рукой бабка. — И его отец покойный, Семен Иваныч. И мать. И дедушка. Люди робят, а эти сядут на завалинку и давай языки чесать.
— Скажу тебе, я даже побаиваюсь его. Щас вон и в кутузку садить начали. Оппыртунистов.
— А кто это таки? Слыхала, а... в толк не возьму.
— А это те, которые с начальством в чем-то не согласны. Знаешь, что мне говорили? У Митьки этого рубанок видели. Щегловский. И еще чё-то щегловское. Видно, когда Семеныча раскулачивали, так он это самое...
Перед сном бабка Нюра долго молилась богу, вяло крестясь и так же вяло отбивая поклоны. На божнице три потемневшие иконы, одна «богатская» — под стеклом. «Богатскую» купил Нюрин отец еще до русско-японской войны, отвалив за нее в городе все деньжонки, какие у него были. Тут же грустно и немо висела на цепочках лампадка. Бабка просила о чем-то бога, жаловалась ему на что-то или на кого-то, и в ее голосе не было покорности и приниженности, как это бывает обычно у богомолок. Казалось, рассуждает она с ровней, человеком добрым и умным, который все-все понимает.
Оставшееся до Бурманова расстояние Катя проехала со стариком-попутчиком на телеге (это ей бабка устроила), прошла лишь километров пять.
На околице Бурманова — деревушки с плотно поставленными избами, по-уральски маленькими глухими подворьями и высокими воротами — стоял длинный скучный барак, где обитали раскулаченные, работавшие на лесозаготовках. Внутри его у стен разбросана ровным слоем солома, на ней старые одежины. В бараке были только двое. В дальнем углу слабо постанывал старик. Он валялся на спине, разбросав руки. А рядом с входной дверью лежал на боку Катин отец. Она узнала его по рыжим волосам и лысине. Крикнула:
— Папа!
Он вздрогнул и стал подниматься:
— Катенька!
Что с ним стало: исхудал и оброс седой бородой. Глаза тусклые, неживые.
Начал спрашивать, как чувствуют себя мать и Люба. И вдруг слегка встрепенулся:
— Что же я!.. Ты ведь есть хочешь.
— Нет, нет, я поела.
— Да что уж поела! — Он вынул из котомки кусок ржаного хлеба, похожий на комок земли. — Ешь давай. Больше у меня нет ничего. Хочешь водички? С водичкой лучше. — Он налил в кружку воды из ведра. — С водичкой дюже хорошо. Да ешь, ешь! А я ведь болею, доченька. Но ты маме об этом не говори. Не пугай ее. Чего бы я лежал. Ведь я и ночами-то мало лежал. Только сегодня вот освободили от работы. А то все не верили: «Симулируешь!..»
Отец дышал тяжело, будто пробежал без передыху сколько-то верст.
— Устали ноженьки-то? Ботинок-то весь расползся. Скоро люди с работы придут. Есть тут у одного нашего струмент сапожный. Так я попрошу починить. Душно что-то. Пойдем на улицу.
Шажки у отца мелкие, неуверенные. Когда они вышли из барака, он проговорил как бы про себя:
— Все изболелось.
Они сидели на бревне у барака.
— Дядя Миша убежал.
Отец отозвался не сразу:
— Да, я знаю. Этому можно. Он один. Скоро бараки строить начнем. И тогда вместе жить будем. Если не угонят нас куда-нибудь дальше. Или... — Он показал рукой на кладбище. — Придешь вот в другой раз, и я, может, там лежать буду.
— Да ты что, пап?! — испугалась Катя.
— Уже многих тут похоронили. — Помолчал и добавил: — Не сладкая у нас с вами жизня. — И тут он вдруг как-то нехорошо взволновался: — Я опять вижу свою звездочку.
— Какую звездочку?
— Когда я был на германском фронте, то видел эту звездочку. Вон там, на севере. А после фронта не видел. Совсем не видел. И вот теперь она опять появилась. Выйду ночью — светит. Неспроста это. Или мы жить будем хорошо, или конец мне настанет...
Барачные жильцы пришли поздно вечером. Осмотрев Катин ботинок, владелец сапожного инструмента покачал головой:
— Все!.. Обувка эта отжила свое. — Вздохнув, сказал уже громче: — Ну что, рестантики. Поедим да и спать.
Ели молча, угрюмо. Всухомятку. У всех маленькие куски черного хлеба, кое у кого круто посоленные, и кружки с водой. Кое у кого вареные картофелины. У двоих или троих — какая-то лесная трава. Молча покурили и улеглись спать. И сразу уснули мертвым сном измочаленных работяг.
Рядом с Катей тяжело посапывал отец. Кто-то храпел, быстро, с присвистом.
В мутные окошки барака лился желтый свет лунного серпа, робкий и стылый.

Недели через три умерла Катина мать. Уснула и не проснулась. Утром Катя подошла к ней, а мать уже холодная. Зимой помер отец. Никто не знал, от какой болезни он помер. Да никто и не пытался узнать.

3

Мутные оконца барака солнечно светились. Световые пятна повисли наверху стены. Значит, часов шесть или около того. Пора вставать. Катя привела в порядок постель — придвинула к стенке подушку-блин, кое-как наполненную соломой, и аккуратненько сложила латаное-перелатаное, на рыбьем меху пальтецо.
В бараке четырнадцать топчанов, наскоро сбитых из досок. Когда-то в нем жили семьи раскулаченных. А теперь здесь интернат. В школе пусто и тихо — каникулы, все разъехались по мелким спецпоселкам и до осени будут с семьями. А здесь самый крупный во всей округе спецпоселок — Косьвинский. Тут много бараков, школа есть, но только начальная. Есть тут и магазин. Почти рядом с поселком убогий погост: большие братские могилы и свежие холмики с грубыми деревянными крестами, а в большинстве случаев без крестов. И это зловещее соседство вносило горечь и тревогу в души людей.
Катя одна теперь во всем интернате. И ночью страшновато. Она закрывает дверь на крючок. Дверь толстая-претолстая, пушкой не пробить. И крючок тоже толстый, солидный. Все ж таки любят «кулаки», даже ссыльные, все прочное, основательное. Катя без табуретки, на цыпочках закрывает дверь на крючок. Скоро ей будет одиннадцать — уже совсем большая.

Конечно, живя с матерью и отцом, она засчиталась бы маленькой. А раз одна живет, значит, большая.

Вчера вечером она растопила очаг, сложенный из камней. Кирпичей, по выражению Анны Котовой, в «тутошних местах нетука», а дикий камень вот он, везде. В очаге на углях испекла две картофелины. И сегодня съела их, осторожно очищая от кожуры, старательно посыпая солью и запивая водой. Ела медленно, долго держала во рту каждый кусочек. Так лучше. Тогда кажется, что ты съела много, куда больше, чем на самом деле. Хлеба у Кати нет. Да и вчера не было. Позавчера расправилась с последним кусочком.

После завтрака Катя вытащила из-под топчана узел с картошкой и стала вырезать картофельные глазки. Этому ее учила когда-то мать. Надо, чтобы глазки были побольше, а то, пожалуй, не взойдет картошечка. Подсчитала: восемьдесят шесть глазков получилось. Столько будет кустов. И у каждого свои клубни. О, этого ей на весь год хватит, если есть помаленьку! А где ее хранить, картошку? Но это потом, потом!.. Наверное, в погребе.

Осталось двадцать шесть картофелин без глазков. Из них семнадцать больших. Если по две штуки съедать в день, то почти на две недели хватит. А там и в школе начнется учеба. И опять будут кормить школьников обедами. Зимой давали суп или манную кашу. И еще кусочек хлеба. Хорошо было. Дюже хорошо. Тогда она меньше думала о еде. А теперь вот и просыпается и засыпает с мыслями о ней. И чудятся-мерещатся ей любимые вареники с творогом и пирожки с мясом. Даже голову слегка покруживает от таких мыслей. Она пыталась искать съестное на помойках. Но там ничего не находил даже бездомный облезлый кот Васька, живший где-то в подвале.

Перед рождеством, когда за окошками надсаживалась вечерняя вьюга, тихо, незаметно скончалась на топчане Люба. Она долго болела. Катя спрашивала у нее:

— Что-нибудь хочешь, а?

— Маму хочу.

Любе было восемь лет. Ее похоронили в братской могиле.

Перед Новым годом у Кати стащили кусок хлеба, он лежал в котомке под топчаном. Никого из посторонних в интернате не было. Значит, кто-то свой стибрил. Но все отмахивались: знать ничего не знаем. А дылда Надька кричала:

— Кто украл, признавайся! Кто украл?!

Лето нынче — благодать: то и дело выпадают теплые, банные дожди, и вовсю, не жалея себя, жарит солнышко. В низинах трава вымахала уже до Катиных колен. А вот на пустыре, что за интернатом, травенка пока что так себе. Много камней и две ямы, неведомо когда и неведомо зачем вырытые. За ямами пустырек, где земля ровнее и темнее. Здесь Катя решила посадить картофельные глазки. Лопату с толстым черенком она нашла возле школы. И стала копать. Почему это земля такая твердая? Дожди, а она твердая. Вскопает лупочку, положит картофельный глазок и забросает землей. Расти, картошка, на радость хозяйке.

Картошку Катя сама заработала. Где заработала? Ну, тут целая история... Ей надо было выкупить в магазине хлеб, его отпускал по спискам продавец (он же и завмаг) Иван Иванович, здешний «вольный» мужик. Катя надела пальтецо, накрыла голову истрепанным полушалком и стала греться у плиты. Главное — набраться тепла, впитать его в себя и в одежду, а то ведь лавка далеко, можно и застынуть. Пожалела, что в начале зимы променяла материну шаль на муку. Да и муки-то было — дня на три им с Любой. Продешевила.

В магазине теплынь, бойко потрескивают дровишки в печи. Неспешно, с заметным достоинством отвесив покупательнице хлеба и соли, Иван Иванович вопросительно глянул на девочку. И Катя, застеснявшись, вышла из магазина. Пожилая баба спросила у нее на улице:

— Хлеб есть в магазине?

— Есть.

— А чё без хлеба идешь?

— А у меня денег нету.

— А чё без денег пошла? Мать-то на работе?

— Нет. Мама моя умерла.

— А отец?

— Папа тоже умер.

— Одна кукуешь. Подожди! — Баба почмокала губами и весело глянула на Катю. — Слушай-ка, давай сделаем так. Я выкуплю твой паек на свои деньги. А немножко твоего хлеба возьму себе. Ну как — идет? А как твоя фамилия?

В магазине она сказала:

— На меня и на Болдыреву Катерину.

Отломив от Катиной пайки маленький помоток и деловито сунув свой и Катин хлеб в тощую котомку, баба ушла. А Катя стала завертывать хлеб в тряпицу. Завертывала и кумекала: «Это на всю неделю. На семь частей разделю. Нет, на шесть. На седьмой-то день я ишо получу. А то ить можно съесть все за день, за два. И надо будет эту тетю найти. Она от речки Косьвы шла. Значит, в том вон бараке живет».

Катя не удержалась и, отколупнув немножко хлебца, сунула его в рот. Какой запашистый!..

— Слушай, а что ты у мамы своей не взяла денег? — Продавец все видел и понял. И выслушав Катин ответ, спросил: — Так одна и живешь? Мда!..— В голосе печальная строгость.— А как тебя звать? Да-а-а!.. Слушай, у меня вот здесь, в магазине, уборщицы нету. Не хочешь поработать уборщицей? Будешь приходить к закрытию. А я тебе буду денег давать за работу. Согласна?

— А можно, я сейчас начну мыть?

— Можно, можно! Щас я дам ведро и тряпку.

Катя боялась, что у нее получится както не так, дрянно получится, и работала изо всех сил.

В магазин зашел мужчина в рваном тулупе. Проезжий. «Вольный». Попросил махорки и спичек. Снег от его пимов и тулупа падал на пол и таял. Катя подтирала лужицы, торопясь и пыхтя.

— У входной двери голик лежит, — сказал продавец мужчине.— Обтрясись, а потом ухоли. Лакеев тут для тебя нетука.

Назавтра, после школы, она опять побежала в магазин. Иван Иванович удивился ее приходу:

— Пришла? Так ведь чисто же. Отдохни сегодня. Ничего...

С тех пор и работает она уборщицей. Иван Иванович дает ей денег. Немного, правда. Но много ей и не надо. А третьего дня и картошки дал. Это из его картошки она вырезала глазки.

Катя копает. Лунку за лункой, лунку за лункой. И легонько заваливает землей картофельные глазки. Устала — руки болят, ноги болят. Дюже тяжелая лопата. Оглянулась и вздрогнула. К ней неторопко шагала заведующая школой Зоя Федоровна, седоволосая женщина в очках. Она, как и Иван Иванович, была из «вольных». Остановилась:

— Ты что делаешь?

— Картошку сажу. — В Катином голосе напряжение.

Зоя Федоровна нагнулась, подслеповато оглядела лунку, куда Катя еще не успела положить картофельный глазок. Похмыкала:

— Вот что, Катюша. Ты не так делаешь.

Виновато вздохнув, Катя опустила голову.

— Лунку надо делать значительно глубже. А то ничего не вырастет. Дай-ка лопату. Смотри!..

В руках учительницы вроде бы совсем другая лопата — легкая, ловкая; копнет — и лунка готова, глубокая, с ровными боками.

Зоя Федоровна хорошо знала эту девочку. Ее пытались устроить в ближний детдом, но там было все переполнено.

Судьба-судьбина не шибко-то баюкала и саму Зою Федоровну. Ведь не зря же дают ей теперь не свои сорок шесть лет, а все шестьдесят. Многое в теперешнем мире непонятно ей. С теми же «кулаками»... «Кулак — это богатый крестьянин, эксплуатирующий батраков». Но ведь большинство здешних спецпереселенцев неграмотны, батраков никогда не держали и эксплуатировали лишь самих себя. Однажды, будучи в веселом настроении, Зоя Федоровна нарисовала профиль бородатого мужика, рот у которого был закрыт на огромный замок. Испуганно глянула на окно и порвала листок с рисунком. Она хотела бы перейти в школу обычную, не спецпереселенческую, но ей отказывают.

Зоя Федоровна вскопала почти половину огородика и передала лопату Кате:

— Осенью будешь с картошкой. Но может быть, к той поре тебя отправят в детдом. Ты жди.

Катя покорно кивнула.

Если говорить откровенно, учительница не верила в то, что удастся устроить девочку в детдом.

Катю с остальными ребятишками гоняли в лес; на глухих лесных вырубках они собирали сучья, ветки и сжигали на кострах. А с бабами Катя ходила на прополку. Както в полдень сели обедать. Разложили на траве скудную еду. А у Кати в карманах, в котелке, на топчане и под ним — шаром покати, еще вчера все съела. Она отошла в сторонку.

— А ты пошто ничё не ешь? — спросила Анна Котова.

— А я не хочу.

— Не блезирничай давай. Хлеба у меня нетука. А вот картохой угощу. Садися!

Одна из женщин дала пол-лепешки ржаной. Съела все это Катя, попила холодной водицы из ручья. И уже какой-никакой, а обед.

...Клонилось к закату лето-припасиха. Оно нынче теплое было. Доброе. Катя радовалась: растет ее картошка. Ботва почти до пояса хозяйке. Вчера вырыла и сварила пять картофелин. Не шибко большие пока еще, но вкусные. Катя уже стала забывать донское слово «дюже», говорила по-уральски — «шибко». Каждый день ходит на огород. Сегодня туда, наверное, не пойдет — вторые сутки моросит дождик, он как бы висит в воздухе, дождик-пыль; весь лес окутан пепельным туманом, а бараки очернились и совсем принизились, вот-вот свалятся.

Ходики показывали десять минут седьмого, когда Катя вскочила с постели, разложенной на полу, — старенького одеяла и узкой, как блин, подушки с латаной наволочкой. Подушка Катина, а одеяло Натальи Яковлевны, учительницы, которая на прошлой неделе приехала в их поселок.

Катя прибрала на столе, протерла несколько замутненных стеколок у окошка, помыла пол и вытрясла домотканый половичок. Она еще вчера принесла со двора березовых поленьев и положила их в печь. Подготовила бересту. И сейчас подожгла ее. В печи слегка запотрескивало, потом зашумело — будто вьюга зимой за окошком.

Выйдя во двор, Катя стала собирать в кучу щепки и палки. Сзади раздался железный скрип, дверь тяжело ухнула, и послышался сонный голос учительницы:

— А зачем ты все это собираешь? Ведь у нас здесь полно всякого леса.

— А щепки эти хорошо горят, Наталья Яковлевна. Хотите, я вам оладышек испеку?

— Давай. Позавчера у тебя вкусные оладьи получились. И паренки тоже хорошие. Ты прямо молодец.

Катя стеснительно улыбалась.

У нее все теперь шло по-другому.

С месяц назад заболел Иван Иванович. Катя, как и обычно, пришла к нему в конце рабочего дня. На двери магазина висел замок. И какой — большущий, мрачный, нелюдимый. Она долго стояла тут, наверное, с час или больше, но завмаг не приходил. И замок уже стал казаться ей не только мрачным, но и насмешливым: дескать, все, голубушка, «отробилась», давай отчаливай.

Барачная улица пустынна и скучна. По дороге ковыляла старуха. Шагнет и шумно вздохнет. Шагнет и вздохнет. Поравнявшись с Катей, она прошамкала:

— В больнице он. Ишо вчерась увезли.

Катя подошла к дальнему бараку, где жил в однокомнатной квартирке с отдельным входом Иван Иванович. Два голых оконца немо темнели.

Магазин открыли дней через пять. За прилавком стояла мордастая тетка.

— Тебе чего? — Голос излишне громкий.

— А я убирала здесь, — нерешительно начала Катя.

— Чего убирала?

— Я уборщицей работала. Пол мыла. И подметала. У Иван Иваныча.

— А он чё... платил тебе?

— Платил.

— Ясненько! Ну, ты ишо мала для этого. Нельзя тебе уборщицей.

— А где Иван Иваныч?

— В район увезли. Болеет он. Он не будет тут больше работать.

На прошлой неделе заявилась в барак Наталья Яковлевна:

— Ты — Катя Бондырева? Я буду у вас учительницей.

Перед Катей стояла пухлая грудастая женщина. В ее лице было что-то вялое, сонное. Одета по здешним меркам недурно — платье незастиранное и туфли нестоптаны.

— Вот что, Катя. Я хочу помочь тебе. Я поселилась в квартире, где жил бывший завмаг. И давай-ка переходи ко мне. А как школьники приедут, снова переберешься в интернат.

Наталья Яковлевна врала. Она была из тех, кто любит изображать из себя добрых и чутких. Сегодня утром заведующая школой сказала ей: «Надо бы приглядеть за этой девочкой. А то мало ли...»

Да, было однежды... Подметала Катя веником возле барака. Откуда ни возьмись — два парня. По всему видать, проезжие, «вольные». «Пойдем с нами, девочка. Там вон у озерка земляники полно». — «Нет, нету». — «Есть! Мы тебе покажем». И тут Катя, как могла быстро, побежала к соседнему бараку, крича: «Бабушка, бабушка!» — хотя и не знала, там хромая старуха, которую она зовет, или нет.

Учительница привезла с собой репы, стручков бобов и угощала ими Катю. Но хлебушко ели каждая свой. Возвратившись с огорода, Катя замечала на столе хлебные крошки, кусочки картошки, оставленные учительницей. И когда выносила мусор, то возле помойки съедала эти крошки и кусочки.

Кате шибко хотелось остаться у учительницы, и она работала изо всех сил. А Наталья Яковлевна будто не видела всего этого: сидит дремлет или учебники читает, время от времени зевая, и спит допоздна.

«Тетя Аня тоже много спит, — думала Катя. — Видно, все толстые любят спать».

Наталья Яковлевна с дотошностью простой уральской бабы расспрашивала Катю о ее родителях, об их станичном житье-бытье. И не верила, что они жили так себе, небогато. «Конечно, девчонка всего не знает». Учительнице казалось, что все идет как и должно. И кулака надо раскулачивать. «А то как с им в социализм пойдешь?» Но вот позавчера получила она письмо от матери. Та сообщала, что раскулачили и увезли неведомо куда их соседа-токаря, который лет пять назад «взял ды и сдуру-то поставил двухэтажный домина с флигилем». Это было непонятно. Наталья Яковлевна думала, думала и, ничего не придумав, махнула рукой: «Кому надо, разберутся...»

А дождик-пыль шел и шел. И все кругом, даже воздух, пресытилось склизкой влагой. У входной двери—лужа с озерко. Катя взяла лопату и стала рыть канаву, чтобы отвести воду в овражек. Глубокая канавка получилась, а вода не течет, будто застыла. Еще покопала. Потекла, но слабо. Потом таскала в кадушку воду. Таскала и радовалась, что у нее такие крепкие ботинки. Сухо в них и тепло. Обутки эти ей подарил завмаг. Хорошие, только великоваты. Хлябают.

На другое утро Наталья Яковлевна сказала Кате:

— Я к сестре поеду. И вернусь, наверное, дней через пять. Хозяйничай давай. И смотри, никого не пускай.

— А здесь не воруют. Только один раз у меня кто-то из девчонок кусок хлеба утырил.

— Но украпи все-таки. И не говори «утырил». Это вульгарное слово. Уличное. В корзине репа. Можешь доедать.

Проводив хозяйку, Катя повалилась на кровать, почувствовав вдруг страшную усталость. И вот уже глаза смыкаются, как будто хозяйка вместе с квартирой передала ей на время и свою сонливость.

В полдень она вновь пришла на свой огород. Воды здесь мало, вся стекает в низину. Ботва цепляется за Катино платье, не хочет отпускать хозяйку. Растет картошечка!

Перед сентябрем в спецпоселок хлынули школьники, и Катя перебралась в интернат. И снова — деревянные топчаны, большие закоптелые стены, пугающий вой громоздкой, наспех сложенной печи и липкая холодная неуютность.

У всех девчонок были жалобы. У одной помер брат, у другой занедужил отец... Часто говорили о еде. А еще чаще думали о ней. Почти все время думали. У Зины — Катиной соседки по топчану — глаза тяжелые, как у изработанной бабы. У нее умерла мать, а отца угнали куда-то в тайгу, на лесозаготовки.

Картошка у Кати выросла не ахти какая. Катя старательно вырыла клубни и перетаскала их в дырявой корзине, найденной на помойке, в погреб интерната. Спецпереселенцы, когда ставили барак, не забыли и о погребе.

Девчонки толпой или по двое, по трое ходили в ближний лес за грибами. Грибы уродились нынче, но от дождей все обчервивели, особенно рыжики почему-то. Это, однако, не пугало девочек; бросят грибы в котел, сварят и — какая-никакая, а еда. Однажды Катя с Зиной даже заблудились в лесу. Сперва ходили — радовались: крепкие сыроежки попадаются. А потом глядь-поглядь — ни дорог, ни тропинок, тайга кругом непроглядная.

— Я боюся! — сжалась Зина. И уже слезы на глазах. — Это все ты виновата: «Подем дальше, подем».

— Не реви. — Кате и самой было страшно, но она храбрилась. — Куда-нибудь выйдем.

— Здесь звери есть.

— Мы на север шли. И надо на юг счас. Где солнышко?

— Како солнышко. Облака дык...

— По дереьям как-то определяют, где юг.

— Да пошла ты! Здесь уйдет охотник в тайгу и — все. Пропал. Это не как у вас. Ведь сама говорила, что у вас ни гор, ни лесу. — Помолчала сколько-то и сказала слезливо: — Подем вот на эту гору. И посмотрим оттудова.

Возле них низенький сосняк, а чем дальше, тем он выше и выше и на самом верху почти до неба тянется — сосны-версты. Катя понимала, что это только кажется так: перед ними высилась гора, густо, как травой, поросшая сосняком. Справа и слева тоже горы, но все они где-то далеко громоздятся, синеют или голубоватой дымкой подернуты. Те, которые в дымке, совсем далекие.

Угрюмо посматривая на сосны, девочки стали подниматься на гору. Не привыкла Катя ходить по горам. И «дюже» устала. Зина тоже устала. Шаги не слышны — лишь тяжелое дыхание.

Верхушка горы ровна как пол и узка. Редкие сосенки, сухая отживающая травенка. И кое-где камни. Прошли сколько-то шагов и со страхом отшатнулись: перед ними — обрыв глубиной с сосну; под обрывом зеленел лес, сползающий к низине. А дальше, за лесом, — дорога, по которой шагал мужик в сапогах, весело шагал, и ехала повозка с бабой и двумя мальчишками. Все простое и такое обычное.

В бараке у них было тихо, как в погребе. Заболела одна из девочек, та, у которой умер братишка. Она с самого приезда недомогала. А сегодня совсем слегла, лицо вытянутое, глаза застывшие.

— Хочешь, сварим тебе рыжиков? — спросила Катя. — Я два нашла, а Зинка один. Большие.

— Не хочу.

— А картошки хочешь? У меня есть.

— Не.

— Может, воды дать?

— Не хочу, — со стоном выдавила больная.

Откуда-то наносило сыростью, болотом.

4

Солнце скрылось за ватными облаками, которые висели на макушках дальних голубоватых гор. Оттуда летела стая галок, тяжелых, усталых после кормежки. Из окна, возле которого стояла Катя, был виден пруд, остроконечные бревна тына, окружавшего закоптелые корпуса старого завода, и заводские трубы с кривыми столбами дыма.

Катя уже вторую неделю живет в общежитии, в комнате на восемь коек. Здесь электричество и радио, простыни и шторы, — благодать! В Косьвинском спецпоселке она жила еще два с лишним года, как и прежде, голодно, одиноко, и думала уже, что «жизня такая» предназначена ей богом навечно. Хотелось, «дюже» хотелось захворать, уж тогда бы люди, наверное, поухаживали за ней, пожалели ее. Но когда и в самом деле захворала, чувствуя, как день ото дня все больше и больше слабеет, уже с постели подняться не может, то не на шутку перепугалась. В эту пору ей сказали, чтобы она собиралась в дорогу. И сразу стало легче, Катя сползла с топчана.

Вместе с воспитанниками детдома ее привезли на завод. Девчонкам было по четырнадцать лет, а Кате немножко меньше. Ростиком она не показалась, а лицо — на все шестнадцать: что-то усталое, забитое, чисто бабье в глазах и в черноте подглазиц. Ей кажется, что она куда старше детдомовок.

Катя работает на заводе по четыре часа в день; ее учит токарничать лысый старичок, чем-то неуловимо похожий на ее отца. Вечерами она ходит в школу. Никто из ее новых подружек не хочет учиться — лентяйничают. Здесь Катя уже не голодует, им готовит еду повариха. Если хочешь еще супу или каши, можешь попросить добавки. Под койкой валяется полуразвалившийся чемоданишко. И Катя время от времени кладет в него то кусочек сахара, то сухарик какой-нибудь, такое, что быстро не портится. Про запас. В спецпоселках она все доедала до крошки, ничего не выбрасывала. И сейчас доедает. Уже по привычке, которая сохранится на годы. Она все еще — душой и телом — чувствовала себя частицей того уже ушедшего от нее мира, забитого, изничтожаемого. И потому, наверное, с какой-то настороженностью смотрела на иных горожан: почему они так важно одеты и почему так веселы? Проходя вечерами по улицам, она видела, как в освещенных домах ужинают дети вместе с родителями, и тосковала по семейному уюту.

Она уставала от девчонок и в то же время скучала без них. И обрадовалась, когда в комнату вбежала соседка по койке Фрося, мордастая, простодушная девочка. Катя дружит с ней.

— А наши в кино уплелись. Знаешь, я счас мороженое ела. У плотины кака-то баба продавала.

Катя улыбается заискивающе. Она перед всеми немножко заискивает.

На стене хрипел круглый громкоговоритель. Прислушиваясь к голосу диктора, Фрося сказала:

— Ничё не понимаю в этой политике, ей-бо! Дура я кака-то.

— Кулачество было злейшим врагом социализма, — сурово вещал репродуктор.— И мы перешли к политике ликвидации, к политике уничтожения кулачества как класса.

Въедливый холодок, холодок страха прокатился у Кати в груди.

А. И. РЫЖИКОВ

ДЕЛА ЗАПОВЕДНЫЕ

ЗАПОВЕДНИКИ исстари считались в народе неприкосновенными. Таковыми они признаны и сейчас. Их защищенность от всякого посягательства юридически закреплена в многочисленных правовых актах. Но, к сожалению, это вовсе не значит, что безопасность заповедных мест обеспечена в достаточной мере надежно. Они как подвергались, так и продолжают подвергаться беззастенчивому нашествию со стороны. Я уж не говорю о браконьерах-одиночках. Это само собой. Речь идет об организованных ограблениях природных ценностей, совершаемых предприятиями, учреждениями. Как водится, за эти грабительские опустошения в большинстве случаев никто не несет ответственности.

О тревожном положении, сложившемся вокруг заповедников, пишут ученые, работники самих заповедников, пишут — правда, гораздо реже — юристы. Но ситуация остается прежней. За всю историю своего существования наши заповедные места так и не стали действительно неприкосновенными.

У классиков марксизма-ленинизма нет прямых ссылок относительно заповедников, их роли в развитии общества. Но есть другое. В третьем томе «Капитала» К. Маркс писал: «Даже целое общество, нация и даже все одновременно существующие общества, взятые вместе, не суть собственники земли. Они лишь ее владельцы, лишь пользующиеся ею, и, как добрые отцы семейства, они должны оставить ее улучшенной следующим поколениям». Казалось бы, все ясно и понятно. Но о чем думали те, кто строил целлюлозно-бумажный комбинат на Байкале и ставил тем самым под угрозу нормальное существование сразу двух заповедников: Байкальского и Баргузинского? Уж конечно не об улучшении земли для следующих поколений...

Ф. Энгельс в «Диалектике природы» писал: «Какое дело было испанским плантаторам на Кубе, выжигавшим леса на склонах гор и получавшим в золе от пожара удобрение, которого хватало на одно поколение очень доходных кофейных деревьев, — какое им было дело до того, что тропические ливни потом смывали беззащитный отныне верхний слой почвы, оставляя после себя лишь обнаженные скалы». Можно ли отнести эти слова к заповедникам нашей страны? А почему бы и нет. В 1951 году кто-то приказал отрезать от Печоро-Илычского заповедника его равнинную часть — единственное место, где росли замечательные светлохвойные леса. Потом половину отрезанной территории вернули заповеднику, но за время «свободного» режима здесь вырубили упомянутые леса, разогнали и выбили обитавших здесь животных.

Только большие транспортные расходы спасли единственную в мире рощу пихты грациозной от вырубки на территории Кроноцкого заповедника. Только страшное бездорожье спасло лиственницу на территории современного Пинежского заповедника. Воронежский заповедник, которому «спустили» план на рубку древесины, по собственной инициативе перевыполнял этот план вдвое!..

Так и хочется перефразировать Ф. Энгельса: ну какое дело дельцам-хозяйственникам до того, что уничтожаются редкие, а то и единственные в мире деревья, рощи, леса. Испанских плантаторов еще можно понять: они хищничали на чужой земле, в колонии. А наши хозяйственники опустошают родную страну, оставляя своим потомкам боль и горечь невозвратных утрат.

В. И. Ленин тоже не дал теоретических разработок по заповедному делу в социалистической стране. До того ли было... Но практически Владимир Ильич многое сделал для организации нашего заповедного хозяйства. За его личной подписью осуществляются проекты Астраханского и Ильменского заповедников. По указанию вождя рассматривается вопрос об усилении охраны Беловежской пущи. Предполагается организация Кавказского заповедника — и он создается на основании постановления Кубано-Черноморского ревкома от 3 декабря 1920 года. Это постановление подтверждается декретом СНК РСФСР от 12 мая 1924 года. Но такой почтенный возраст и такая солидная родословная Кавказского заповедника не помешали его администрации организовать на его базе цех ширпотреба, работающий на древесине реликтовых пород деревьев, которые, конечно же, рубили в заповедных лесах.

Социалист-утопист Френсис Бэкон в романе «Новая Атлантида» так описывает идею современных заповедников: «Есть у нас всевозможные парки и заповедники для животных и птиц, которые нужны нам не ради одной лишь красоты или редкости, но также для вскрытий и опытов... При этом нами сделано множество необычайных открытий... С помощью науки делаем мы некоторые виды животных крупней, чем положено их природе, или, напротив, превращаем в карликов, задерживая их рост... делаем их плодовитее, чем свойственно им от природы... Есть у нас особые водоемы, где подобные же опыты производятся над рыбами».

Наши заповедники — не что иное, как научно-исследовательские лаборатории под открытым небом, предназначенные для опытов, изучения природных процессов. Так что Ф. Бэкон со свойственной ему практической сметкой на триста лет раньше нас сумел увидеть действительную пользу заповедников для человека.

Но заповедников в странах Западной Европы так и не было до конца XIX века. В 1864 году появился первый национальный парк — долина Сьерра-Невада в США. А потом заповедники и национальные парки в США и странах Западной Европы начали создаваться с поразительной быстротой. В Древней же Руси они были всего лишь целевого назначения — для привилегированных охот, отлова соколов, для поддержания численности охотничьих животных, сохранения знаменитых засечных лесов, стоявших естественной стеной на пути степных кочевников по южным границам России.

В центральной, просвещенной России общественность вынуждена была обращаться к государству за содействием в деле охраны природы. Одно из первых обществ по ее охране появилось на днепровском острове Хортица. Возглавил его местный учитель. И, надо сказать, проявляло оно себя куда активнее, нежели современные многочисленные первичные организации общества охраны природы.

Хортицкие энтузиасты обратились в департамент земледелия с вопросом об организации охраны живописных скал на Днепре. Департамент ответил исключительно коротко и бюрократически ясно: «В России нет закона, защищающего красивые виды в природе».

Через семьдесят пять лет нашей стране пришлось покраснеть за Хортицу перед мировой общественностью. В 1987 году прибыла на остров советско-болгарская экспедиция «Перун-87». Ее участники хотели познакомиться с многочисленными памятниками древнего славянства. Но как же мало увидели!.. В свое время Совмин Украины выделил под заповедник весь остров — 2650 гектаров. Хорошо! А что получилось на деле? Запорожский горисполком расщедрился и отрезал заповеднику... пять гектаров. Древнейшее городище, упомянутое еще в «Повести временных лет», было обозначено памятным знаком. Но потом его сровняли с землей и посеяли на этом месте сорго. Так и кануло в Лету древнее славянское городище. Да только ли оно!

Природа громадной России начала быстро отступать под ударами топора, под натиском огня и плуга. Будто по мановению волшебной палочки исчезли великолепные лоскуты разноцветной степи. Плуг, смело перешагнувший реку Оку после битвы на Куликовом поле, пошел себе гулять по степям до самого Черного моря. С хрустом и треском врезался в тысячелетнюю дернину... Беглый мужик искал свою долю в «диком поле». Дикое поле кормило его. А вслед за мужиком исподволь шагало государство, закрепляя за собой то, что сумел освоить земледелец с сохой и лошадкой. Степь исчезала, превращаясь в пашню. Что было добром для государства, становилось злом для дикой природы. «Под влиянием последней (культуры. — А. Р.) первобытная природа тает «как воск от лица огня», — писал известный русский ботаник И. П. Бородин в 1910 году. — Девственные степи и леса отходят в область преданий».

В создании степных заповедников инициатива принадлежала не государственным учреждениям, а частным лицам. Обрусевший немец Ф. Э. Фальц-Фейн нашел возможным выделить в своем имении два участка в пятьсот и сто десятин. В своем же имении Карамзин оставил шестьсот десятин целинной степи в Бугурусланском уезде Самарской губернии. Графиня Панина соизволила распорядиться об оставлении порядочного куска степей в Валуйском уезде Воронежской губернии.

Кое-что для сохранения некоторых участков природы начинает делать и научная общественность. Рижское общество естествоиспытателей добивается заповедывания Вайкасских островов и острова Мориц на озере Усмас. Мориц общество просто выкупает у владельцев. Только официальная наука помалкивает. Академики благодушно уповают на лучшее будущее. И. П. Бородин пишет: «Мы уже поняли необходимость охранять памятники нашей старины; пора нам проникнуться сознанием, что важнейшим из них являются остатки той природы, среди которой когда-то складывалась наша государственная мощь, жили и действовали наши отдаленные предки. Растерять эти остатки было бы преступлением. Сколько бы защитных участков ни устроили у себя наши соседи, они не в состоянии заменить наших будущих заповедников. Раскинувшись на огромном пространстве в двух частях света, мы являемся обладателями в своем роде единственных сокровищ природы. Это такие же уники, как картины, например, Рафаэля, — уничтожить их легко, но восстановить нет возможности».

Нам тоже приходится уповать на то, что «на огромном пространстве в двух частях света» найдем мы место заповедникам площадью в пять-шесть миллионов гектаров — как Большой Гобийский в Монголии, Центрально-Калахарский в Ботсване, Вуд-Буффало в Канаде. Нет у нас пока заповедников и в два миллиона гектаров, какие имеются во многих странах мира: Норвегии, Южно-Африканской Республике, Заире, Канаде, Бразилии, Венесуэле, Замбии и т. д. У нас в стране — только два заповедника, площадь которых превышает один миллион гектаров: Таймырский и Кроноцкий, многострадальный. Но у Таймырского только общая площадь 1,3 миллиона гектаров, на самом же деле он состоит из трех участков. То есть, в конечном счете, и он не имеет больше миллиона гектаров. А ведь давно пора понять, что только крупные по площади заповедники спасут флору и фауну. Мелкие же лишь на некоторое время оттянут гибель боль-

шинства биологических видов, и прежде всего крупных животных-хищников. А зачем создавать заповедники, которые не в состоянии сохранить того, что обязаны сохранить? Это все равно что проектировать завод, заранее зная, что он не будет выпускать продукцию. А как расценивать тот факт, что в течение трех лет после официального создания Таймырского заповедника на его территории продолжался промышленный лов рыбы?..

Очень хочется надеяться, что когда-нибудь у нас в СССР заповедниками будет занято хотя бы пять — десять процентов территории, как в Ботсване, Англии, ФРГ и некоторых других странах. Сейчас же в Советском Союзе только 0,6—0,7 процента территории объявлено заповедными. А в идеале надо бы не менее тридцати — тридцати трех процентов...

«Наиболее неотложным представляется мне образование степных заповедных участков,— писал И. П. Бородин.— Степные вопросы это наши, чисто русские вопросы, между тем именно степь, девственную степь, мы рискуем потерять скорее всего». Сохранили ли мы в девственном виде степь? Степь, которая занимала 71,1 миллиона гектаров в европейской части СССР (что составляет 14,3 процента от всей площади Восточно-Европейской равнины)? Степь, которая занимает в СССР 246 миллионов гектаров, или 11,6 процента от всей площади страны? Да, кое-что сохранили — всего 0,07 процента от общей степной площади. Это маленькие разрозненные кусочки целинной степи на Украине и в Курской области.

Самый старый степной заповедник, созданный частным лицом в конце прошлого века, — Аскания-Нова. Но он практически потерял заповедность. Целинную степь все больше и больше пашут. Пасут там овец, косят сено. И это тот самый заповедник, который в годы гражданской войны охранялся лишь авторитетом единственного человека — известного ученого и путешественника П. К. Козлова, который был назначен туда комиссаром. Даже в годы полного безвластия и анархии удалось Козлову сохранить от заповедника больше, чем сохранили мы сейчас. Повторю: все возможности по охране Аскании-Нова заключались в личном авторитете ученого. А территория заповедника переходила из рук в руки — белые, красные, зеленые... Около сорока трехдюймовых снарядов разорвалось только на территории парка Аскания-Нова. Около трети животных погибло. Но это — мелочи по сравнению с тем, что произошло позже, после всех войн, когда Аскания-Нова попала в руки Украинского научно-исследовательского института животноводства ВАСХНИЛ. С 1952-го по 1983 год в заповеднике число гнездящихся видов птиц сократилось с 81 до 68, пролетных — со 177 до 111. Даже обычные виды птиц исчезли: белый аист, зяблик, черный дрозд, мухоловка-пеструшка. Пропали редкие журавль-красавка, дрофа, стрепет, степной орел.

Может быть, не писали о бедах этого уникального уголка природы? Писали. В 1964 году высказывалось предложение немедленно отобрать заповедник у нерадивого хозяина — УНИИЖ. Однако не отобрали. И вот через двадцать три года, в 1987-м, снова заговорили о том же. Площадь абсолютно заповедных участков к 1965 году уменьшилась в 4,2 раза. И вроде бы начали в 1971-м принимать кое-какие меры по налаживанию необходимого режима, но все опять вернулось к старому, и стало еще хуже. В 1984 году Аскания-Нова получила статус биосферного заповедника, приобрела международное значение. Но это не более чем фикция. Аскания-Нова даже не обладает самостоятельностью, как это положено настоящему заповеднику. Она всего лишь отдел целинной степи УНИИЖ и не имеет своего директора, своей бухгалтерии. Управляет отделом заместитель директора УНИИЖ по кормодобыче. И конечно, он добывает корма где угодно, в том числе и на заповедной территории. За сохранность степи его едва ли спросят, а за корма спросят обязательно.

В 1925 году И. П. Бородин писал еще об одном уникуме русских ландшафтов — поемных лугах: «...но там (в Западной Европе. — А. Р.) луговая растительность была уничтожена раньше, чем она могла быть подвергнута исследованию. ...Объект луговедения исчез раньше возникновения самой науки». Ученый горячо боролся за сохранение поемных лугов, настаивал на их изучении. Прошло с тех пор более шестидесяти лет. Может, сейчас в нашей стране есть специализированный заповедник пойменных лугов, который, согласно своему статусу научно-исследовательского учреждения, занимается проблемами заливных лугов, их сохранением и изучением? Ничего подобного. Частично пойменные территории входят в состав многих заповедников, но ими занимаются только с одной целью — выкосить их на сено. Так обстоит дело с пойменными лугами Мордовского заповедника. А Приокско-Террасный, охраняя типичные ландшафты долины Оки, вообще лишен пойм, и его территория в ландшафтном отношении не представляет единого целого.

Одним словом, пойменных заповедников у нас нет. Мы не успели их создать.

Зато мелиораторы стараются вовсю. Им же все равно — где и что осушать. Осушают все, что нужно и не нужно. И их пока не интересует, что произойдет на месте осушенного. Прежде всего они лезут в поймы рек. Как же, ведь там — переувлажнение! И гибнут луга, а с ними и реки.

Впрочем, насчет «не успели создать» сделаю поправку-уточнение. Был, например, Клязьминский заповедник на территории двух областей — Владимирской и Ивановской, но в 1951 году его закрыли. Потом попытались вновь открыть, и Ивановская область дала на то согласие, однако владимирцы воспротивились, мотивируя свой отказ тем, что область и без того страдает от недостатка кормов. Так и не возродили Клязьминский заповедник, основную площадь которого занимали пойменные луга.

Как часто мы слышим ссылки на то, что нет, мол, кормов, не хватает продовольствия, а тут еще какие-то заповедники. Забывают почему-то хозяйственники, что тридцать процентов кормов, двадцать — зерна теряются от нашей безалаберности, что по той же причине потери плодов и овощей доходят до пятидесяти-шестидесяти процентов. Так не лучше ли деньги, отдаваемые мелиораторам, направлять на строительство хранилищ, на другие меры во имя сохранения того, что выращиваем.

В 1914 году на страницах «Лесного журнала» Ип. Серебренников написал замечательные строчки: «...все яснее несется над человечеством новый клич, зовущий людей к охране природы в ее естественном виде, чтобы потомки, захотевшие проникнуть своей мыслью в глубь веков, не тратили бы слишком много своей энергии и умственного труда для восстановления былой картины, которую стерли с лица земли все побеждающая цивилизация и все уничтожающий человек...

...Предприимчивые янки не жалеют на деле ни денег, ни труда для охраны памятников природы...»

А о Сибири он так сказал: «Сибирь в потенции это не только страна национальных парков, резерватов, но и этнографический конгломерат, каждый камушек которого кричит о защите».

Есть у Серебренникова и еще несколько слов, обидных для нашей страны, но, к сожалению, справедливых: «Россия же бедная духовно и материально идет за ними (за янки.— А. Р.) в хвосте, только одна известная на весь мир Беловежская пуща до некоторой степени напоминает собой заповедный национальный парк, но она заселена, она все же эксплуатирует свои леса».

Ну, а наши леса в заповедниках? Сохранились ли они в неприкосновенности? К сожалению — тоже нет.

В восьми лесных заповедниках МСХ СССР с 1950-го по 1970 год в среднем было вырублено с каждого гектара 0,43 кубометра древесины, это всего лишь в два раза меньше, чем в обычных леспромхозах. За пятилетку с 1970-го по 1975 год вырубалось уже по 0,76 кубометра с гектара.

Может быть, в нашей стране нет лесов и мы вынуждены рубить охранные? Ничего подобного. Лесов у нас много. Только, увы, и безалаберности тоже много. Миллионы кубометров древесины остаются затопленными в водохранилищах! Ее конечно можно было бы добыть до затопления, но леспромхозы рубят лес в другом месте. На дне будущего водохранилища им рубить почему-то невыгодно. И еще — сколько гибнет леса от пожаров, виновниками которых бывают не дети и не стихия, а должностные лица! Об этом много писалось в 1987 году.

Вся ли добытая древесина используется? Только тридцать процентов срубленного леса становится деловой древесиной, а остальное идет в отходы и просто на свалку. Из архангельского леса, наиболее ценимого за границей, 172 тысячи кубометров брошено на месте, на лесосеках, а 93 тысячи пущено на дрова.

Так зачем же рубить еще и заповедный лес, если и тот, что рубим, не можем использовать? В Красноярском крае ежегодно не перерабатывается одиннадцать миллионов кубометров хлыстов, из них полмиллиона сжигается в виде щепы. Только с одного мачтового завода Минэнерго вывозится в болото сто тысяч кубометров щепы.

1 июня 1969 года Советское правительство специальным постановлением запретило транспортировку леса по Байкалу в плотах — во время штормов они разбивались, и в воде оставалось ежегодно пятьдесят-шестьдесят тысяч тонн добытой древесины, загрязнявшей озеро. Но и через двадцать лет так же, в плотах, транспортировали лес, еще два десятка лет теряли древесину, взамен которой рубили заповедные богатства.

На многих реках сплав леса до сих пор проводится молевым способом. В результате дно таких рек покрывается топляком в несколько слоев. Лес гниет, заражая воду, уничтожая в ней все живое. Гибнет природа. Гибнет лес, на добычу которого израсходованы деньги. Гибнет труд людей.

Неоднократно издавались постановления всевозможных рангов о защите кедра, а лесозаготовители из всех видов деревьев нашей тайги предпочитают вырубать именно его, не трогая всего остального. Кедрачи уничтожают поразительно быстро, и на их месте остается изуродованная тайга.

Истинные сибиряки всегда охраняли кедр от порубок. С. Швецов в 1888 году писал: «Лес может рубить каждый, но при условии: зря не рубить кедра. Особенно преследуется рубка кедра с целью собирать шишки. За это голых вешали на лесине, привязывали к дереву на съедение комарам и муравьям». Вот так — без суда и следствия. Виноват — отвечай. Прямо тут же, на месте преступления.

Нынешние же лесозаготовители поступают еще бездушнее, чем их браконьерствующие предки. Те хоть рубили ради сбора шишек, а сейчас огромное количество кедров валят, чтобы потом сгноить. Правда, виновных найти трудно. Те, кто непосредственно пилит лес, чаще всего невиновны: они выполняют приказ. А вот приказ отдающие пребывают далековато от таежных комаров и муравьев...

В 1915 году видный русский ученый В. Н. Сукачев был обеспокоен судьбой волжских Жигулей. Этот замечательный памятник природы на Восточно-Европейской равнине до сих пор таит загадки происхождения своей флоры. Сукачев писал: «Вырубки лесов, вытаптывание склонов, эксплуатация известняка на склонах — все это содействует уничтожению естественных растительных ассоциаций и обеднению флоры». В 1927 году был создан Средне-Волжский заповедник, в который основным участком входил современный Жигулевский заповедник. Его спокойная жизнь продлилась недолго, до 1935 года. Потом вплоть до 1966-го он много раз закрывался и откры-

вался вновь. С 1966 года действует покв постоянно. В 1970 году была высказана идея расширить его, но правительство РСФСР не одобрило предложение.

Заповедник в свое время удержал от вторжения на свою территорию нефтяников. Как ни важны были поиски нефти, но законность победила. Но площадь Жигулевского заповедника — всего девятнадцать тысяч гектаров, для всех Жигулей этого мало. И вот в 1984 году постановлением Совмина РСФСР на площади шестьдесят девять тысяч гектаров создается национальный парк «Самарская лука». Это было замечательное решение. Национальный парк являлся как бы продолжением охранной зоны и одновременно служил буфером, смягчающим антропогенное воздействие на территорию заповедника.

Казалось бы, хоть и припозднилась идея создания национального парка, но все же она восторжествовала. Но радости оказались преждевременными. Как и во время Сукачева, гремят взрывы в карьерах, дымится свалка мусора; егеря, охраняющие парк, рубят лес и косят сено в этом же парке, выполняя свой своеобразный план. Есть, правда, и отличия. В пору Сукачева добыча камня не имела современных масштабов. Сегодня добывают щебень миллионами тонн и кубометров. Для карьеров отводятся все новые и новые участки за счет земель... все того же национального парка. Как ни странно, но под карьеры отводятся даже земли, на рекультивацию которых уже затрачены миллионы рублей. Дирекция же «Самарской луки» попустительствует хищническому отношению к национальному парку. Это и не удивительно, ведь директор его — бывший камнедобытчик и лесопромышленник. С психологией потребительского отношения к природе трудно оградить национальный парк от разрушения.

Свирепствуют на его территории браконьеры. Лес начали рубить, превышая все допустимые нормы. И это спустя семьдесят два года после того, как Сукачев предупредил, что вырубка леса губительна для Жигулей. Мало этого — на участках национального парка строится свинокомплекс и создаются новые карьеры. Кому это выгодно? Стране? Народу? Скорее всего — бюрократам и недальновидным людям, которым природа представляется чем-то абстрактным, обобщенным. В нее можно въехать на служебной автомашине на пикник. Для этого живописных уголков еще много, на наш век хватит.

Странно, что центральные власти сквозь пальцы смотрят на то, что их решения игнорируются. Совет Министров РСФСР, отдав приказ об организации национального парка и выделив ему земли, не может справиться с Жигулевским райисполкомом и Куйбышевским облисполкомом, которые своими решениями и действиями отрезают все новые и новые куски от зеленого жигулевского пирога.

В августе 1987 года была разрешенв охота на уток в национальном парке Лосиный остров, подчиненном Мосгорисполкому. Именно об этом паоке писал в 1934 году ученый-зоолог Б. М. Житков: «На территории лесничества (Лосиноостровского. — А. Р.) должны быть уничтожены ловля певчих птиц, охота браконьеров, полуодичавшие собаки и кошки...» Парк создали. Его охраняют. На его содержание в 1985 году выделили из государственного бюджета 897 тысяч рублей — примерно 89 рублей на один гектар. И деньги эти потрачены только на то, чтобы за несколько дней уничтожить здесь всех уток!..

На территории национального парка разрешается преследование раненых кабанов. (Впрочем, эта практика действует во всех заповедниках РСФСР.) Великолепное разрешение! Ну кто и как докажет, где ранен кабан: в заповеднике или за его пределами.

Заповедники, согласно всем правовым документам, признаются научно-исследовательскими учреждениями независимо от ведомственной подчиненности. Может, те из них, что подчинены Академи наук СССР, являются примером для других в деле сохранения уникальной природы? Один из старейших наших заповедников — Кедровая падь на Дальнем Востоке. Он был организован еще в 1916 году. В 1924-м Дальневосточный экономический совет предоставил ему право самостоятельности. Через два года заповедник уже обладал площадью в девять с половиной тысяч гектаров. А еще через десять лет он был передан в ведение АН СССР. В 1951 году заповедную площадь расширили почти до восемнадцати тысяч гектаров.

Короче — срок существования заповедника приличный, чтобы сделать его образцовым. И вот в 1981 году о Кедровой пади читаем: «...природное равновесие нарушено настолько, что экологическая система не способна к самовосстановлению...» Дальше идти некуда. На содержание заповедника ежегодно расходовалось от 87 до 135 тысяч рублей — и такой вот результат...

Можно назвать и многие другие ведомства, заповедники которых расположены в разных природных зонах, в разных республиках, но находятся в таком же состоянии.

Ведомственная разобщенность охранных территорий отрицательно сказывается на ведении всего заповедного хозяйства страны. Об этом говорил еще в 1935 году заместитель председателя Комитета по заповедникам при Президиуме ВЦИК В. Н. Макаров: «Когда охотничья организация взяла заповедник в свои руки, она провела отстрел и массовый отлов птиц на территории самого заповедника. Птицу отстреливали из ружей, ловили сетями, били палками и брали просто руками, одним словом, произошло массовое истребление дичи...» Дальше он продолжал: «Хозорганы должны следить за заповедниками, в правительство может их заставить это делать. Но, по-видимому, трудно удержаться хозорганам от легкого способа выполнения хозяйственных планов за счет тех заповедных богатств, которые им вверяются».

В последнее время печатается немало любопытных газетных информаций о том, что уссурийские тигры и белые медведи появляются вблизи крупных населенных пунктов. А заголовки-то какие интригующие. Например: «Разбойник из Красной

книги». Необычное поведение животных даже ставится в заслугу защитникам природы. Вот, мол, насколько мы увеличили численность этих «разбойников», не пора ли начать планомерный отстрел. Но не нужно обольщаться. Появление крупного зверя в непривычных местах обитания говорит скорее о том, что в прежних, привычных ему, стало жить невыносимо и он ищет спасения.

В настоящее время заповедники не выполняют своей задачи по сохранению отдельных видов животных, даже тех, которые занесены в Красные книги — и нашу, союзную, и международную. А ведь на это тратятся народные деньги. Небольшие, правда, в среднем 1,8—2 рубля на гектар (на уровне развитых стран). Мне не приходилось пока слышать о том, чтобы заповедник как организацию привлекли к ответственности за невыполнение своих главных обязанностей. Мордовский, например, не сумел сохранить даже такое некрупное животное, как выхухоль, которая исчезла на территории заповедника, но сохранилась вблизи его границ, в выработаниых торфяных карьерах. Впрочем, не исключено, что ее и там уже нет.

Примеры, примеры, примеры...

А что же наше законодательство? 27 апреля 1981 года утверждены типовые положения о заповедниках, национальных парках, заказниках и памятниках природы. Юридическому анализу эти положения подверг известный ученый-правовед в деле охраны природы О. С. Колбасов. Ему можно верить. Вот что он пишет: «...они не являются обязательными для законодательных и исполнительно-распорядительных органов СССР, союзных и автономных республик, для Советов народных депутатов краев, областей, районов, городов и других административно-территориальных единиц страны. Издание типовых положений о государственных заповедниках, памятниках природы, заказниках и национальных парках не внесло никаких изменений в сложившуюся систему государственного управления этими объектами и их подведомственность».

Следовательно, все отрицательное, что было в заповедниках раньше, может продолжаться и сейчас. Тогда зачем нужны типовые положения, которые не обязательны ни для кого и не вносят ничего нового в систему охраны заповедников? А ведь кто-то отчитался о том, что проделана большая работа по развитию законодательства в деле охраны природы вообще и заповедников в частности.

Есть законы, которые призваны защищать заповедники. Вот, к примеру, Земельный кодекс РСФСР. Он, как и земельные кодексы других союзных республик, основан на статьях «Основ земельного законодательства Союза ССР и союзных республик». Статья 108-я Земельного кодекса РСФСР гласит: «Земли заповедников изымаются из хозяйственного использования. Всякая деятельность, нарушающая природные комплексы заповедников или угрожающая сохранению природных объектов, имеющих особую научную или культурную ценность, запрещается как на территории заповедников, так и в пределах устанавливаемых вокруг заповедников охранных зон».

Как выполняется первая часть статьи, видно из выше приведенных примеров. На территории заповедников косят, пасут скот, ловят рыбу, рубят лес, прокладывают дороги и ЛЭП, пашут, сеют и делают многое другое «по хозяйству» в явный ущерб установленному режиму. Заповедники даже получают доходы за счет эксплуатации природных ресурсов своих неприкасаемых территорий. В среднем по стране доходность одного гектара заповедных зон составила: в 1974 году — 0,23, в 1984-м — 0,17, в 1985-м — 0,16 рубля. Вроде бы снижается. Но при тщательном анализе видно, что это не совсем так. За последнее время много введено в строй «малодоходных» заповедников в зоне тундры и тайги с весьма крупными площадями. Это первое. Второе — по некоторым республикам «доходность» заповедного гектара становится с каждым годом выше. В Грузии в период с 1974-го по 1985 год она увеличилась с 0,08 до 1,56, в Казахстане — с 0,01 до 0,13, в Молдавии — с 2,19 до 11,78 рубля. И это только те доходы, которые официально учтены, которые попали в карманы заповедника и отражены в годовой статистической отчетности. Можно не сомневаться, что «скрытые» суммы — не меньше, если не больше.

За счет чего же получают свои доходы заповедники? Прежде всего — за счет рубки лесов. В 1975 году директор Центрально-Черноземного заповедника А. М. Краснитский писал, что в восьми охранных зонах МСХ СССР в период с 1950-го по 1970 год вырубалось такое количество леса, которое намного превышало внутренние потребности заповедников в дровах.

Обрабатывая статистические показатели бывшего ЦСУ СССР по заповедникам, я обратил внимание на то, что их доходность находится в прямой зависимости от наличия леса в природной зоне и потребности в нем. Вот средние данные за восемь лет (с 1974-го по 1981 год): тундра — 0,18, тайга — 0,18, смешанные леса — 0,75, лесостепь и степь — 0,92, пустыня и полупустыня — 0,3, Кавказ — 0,12, Крым и Карпаты — 1,32, горы Средней Азии—0,17 рубля с гектара. В таежных заповедниках лес рубить ни к чему, его и за пределами достаточно. А вот в степных и лесостепных — другое дело. Тут и идут под топор многострадальные «оберегаемые» рощи. Кстати, это касается и Крыма с Карпатами.

Уточним: статьей 40-й «Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных республик» в заповедниках запрещаются только рубки главного пользования (что, впрочем, не всегда выполняется). За пределами этой статьи остаются санитарные рубки и рубки ухода, при проведении которых предполагается удалять старые, загнившие, дуплистые, кривые и нестандартные деревья. Но это можно и нужно делать в промышленных лесах, чтобы вырастали там прямые лесины, годные на доски, тес, брусья. А в заповедных удаление дуплистых деревьев ведет к исчезновению птиц дуплогнездчиков, млекопитающих,

которые ютятся в дуплах. Из таких лесов уходит белогрудый медведь. Вместе с вырубаемыми загнившими деревьями исчезает жук-олень, занесенный в Красную книгу СССР, — личинки этого насекомого семь лет проводят в гнилой или гниющей древесине. А надо ли говорить о том, что под видом санитарных рубок и рубок ухода нередко вырубается и хороший лес, который как раз и нужен хозяйственникам. Об этом писалось уже не раз.

Короче говоря, закон изымает земли заповедников из хозяйственного использования, а они, эти земли, почему-то сплошь и рядом подвергаются бесхозяйственному нашествию. И ответа за это никто не держит.

Ну а об охранных зонах вокруг заповедников и говорить не приходится. Их попросту нет. А они так нужны. Заповедники — это островки дикой природы. Если лихие хозяйственники подступают непосредственно к их границам, то все живое уходит в глубь этих островков, сокращается и без того небольшая заповедная площадь. Осушительные мелиорации, например, сказываются на расстоянии не менее трех километров, что признают сами мелиораторы. Представим, что осушено болото вблизи границ заповедника. Значит, его территория в пределах трехкилометровой полосы подвергнется понижению грунтовых вод. Может, кто-то возразит, скажет, что мелиораторы не позволяют себе делать такие проекты — Земельный кодекс запрещает. Запрещать-то запрещает, да только мелиораторам безразлично, где и что осушать, где зарывать в землю государственные денежки.

Сильно страдает от мелиораторов Мордовский заповедник — они подступили к самым его границам. Сделали свое черное дело — ничего, никаких строгих санкций. В 1971 году Е. П. Веденьков писал об Аскании-Нова: «Орошение окружающих территорий создает опасность подъема грунтовых вод и засоления... Для уменьшения отрицательного влияния Каховской оросительной системы на биогеоценозы заповедника необходимо создать вокруг него защитную зону из неорошаемых земель». Думаете, кто-нибудь прислушался к этому мнению? Как бы не так.

Что касается охранных зон заповедников, которые непосредственно граничат с землями колхозов и совхозов, то в нарушении их режима виноваты проектные институты «Гипрозем», находящиеся в системе Госагропрома. Именно они составляют проекты внутрихозяйственного землеустройства колхозов и совхозов, в том числе и тех, которые соседствуют с заповедниками.

Коротко поясню, что такое проект внутрихозяйственного землеустройства. В нем определяется все: размеры полей, чередование выращивания культур на них, схемы севооборотов, их размещение на территории хозяйства. Закон запрещает какие бы то ни было отступления от проекта (статья 137 Земельного кодекса РСФСР). Размещение севооборотов на территории колхоза или совхоза очень важно для заповедника. Например, разместили у его границ севооборот, насыщенный пропашными культурами. В течение весны, лета и осени на этих полях работают люди и техника. В приграничной полосе заповедника создается зона повышенного фактора беспокойства. Животные уходят отсюда. Если же вблизи границ разместить посевы многолетних трав, то человек здесь будет появляться один раз в год — для их уборки. Это только одна сторона дела. А сколько на полевые культуры тратится минеральных удобрений, пестицидов, инсектицидов, гербицидов и прочих «цидов»... Они обязательно проникают на территорию заповедника, если поля граничат с ней и если применяется авиация.

Казалось бы, очевидно: проекты внутрихозяйственного землеустройства хозяйств, граничащих с заповедником, должны существенно отличаться от обычных проектов. Ведь дикая природа легко ранима. Звук мотора работающего трактора мешает нормальному процессу гона бухарского оленя в заповеднике Тигровая балка. А сколько машин ревет по границам других заповедников! И как это сказывается на самочувствии всех видов животных — и больших и маленьких!..

Вызывает недоумение, что браконьерство и незаконная порубка леса в заповедниках приравниваются Уголовным кодексом к аналогичным действиям в незаповедных лесах, лесах первой группы. Это же несправедливо! Любые действия, нарушающие режим на территории заповедника, следовало бы рассматривать как хищение собственности социалистического предприятия по части 5-й статьи 90-й Уголовного кодекса. Ведь не наказывают же вора, который украл автомашину или станок на заводе, просто штрафом. Но станок можно сделать или купить другой, а редкие виды растений или животных восстановить нельзя. Заповедник — научно-исследовательское учреждение, и для него лось, гриб боровик, редкая бабочка являются специфическим оборудованием, без которого заповедник не может нормально работать.

Егеря и работники лесной охраны заповедников лишены права непосредственно налагать штрафы на нарушителей, браконьеров. В то же время таким правом обладают работники охот- и рыбинспекции, лесной охраны. А дела заповеднические даже не упомянуты в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1961 года «О дальнейшем ограничении штрафов, налагаемых в административном порядке». Порядок же взыскания штрафов через суды по месту жительства браконьеров чаще всего оказывается неэффективным. Пока бумаги доходят до народного суда, проходит срок исковой давности. И браконьер не испытывает даже легкого испуга. Кроме того, народные суды под трехмесячный срок исковой давности часто подводят не только штрафы, но и взыскания сумм за уничтожение государственного имущества заповедников: растений и животных, хотя этот срок — не три месяца, а год.

Вот и грабят двуногие хищники заповедную природу практически безнаказанно.

В одном из дореволюционных трудов говорилось, что Россия искупила свой грех уничтожения стеллеровой коровы на Командорских островах, сохранив зубра. Но нам не следует обольщаться этим. Знаменитая Беловежская пуща уже не может гарантировать сохранение уникального животного. В последнее время появляются сообщения о том, что Беловежская пуща становится только убежищем для зубров, большую же часть кормов они вынуждены добывать за ее пределами.

Исчезли дикие пчелы, медом которых славилась Древняя Русь. Нет таковых в заповедниках, за исключением разве Башкирского, который сумел сохранить их небольшое количество.

Нельзя обойти молчанием и тот факт, что в штатах заповедников как научно-исследовательских учреждений часто не бывает ни одного научного сотрудника. В среднем по СССР их имеется только девять процентов от общего количества всех рабочих и служащих. Может быть, работников лесной охраны и егерей в заповедниках много? Я бы не сказал — в среднем около сорока процентов. В сумме научные сотрудники и работники охраны составляют меньше половины всего штата. И этот показатель устойчив из года в год. В заповедниках некоторых республик их еще меньше — тридцати процентов не наберется. А вот тех, которые не относятся ни к научным сотрудникам, ни к егерям, ни к работникам лесной охраны,— где-то пятьдесят один — пятьдесят два процента.

Экономика заповедных территорий — тайна за семью замками. Только недавно в одной статье, подписанной группой авторов, проскочила информация: в заповедниках РСФСР на научные исследования тратится только три с половиной процента годового бюджета, то есть меньше, чем расходуется на канцелярские расходы. Для сравнения могу привести такие данные: в 1940 году на научные исследования в заповедниках страны расходовалось двадцать три процента бюджетных средств.

Научный работник не задерживается на своей работе. Защитил диссертацию — и прощай заповедник. Есть, правда, энтузиасты, но их мало. Именно они дают наиболее ценную научную продукцию. Кстати, жизнь их весьма и весьма трудна.

Кадры работников охраны набираются часто из случайных людей. А как нужны здесь подвижники, которые бы всей душой, всем сердцем своим болели за сохранение заповедного. Как хотелось бы иметь такую охрану, к которой были бы применимы слова А. Россмеслера, написанные в 1866 году: «Обязанность лесной стражи тяжелая; добросовестное исполнение ее требует не только огромных физических усилий, чтобы выдержать большие переходы, в глухую ночь, в мороз и в дождь, но обусловливает в исполнителе и твердый характер и честное понимание своих обязанностей, чтобы не отступиться ни перед какой опасностью и презирать оскорбления».

У нас нет ни одного учебного заведения, которое бы готовило кадры для работы в заповедниках. В них идут вчерашние «добытчики» — охотоведы, промысловики, лесопромышленники, которых учили, как добывать (и которые больше привыкли добывать), а не как оберегать. Большая доля невзгод заповедников идет именно от таких кадров. Они не могут и не хотят постоять за себя и за порученное дело.

Сейчас работает комиссия по спасению Аральского моря. Но кто и как спасет от разграбления четырнадцать миллионов гектаров заповедников?..

Нельзя сказать, что ЦК нашей партии и правительство не обращают внимания на заповедники. В последние годы их число значительно увеличилось. Растут бюджетные ассигнования на их содержание. Единственное, чего нет, — это гарантий, что любой заповедник сумеет сохранить на своей территории все заповедные богатства.

В решениях XXVI съезда КПСС, впервые на таком высоком уровне, было записано: «Продолжить формирование научно обоснованной сети заповедных территорий и национальных парков и проводить на их базе изучение природных экосистем и объектов с целью выработки рекомендаций по рациональному использованию природных ресурсов. Осуществлять меры по сбалансированному увеличению численности диких животных и по воспроизводству в естественных водоемах и водохранилищах ценных видов рыб». Но к этому решению хорошо бы добавить еще четыре слова. А именно — после слов «национальных парков» вставить: «ГАРАНТИРУЮЩИХ СОХРАНЕНИЕ ЗАПОВЕДНЫХ ОБЪЕКТОВ». И далее по тексту.

К сожалению, в решениях XXVII съезда партии о заповедниках было сказано гораздо короче: «Продолжить создание и улучшить благоустройство зеленых зон городов и поселков, расширить сеть заповедников, национальных парков, заказников и других охраняемых территорий». Словно делегаты съезда были дезориентированы кем-то, кто не хочет перестройки заповедного хозяйства, кому надо, чтобы заповедники так и остались доступными любому хозяйственнику, который за их счет будет выполнять проваленный план. Перестройка работы в этой сфере нужна сейчас, немедленно. Иначе может оказаться, что на существующих охраняемых территориях станет нечего сохранять.

«Наш современник»—клубам трезвости

НЕЛЬЗЯ ТРУБИТЬ ОТБОЙ!

Предлагаемая подборка читательских писем убеждает, что наш народ в подавляющем своем большинстве не намерен отступать перед натиском алкоголя. Заслуживает внимания и поддержки практика прибалтийских республик, где, несмотря на разрешение «сверху» расширить торговлю спиртным, «на местах» сознательно не пошли на значительное увеличение торговли алкоголем. Кстати, и решение ЦК КПСС «О ходе выполнения постановления ЦК КПСС по вопросам усиления борьбы с пьянством и алкоголизмом», опубликованное в газете «Правда» от 26 октября прошлого года, отнюдь не дает отбой этой борьбе. В нем подчеркнута «недопустимость какого бы то ни было отступления от взятого курса на преодоление пьянства и алкоголизма. Решительное усиление борьбы за трезвость было и остается делом исключительной важности для всех партийных, государственных, общественных организаций, трудовых коллективов...»

Я, председатель первичной организации ВДОБТ Черняховской психиатрической больницы со строгим наблюдением, являюсь давним и постоянным читателем журнала «Наш современник». Обращаюсь в ваш журнал, так как считаю его самым передовым в нашей стране, стоящим твердо на истинных ленинских позициях. Кроме того, журнал «Наш современник», на мой взгляд, и самый передовой в антиалкогольной борьбе, в борьбе за трезвость. И не случайно лозунг «Трезвость — норма жизни», впервые прозвучавший со страниц вашего журнала, стал важнейшим лозунгом нашего времени. Рубрика «Наш современник» — клубам трезвости» очень помогает в работе нашей первичной организации.

На примерах подавляющего большинства пациентов нашей больницы, а все они совершили особо опасные правонарушения, мы видим страшные последствия алкогольной наркомании. Многие из них совершали особо опасные правонарушения неоднократно и многие будут совершать их вновь и вновь, так как у 90 процентов из них психическое заболевание возникло на почве алкоголизма или осложнено алкоголизмом. На протяжении многих лет мы, врачи, видим, что из года в год количество особо опасных преступлений растет и растет, и все из-за свободного доступа к алкогольному наркотику.

У меня и моих коллег нет никаких сомнений в том, что алкоголь есть такой же наркотик, как гашиш, героин, марихуана. Значит, запретительные меры к нему должны применяться в государственном масштабе как к наркотику.

Во многих городах нашей Калининградской области, в том числе и в нашем Черняховске, за последний год увеличилось количество продаваемого спиртного и количество винно-водочных магазинов. Говорят, что якобы уменьшение продажи водки создает затруднения в обеспечении трудящихся зарплатой. Неужели действительно наш город, как и многие другие города страны, живет за счет продажи водки, **то есть за счет спаивания людей? Неужели спаивание нашего советского народа есть экономическая необходимость?** Если это так, то уверен: большинство наших **советских людей согласны любые налоги платить, лишь бы их прекратили спаивать,** прекратили производство и продажу спиртного.

В нашем городе недавно построили «БАМ» — Большой алкогольный магазин. Так народ метко окрестил это место ежедневных сборищ людей за дурманом. И такой «БАМ» в нашем маленьком городке не единственный. В книжных же магазинах все по-прежнему, выбор книг чрезвычайно бедет. Большие книжные магазины в нашем городе не строятся. Литературы о вреде алкогольного наркотика в них практически нет, а та литература, что изредка бывает в продаже, — неубедительна и неэмоциональна. Ее никто не читает.

Сегодня во многих областях страны введены талоны на сахар, а талоны на спиртные напитки ликвидированы. Талоны на сахар — хорошо, а талоны на алкоголь — плохо? Не абсурд ли? Кто обманывает нас? Кого обманываем мы? Зачем мы обманываем самих себя?

Боюсь, что все возвращается на круги своя... Очень тревожно на душе.

ПЧЕЛОВОДОВ А. Н.,
врач-психиатр,
г. Черняховск, Калининградская обл.

Государственная продажа алкоголя — это вырождение и гибель народа. Причем смерть намного страшнее, чем от атомной бомбы, поскольку она медленная, а значит, мучительная. И ЛТП — не выход из положения, пока в наших магазинах официально, узаконенно продается водка. В таком случае государство поступает несправедливо по отношению к своим гражданам, сажая их в ЛТП. Эта практика перестанет быть порочной, когда государство само перестанет изготовлять и продавать своему народу алкогольную отраву.

Если мы проиграем «антиалкогольную кампанию», то мы проиграем не просто «кампанию», а право на жизнь.

Когда я прочел постановление ЦК КПСС от 26 октября 1988 года «О ходе выполнения постановлений ЦК КПСС по вопросам усиления борьбы с пьянством и алкоголизмом», мне стало страшно. Я понял, что забит еще один гвоздь в крышку гроба, в котором мы хороним свою мечту о светлой жизни, о счастливых семьях, здоровых детях. Счастье может быть только трезвым! Среднего в борьбе с «зеленым змием» не дано: если пить — значит не жить, если жить, то надо не пить. Я считаю своим долгом выйти с предложением об открытии специального счета в Государственном банке, на который будут перечислять деньги те, кто хочет введения «сухого» закона в стране. Сам же обязуюсь перечислять в этот фонд не менее 10 процентов месячной зарплаты. Верю, что мое предложение поддержат миллионы моих сограждан.

С. АХМЕТЗЯНОВ,
Тюменская обл., Нижне-Тавдинский район, с. Велижаны.

Правильную в принципе идею борьбы с алкоголизмом задушили у нас не восторженные объятия, а подлость тех, **кто наживается на людской беде, дремучее бескультурье тех, кто сутками стоят в очередях за вином. А главное — равнодушие тех, кто ради стакана вина готов продать великое для нашей перестраивающейся страны дело — борьбу за трезвый образ жизни, то есть за человека.**

Они не алкоголики и не нарушают общественный порядок. Они не самогонщики и тем более не шинкари. Они, равнодушные к судьбе народа и Отечества, находят тысячи аргументов, доказывая непозволительность повышения цен на спиртное, сокращения его производства и количества магазинов по его продаже. И все это с эгоистической целью, лишь ради того, чтобы самому иметь возможность регулярно пропустить стаканчик. Им наплевать, что алкоголь станет доступнее несовершеннолетним, людям безвольным, которые еще могут не пить, пока вина нет в продаже, но не могут не пить, когда оно есть, наплевать на те беды, которые несет пьянство и семье, и народному хозяйству.

Алкоголизация населения страны настолько обширна и развивается столь стремительно, что, если не принять экстренных и действенных мер, может наряду с другими факторами торможения сорвать перестройку. Сейчас не паниковать надо, не бить отбой, а всемерно развивать трезвенническое движение в стране. У меня есть на этот **счет конкретные предложения. Считаю, что нам прежде всего надо спасать от алкогольной чумы подрастающее поколение. Поэтому в наших школах, ПТУ, техникумах,** вузах процессы обучения и воспитания должны быть поставлены так, чтобы их выпускники **выходили в самостоятельную жизнь убежденными трезвенниками.** Коммунисты, комсомольцы, советские профсоюзы и другие общественные организации страны обязаны возглавить всенародное движение против алкоголя, за здоровый быт! Выпивающих, считаю, вообще не следует принимать в КПСС, в комсомол! Наши школы, поликлиники, учреждения культуры — все те учреждения, которые так или иначе связаны с воспитательной, идеологической работой, должны избавляться от пьющих и проповедующих культурное питие как от профессионально непригодных. Хватит демагогов! Если ты учишь других не пить, то сам обязан не пить, должен показывать личный пример. В этой работе нельзя допускать половинчатости, ничего хорошего из этого не выйдет! **Хватит дискредитировать социализм! Страна с самым передовым социальным строем потонула в пьянстве. Это ли не позор?!**

Гласность, по моему мнению, должна быть использована для того, чтобы **заклеймить тех, кто постоянно толчется в очередях за вином, для выявления негодяев, наживающихся на самогоноварении и спекуляции спиртным. Словом, демократию надо широко использовать для того, чтобы демократическим путем привести нашу страну к поголовной трезвости.**

И. ДЕМЧЕНКО,
экскурсовод Ялтинского бюро путешествий и экскурсий.

Мы, жители поселка Юркино Борисоглебского района Ярославской области, в 1986 году на общем, добровольном, без указаний «сверху» сходе приняли решение о введении в поселке и ближайшей округе «зоны трезвости». Это означало прекращение торговли спиртным в наших продовольственных магазинах, повсеместное создание обществ трезвости, повышение культурного досуга населения и усиление антиалкогольной пропаганды. Следуя нашему примеру, жители соседних сел и деревень также отказались от ввоза к ним вина и водки.

Результаты изгнания спиртного с витрин магазинов и развернутой антиалкогольной работы оказались немалыми. На Юркинском лесоучастке, крупнейшем в Ярославской области, количество прогулов в 1987 году по сравнению с 1984—1985 годами сократилось в 5 раз (!), выплаты по больничным листам из-за болезней и травм уменьшились на тысячи рублей. Впервые за последние годы коллектив участка полностью выполнил все производственные показатели. В поселке значительно улучшилась нравственно-психологическая атмосфера: дети наконец-то увидели своих отцов трезвыми, ощутили на себе их заботу и ласку, многие жители поселка занялись личным хозяйством.

Мы считаем, что «зоны трезвости», создаваемые добровольной народной инициативой, становятся настоящими «островами трезвости» среди алкогольного моря и приносят государству лишь прибыль, а не убыток. А вот бумажные «безалкогольные зоны», навязанные народу помимо его воли, «сверху», для отчета, так и остаются на бумаге и лишь провоцируют возмущение народа и пьянство. **Поэтому мы считаем неверным решение вновь начать реализацию части алкогольной продукции во всех продовольственных магазинах, не считаясь с общественным мнением. Это противоречит принципам перестройки и антиалкогольному постановлению 1985 года.**

Продавать ли в магазинах того или иного населенного пункта водку и вино — решать это должны в каждом конкретном случае его жители, сам народ. И если он уже решил объявить у себя «зону трезвости», то не надо «сверху» отменять это решение, колебать у него веру в начавшиеся в нашей жизни положительные перемены! Мы считаем, что дело борьбы за здоровый, полностью трезвый образ жизни в нашей стране необходимо не свертывать, а продолжать. Алкогольными рублями экономического здоровья страны не поправишь!

ЦК КПСС и Совет Министров должны быть тверды в выполнении принимаемых решений, так как их шаги назад или в сторону лишь спровоцируют всплеск пьянства, негативные явления, усложнят реализацию многих намеченных начинаний и программ по улучшению жизни советских людей, погасят энтузиазм у наиболее сознательной и активной части советского общества.

Члены клуба трезвости,
жители пос. Юркино Борисоглебского района:
Белоусов, Тихонов, Скворцова, Крунецкая,
Пахмутов и др. (всего 23 подписи).

Я, принявший «сухой» закон лично для себя, считаю, что, с болью и горечью скорбя о миллионах погибших и погибающих ныне в цепких и безжалостных когтях «зеленого змия» наших соотечественниках, мы должны сделать все возможное и невозможное для того, чтобы спасти наши грядущие поколения от пьяного вырождения и в конечном счете от гибели. Прежде всего мы должны беречь от алкогольной отравы нашу молодежь. Молодой человек обязательно потянется к рюмке, если его, входящего в самостоятельную жизнь, окружает алкоголь и связанные с ним бездуховность, бездушие.

Все продается, все покупается? Нет! Есть нечто, что невозможно купить за все золото мира! Это — Отечество, страдающее, борющееся, ищущее и в конце концов побеждающее. Это — Вера в грядущее торжество сил добра, света, справедливости! Это — Вера в свой Народ! С такими прекрасными идеями, с такой верой нам не нужен алкогольный дурман!

Б. СКАТОВ,
рабочий,
Ленинград.

Испугавшись огромных очередей за вином, спасовав перед обнаруженной благодаря гласности наркоманией, тушуясь перед свирепой наглостью самогонщиков, мы в своем наступлении на алкоголь отступили на шаг и остановились в недоумении и растерянности. Было отчего: с полок магазинов моментально исчезли одеколон, спиртсодержащие жидкости, предметы бытовой химии. В ход пошли ацетон, дихлофос!

Разве можно после этого утверждать, что пьянство — всего лишь дурная привычка? Нет! Это наша страшная, широко распространенная хроническая болезнь. И лечить ее нам всем надо целенаправленно, эффективно и до конца. КПСС должна делом подтвердить постоянство своего курса в борьбе с алкогольной наркоманией.

В последнее время мне все чаще приходится задаваться вопросом: неужели эта самая пресловутая бутылка с водкой в силу общественного недомыслия будет травить и моих детей? Их у меня двое. Двое сыновей-подростков. Порою, вглядываясь в их доверчивые лица, я ужасаюсь от мысли, что бессилен защитить их от алкогольной чумы, свирепствующей в моей стране. Поэтому я решил перечислять от своего ставосьмидесятирублевого оклада в фонд ВДОБТ с июня 1988 года по июль 1989 года ежемесячно по пятьдесят рублей.

С. ГРАШКИН,
начальник спортивно-технического клуба,
г. Бор, Горьковская обл.

Мне часто приходится бывать на молодежных вечерах отдыха. Нетрудно заметить, что после того, как были сняты ограничения с продажи пива, вина, — все больше молодых людей и девушек (!) стали появляться в нетрезвом состоянии. Среди них есть и школьники, и что самое страшное — девочки-школьницы (!).

Раньше, при ограничении (по времени и объему) продажи спиртного, такие случаи если и были, считались из ряда вон выходящими.

ЗОРИН В. В.,
пос. Борисоглебский, Ярославская обл.

Прошло три года после указа, но мало что сдвинулось за это время у нас в Алтайском крае. Сразу взялись горячо, в некоторых районах водку стали по талонам продавать, в других для продажи спиртного определили один день в неделю. Но что из этого вышло? У нас, в Ново-Кормихе, решили продавать спиртное только по субботам, с двух часов дня. Так наши выпивохи в будние дни едут за бутылкой в другие районы, ведь у каждого — техника! Везут сколько хотят! Вот вам и борьба за трезвость, вот вам и наступление на алкоголь!

Наш винно-водочный магазин расположен рядом со школой, с детсадом, подрастающее поколение видит наглядно, что такое водка, уясняет, что это очень важный и чрезвычайно необходимый для жизни человеческий продукт, ведь за ним тут такие очереди выстраиваются, каких и в голодный год за хлебом не было.

Пиво в наш магазин изо дня в день возят, а вот мороженого наши дети в глаза не видят, да и конфетами их не очень балуют. До сих пор возят, продают «бормотуху», травят людей! Где же конкретное исполнение антиалкогольного постановления! Или пишем одно, а делаем другое?! Пора государству решить этот вопрос на деле, а не разговорами. Пока не будут установлены единые требования к продаже алкоголя по всей стране, толку от всяких постановлений будет мало.

Водка большое горе приносит. Что может быть страшнее, когда на глазах матери гибнет, тонет в вине ее дите, ее сыночек, и она не в силах его спасти! Если бы он тонул в воде, горел в огне, она бы бросилась и в огонь, и в воду, жизнь свою отдала бы не задумываясь, лишь бы спасти от смерти своего ребенка, свою кровиночку. А тут мать бессильна, какой же это ужас! Неужели люди для того делали революции, гибли в Великую Отечественную, чтобы сегодня, когда над страной мирное небо, в каждом доме достаток, молодые люди в расцвете сил отдавали свои жизни, здоровье, ум водке, превращались в скот? Когда же это кончится? Сколько лет пьем беспробудно, и если еще столько же будем решать: пить или запретить, то что же с нами будет? Что нас ожидает?

Понастроили наркологических больниц, а толку? Алкаши после лечения в них еще сильнее пьют! А ведь жизнь уже доказала: там, где запретили продажу водки, там — порядок! Ведь если бы у нас в стране вдруг обнаружили эпидемию какой-нибудь смертельной заразной болезни, то тут бы все и всех на ноги подняли, применили бы все меры, чтобы спасти людей! А вот столько лет ходит по нашей стране эпидемия алкоголизма, а мы все еще раздумываем: запретить водку или не запрещать? Да что там думать, надо спасать наш народ от алкогольной чумы незамедлительно! Ведь в школах наших скоро дебилов будет больше, чем нормальных детей! Неужели никого это не пугает?..

Письмо мое, может, злое, жесткое, но уже нет сил видеть, как все рушится от водки, и мало делают те, кто непосредственно имеет на это право и силу.

ЛЕВЧЕНКО З. Т.,
Алтайский край, Волчихинский район, с. Ново-Кормиха.

В борьбе с пьянством наступил переломный момент. Те, кто держит в своих руках нити борьбы с алкоголем, готовы повернуть назад. Оправдания готовящегося отступления известны: дескать, государство из-за самогонщиков и спекулянтов несет огромные убытки. Но если это так, то ужесточите борьбу с самогонщиками, возвращайте государству деньги, которые они наживают преступным путем!

И. АНТИПОВ,
инженер,
Ленинград.

Борьба с пьянством, которая сейчас ведется, — это попросту мышиная возня. Одной рукой предлагаем водку, другой бьем того, кто ее покупает и пьет.

С одной стороны — индустрия спаивания, с другой — аппарат для наказания и лечения жертв алкоголя, производимого в огромных масштабах государством. Нелепость! Убрать причину — водку с прилавков магазинов, исчезнет следствие — пьянство и алкоголизм, с которым мы сейчас из кожи лезем, боремся.

Сколько же еще будет продолжаться эта, с позволения сказать, борьба — мартышкин труд?

ЛУКЬЯНОВ В. В.,
слесарь
г. Набережные Челны.

Совесть не позволяет и дальше занимать выжидательную позицию в таком важном деле, как отрезвление нашего общества. Долго колебалась — писать, не писать, но после сегодняшней сессии городского Совета поняла, что не имею права больше молчать.

На прошлой 5 сессии городского Совета был вынесен на обсуждение вопрос об изменении правил и условий торговли спиртными напитками в городе Абакане. К чести сторонников трезвого образа жизни — они свою позицию аргументированно обосновывали у микрофона, противники же ограничились беспорядочными выкриками из-за спин сидящих в зале.

И очень правильно сделали, что решили вынести этот вопрос на обсуждение общественности Абакана. Я внимательно следила за публикациями в газете «Советская Хакасия» по этой теме. Считаю, что как противники, так и сторонники отрезвления страны слишком категоричны в своих доводах и суждениях. Думаю, что невозможно всего лишь за четыре года прийти к полной трезвости, тем более если за спиной десятилетия пьянства. Но ведь и нельзя отдавать завоеванные позиции, делать шаг назад! Так мы и перестройку воспримем как временное явление. Необходимо время, только длительная всенародная борьба за трезвость в состоянии изменить психологию людей, не считающих зазорным употреблять вино. Впрочем, и прошедших со дня принятия антиалкогольного постановления 1985 года лет оказалось достаточно для многих уважающих свое человеческое достоинство людей, чтобы понять, убедиться на собственном опыте, что без алкоголя жить можно, и жить лучше: трезвые мужья, мир в семье, спокойствие за своих детей, физическое и моральное здоровье общества.

Успехи, достигнутые на фронте антиалкогольной борьбы, все-таки мы, рядовые депутаты, видим отчетливее, так как находимся ближе к народу, живем в гуще его. Утверждаю с полной ответственностью: наши советские люди не желают блуждать в алкогольном тумане, многие из них рады тому, что существовавшие трудности с приобретением алкоголя создавали меньше поводов для встреч за бутылкой вина. Конечно, остались «пьяные» традиции, их не сразу искоренишь, но вряд ли будет способствовать этому то, что в нашем благодатном южном крае, имеющем сырье и спецпредприятия, не сумели противопоставить алкогольной отраве фруктовые безалкогольные напитки «Сидр», «Шипучку» и др. Насколько неаргументированны доводы, приводимые в оправдание открытию в городе новых торгующих алкоголем точек, настолько и необъясним тот факт, почему решение о расширении продажи алкоголя принято на заседании исполкома горсовета. Почему полномочия исполкома оказались выше полномочий Совета народных депутатов? Зачем тогда 320 депутатов в Совете, если с их мнением никто не считается?

Удивительно, но для того чтобы открыть овощной магазин в районе инженерной защиты, потребовалось включить этот вопрос в депутатские наказы и времени для его выполнения отвели больше года. А для того чтобы принять решение продавать в этом магазине пиво — обошлись без лишних хлопот и сделали все это без ведома общественности и депутатов.

Осветить улицу имени 40-летия Октября, построить агитплощадку в районе инженерной защиты, отремонтировать, создать детские площадки, тротуары — не получается годами. А открыть здесь пивную точку — без задержки!

Раньше наша милиция была не в состоянии обеспечить порядок возле трех магазинов, где продавалось спиртное, как же теперь сможет она навести порядок возле десяти-пятнадцати точек? Было у нас три очага напряженности, теперь их будет в пять раз больше! А вот что касается очагов культуры — клубов, домов культуры, то их по-прежнему мало. Абаканцам и так особо негде приобщиться к культуре в родном городе. А зачем? Пейте вино на здоровье, и нужда в культуре у вас вовсе отпадет, будете жить легко и без хлопот, а главное — будут постоянно поступать деньги в кассу предприятий города, чтобы рабочий мог получить их своевременно и успеть донести до ближайшей пивнушки до обеденного перерыва. Вот вам и решение проблем товарооборота и услуг, и соцкультбыта, и жилья, и всего остального.

Делаем благое дело — разгружаем «пьяные очереди» в винных магазинах. Кому идем навстречу? Кто-нибудь интересовался контингентом лиц, простаивающих в этих очередях в рабочее время? Неужели наша милиция не в состоянии навести там порядок — устанавливать фамилии прогульщиков, сообщать на работу и спрашивать не только с провинившихся, но и с руководителей предприятий, на которых работают эти лодыри. И наказывать. Строго наказывать прогульщиков, чтобы неповадно было

им впредь — благо меры такие предусмотрены в противоалкогольном постановлении ЦК КПСС от 17 мая 1985 года.

И коль комом в горле стали пьяные очереди в магазинах, позволительно спросить: видели ли «отцы» нашего города громадные очереди в шести наших продуктовых магазинах, которые торгуют изделиями из мяса по государственным ценам? Сегодня, в день сессии, как и вчера, и позавчера, и, по всей видимости, будет завтра, магазин на проспекте Ленина был забит спрессованной толпой покупателей. Думает ли кто ликвидировать эти очереди? Интересовались ли, кто в них стоит? Женщины, которым надо кормить семью, у которых дома дел невпроворот, а они часами бьются в очередях за продуктами. За эти очереди у «отцов» города голова не болит, зато они создали все условия для мужей и сыновей этих задыхающихся в очередях женщин, чтобы те спокойно и легко, без давки и толчеи могли получить свои «законные» пять бутылок — две водки и три вина.

Я, как депутат и просто как женщина, житель города Абакана, чувствую себя униженной таким положением и думаю, что обиду ощущаю не я одна. Я полностью на стороне активистов общества трезвости, считаю, что если откроют пивную точку в нашем районе, то лично буду считать себя виноватой перед людьми, перед избирателями за то, что допустила их спаивание. Но что я лично могу сделать для этого? Кто особенно считается у нас с мнением депутатов? Не позволили высказаться на сессии председателю городского ВДОБТ товарищу Жуганову. От обсуждений этого злободневного вопроса нас отвели мягко, спокойно, умело, но кто дал нам право жить одним днем, кто нам дал право на покой? Пьянство — один из пороков, изобретенных самим человеком, оно страшно как атомная бомба, и с ним надо бороться, а не идти у него на поводу. Лично я — категорически против всякого даже незначительного отступления назад в деле борьбы за трезвость, так как считаю, что один компромисс неизменно должен повлечь за собой другой — постепенное увеличение количества продажи спиртного. Не располагаю данными по этому вопросу, но вижу, что пьяных на улицах нашего города стало сегодня гораздо больше и чувствуют они себя там весьма вольготно.

***НОВАК Л. П.**, депутат Абаканского горсовета,*
изб. округ № 162.

Сегодня, прочитав в «Комсомольской правде» репортаж «С войны домой» (№ 31 от 7.02.89), мы решили написать вам, так как твердо уверены в том, что наши средства массовой информации планомерно, исподволь усиливают алкогольную пропаганду. Даже бегло просмотрев содержание журналов и газет, убеждаешься, что антиалкогольное постановление ЦК КПСС от 17 мая 1985 года ими полностью игнорируется.

Примеры: 1. Журнал «Здоровье» (1988, № 12) рекомендует подавать к новогоднему столу охлажденное шампанское.

2. «Литературная газета», статья Е. Евтушенко «Притерпелость» — панегирик вину.

3. Журнал «Огонек» — интервью с товарищем Мироненко и министром здравоохранения Чазовым — оба они не прочь иногда принять (как все нормальные люди) по стопочке.

4. Газета для молодежи «Комсомольская правда» в № 13 за 15 января 1989 года в статье «Брют против чинзано» дает фору товарищам Мироненко и Чазову в рекламировании шампанского.

Для известного певца И. Кобзона (если верить той же «Комсомольской правде» от 7 февраля 1989 г.) быть как дома — это значит выпить с солдатом-«афганцем» по фужеру шампанского.

Можно привести еще много примеров, особенно из программ нашего телевидения, но, наверное, и так понятно, что все возвращается на круги своя. Мы не верим в случайность таких публикаций и тем более в их якобы неосознанный характер и поэтому еще в июле прошлого года написали в газету «Правда» открытое письмо известному поэту Е. Евтушенко на его статью в «ЛГ» «Притерпелость», но, оказывается, что наша главная партийная газета такими пустяками, как борьба за народную трезвость, не занимается. Это только журнал из ФРГ «Гутен таг» в № 11 за 1988 год называет алкоголь наркотиком номер один, а наша, советская пресса, судя по всему, это утверждение напрочь отрицает.

Мы хорошо понимаем, кому выгодно спаивать наш народ и о какой перестройке хлопочут упомянутые нами здесь газеты и журналы. Неужели они всерьез считают, что молодые люди, приняв по стопочке или по фужерчику наркотика, быстренько начнут перестраиваться? Мы хорошо понимаем, в чем нас обвинят, если вы опубликуете наше письмо, и все-таки нам бы очень хотелось задать вопрос «Комсомольской правде» — она (редакция газеты) в самом деле не понимает, что делает, или это все так задумано?

Сразу бы хотели пояснить, почему направляем письмо в «Наш современник»: посылаем вам ответ из газеты «Правда» — типичная отписка. Вашему же журналу мы верим и надеемся на более обстоятельный ответ.

С уважением.
Жители хутора Бойко-Понура Краснодарского края.

Пишет вам инженер из Уфы А. С. Обухов. Прочел в номере первом вашего журнала за текущий год призыв академика Ф. Углова бороться всем миром за трезвость.

Недавно в газете «Вечерняя Уфа» было опубликовано сообщение о том, что наш первый секретарь обкома КПСС, выступая на партийно-хозяйственном активе, взял на себя обязательство абсолютной трезвости.

Я считаю, что это очень важное заявление и событие. Было бы неплохо для движения трезвости, если бы такие же заявления сделали все наши партийные руководители. Действительно, в битве за народную трезвость отступать нам дальше некуда! Должен прозвучать лозунг-призыв, приказ: «Коммунисты, вперед!» Редакционная коллегия журнала «Наш современник» могла бы в этом деле выступить инициатором, объявив о своей абсолютной трезвости.

А то у нас в последнее время уж очень распространенным стало предложение: «Делай как я говорю!» А хотелось бы вместо него услышать: «Делай как делаю я!» Принятие моего предложения полностью оправдает редакцию «Нашего современника» за то, что она поместила призыв академика — столь злободневный материал на последней странице журнала.

Что же касается меня лично, то сообщаю следующее: в июне 1985 года я решил стать абсолютным трезвенником, но иногда у меня это не получалось. После того как в «Роман-газете» прочел работу Ф. Углова о состоянии дел с алкоголизмом в стране, я понял, что дальше отступать некуда! Нужны личные примеры. Вот уже третий год я не употребляю совершенно алкоголя. Но это не все. Мои дети, жена, зять считают, что употребление алкоголя в любых дозах несовместимо с нормальной творческой работой. Таким образом, в нашей семье шесть человек стали убежденными трезвенниками и остаются ими вот уже на протяжении почти трех лет.

Сейчас все больше и больше молодежи (и это особенно радует) становится трезвенниками. Но, к сожалению, пропаганда взглядов известных в стране ученых, писателей, композиторов, проповедующих «культурное», «умеренное» употребление алкоголя, оказывается чаще всего сильней нашей, убежденных трезвенников, контрпропаганды, не являющейся активной, так как основывается на лозунге: «Делай как я говорю!», а не на призыве: «Делай как делаю я!» Не простое дело — осуществить этот принцип на деле. Вам придется не только устоять против себя в борьбе за свою личную трезвость, но и в борьбе против своих родственников, близких, самых лучших друзей и товарищей.

А. С. ОБУХОВ, г. Уфа.

В номере первом за этот год вашего журнала прочитал статью академика Ф. Углова «Нам некуда отступать!».

Я врач, пенсионер. Помню выступление Ф. Углова в печати о том, что нужны решительные меры, что алкоголь такой же наркотик, как опиум и марихуана.

В чем трудности:

1. Не дают решать вопрос компетентным людям — врачам. Решают ведомства, которым наплевать на здоровье народа, наплевать на национальное вырождение.

2. Я за последние 20 лет написал об этом не менее 40—50 писем в редакции газет, журналов; в ЦК КПСС, но там работа с письмами заключается в том, что их пересылают в ведомства (от них получаешь отписки) или в местные органы, которые проблему не решают. Но принятое 17 мая 1985 года антиалкогольное постановление ЦК КПСС все же дало ощутимые положительные результаты:

1. У народа появилась надежда на избавление от пьянства.
2. Ученые предсказывали значительное оздоровление населения через одно поколение.
3. Исчезли валяющиеся на улицах пьяницы.
4. Прекратили отмечать со спиртными праздники, дни рождения на производстве.
5. Не стало на улицах пьяных подростков из школ, ПТУ.
6. Перестали пьянствовать студенты в общежитии.
7. Меньше стали пить дома — не хотели стоять в очередях.
8. Стали чаще принимать гостей с чаем, кофе.
9. Уменьшилась преступность.
10. Уменьшилась смертность, увеличилась рождаемость.

Безусловно, лица, привыкшие к спиртному, продолжали пить. Нужно было развить успех, но здесь остановка. В печати началось наступление на постановление, в том числе со стороны ведущих экономистов (но не ведущих медиков!).

Обоснования противников ограничения продажи спиртных напитков в нашей стране не выдерживают никакой критики. Миф, что пьют самогонку и суррогаты, так как трудно достать спиртное. До войны, насколько я помню, ограничений на продажу спиртного не было, но даже в Москве пьяницы пили денатурат, которым разжигали примус, — их прельщала его дешевизна.

Я 15—20 лет назад часто бывал на охоте, и в каждой хате на столе в трехлитровой стеклянной банке — самогонка, на торжествах, праздниках в основном пили самогон. В 1989 году, когда уже сняли часть ограничений на продажу спиртного, в Киеве все равно имеются смертные случаи от употребления суррогатов.

Я разговаривал с многими пьющими — они по-прежнему пьют дешевое вино, одеколон, суррогаты — нет денег. Второй миф о том, что постановление ЦК КПСС от 17 мая 1985 года вызвало вспышку наркомании в стране.

В Киеве в нашей больнице 15—20 лет назад наркоманы украли сейф с наркотиками. Был суд. Уже тогда в городе существовали притоны наркоманов. Наркотики в ампулах привозили в чемоданах с заводов Кавказа. Третий миф о том, что сахар с прилавков магазинов исчез в связи с ограничением продажи спиртного. Тогда, вероятно, на самогон пошло и мясо, и масло, мыло, зубная паста и т. д.? Это — абсурд. Четвертый миф наших экономистов о том, что мы теряем такие необходимые для тощего госбюджета алкогольные рубли. Примерно та же мотивировка, что у И. В. Сталина, который вопреки воле В. И. Ленина стал «зарабатывать» деньги для государственной казны на спиртных напитках. Но каждый спиртной рубль, как известно, даст 3—4 рубля убытков. Пятый, весьма распространенный миф, что не застойные явления в социальной жизни страны, ее экономике привели к негативным явлениям — в том числе наркомании, токсикомании, а ограничение в продаже спиртного. И вот началось отступление. Постановление ЦК КПСС от 26 октября прошлого года — это первый мощный, долговременный удар по перестройке!

Побеждают интересы ведомств. Мы, к сожалению, и здесь не смогли использовать преимущества нашего строя.

Постепенно появляется все больше и больше пьяных на улицах, в том числе юноши и девушки, увеличилась преступность, безусловно увеличатся заболеваемость и смертность. Странная аргументация: мол, стыдно, что у нас повсеместно образовываются огромные очереди за спиртным!

А огромные очереди за колбасой маслом, мылом, стиральным порошком — это не стыдно?

Стыдно, что очереди за спиртным.

А то, что из-за пьянства ухудшается здоровье нашего населения, увеличивается смертность (51-е место в мире по продолжительности жизни мужчин). Катастрофически растет и пьяная преступность. Это не стыдно? Наши видные экономисты — за свободный доступ к наркотику-алкоголю: мол, больше будет денег у страны, не уйдут «на сторону».

Тогда давайте продавать и другие наркотики: опиум, коноплю! Их ведь перекупщики тоже продают подпольно, и деньги идут не государству.

Нужна статистика:

1. Производство и продажа спирта, водки, коньяка, вина, пива, начиная с 1923 г. (когда страной руководил В. И. Ленин).
2. Данные о заболеваемости и смертности (с 1954 г., чтобы исключить смертность от репрессий, голода).
3. Данные о преступности с 1954 года.

Нужно решать проблему с открытыми глазами. Что делать?

1. В жизни трагедий от пьянства хватает; на телевидении, в кино о них молчат. Нужно усилить пропаганду трезвого образа жизни.
2. Перейти повсеместно на экономические методы управления. Если человек несвободен, им помыкают, не дают работать и заработать — он склонен к пьянству.
3. Врачи должны аргументированно, имея статистические данные, решать вопросы ограничения доступа ко всем наркотикам, в том числе и алкоголю. Их предложения с помощью средств информации должны быть доведены до всего населения.

Окончательное решение должно быть принято гласно, демократично на референдуме, где каждый гражданин мог бы отдать свой голос за:

1. Свободную продажу всех алкогольных напитков.
2. Ограниченную продажу (несколько вариантов).
3. Запрет продажи спиртного — «сухой закон».

Референдум по республикам и областям. Уверен, что будут области и республики и за «сухой закон». Вот в этом направлении, считаю, и нужно сегодня действовать Союзу борьбы за народную трезвость.

В. С. КОМОВ, врач,
г. Киев.

Валентин СОРОКИН

СВОИ ЧУЖИЕ

ГОДЫ репрессий, годы запрета, годы застоя, не годы — десятилетия сделали свое дело: в столах писателей скопилось огромное количество произведений, не увидевших вовремя света, честных, нужных, принесших бы, если бы их напечатали сразу, по завершении работы над ними, большую пользу культуре, обществу, государству, особенно — нашим идеологам, политикам, бюрократии, совершенно отвыкшей от критики, дискуссий, нормальных противоречий, призванных выяснять истину, а не гробить нерасхожее мнения.

Запрет на Розанова, Бунина, Флоренского, Зарубина, Гумилева, Клюева, Пильняка, Ходасевича, Хлебникова, Волошина, Кузмина, Есенина, Булгакова, Зощенко, Ахматову, отречение СП от Пастернака и Солженицына, убийство Павла Васильева, Бориса Корнилова, Алексея Ганина. А Марина Цветаева? Вернувшуюся на Родину, привезшую домой детей довести до самоубийства! А Платонов?

Почему мы сейчас не показываем черную роль, злейшую роль в нашей литературе Льва Авербаха? Он первый начал топтать Платонова, первый призвал к травле, определив писателя как «классового врага». Рассказ Платонова «Усомнившийся Макар» не нашел защиты и у Фадеева, Серафимовича. Увы, к ним, усердно осуждая рассказ, примкнул и Шолохов. Правда, позже Шолохов «депутатски» возвращался к имени Платонова, но Платонова уже похоронили. Может, Шолохова мучил червь сомнения?

Зависть, злоба, клевета, доносы часто в те годы сопровождали талантливого человека от первой его книги и до могилы. Почему так легко соглашались писатели отдать «во враги», отдать на расстрел безвинного собрата?

Наши потомки никогда не забудут и не простят смерти Николая Гумилева, никогда. После «Реквиема» мы видели в Анне Ахматовой, оскорбленной, истерзанной травлей, горем, трагедиями, черты России. Сына ее более двух десятков лет морили по казематам, вырастили, можно сказать, в тюрьмах. А за что? За отца, романтического поэта Николая Гумилева? За мать, Анну Ахматову?

Кто творил беззакония? Разве один Лев Авербах? Разве сам Сталин занимался отправкой на каторгу писателей? Где та мафия? Где ее щупальца ныне? В каждой тюрьме скрипели широкорогие ворота. В них стояли мелкие широкоротые палачи. Но от них, мелких палачей, убегали ступени вверх — до самой Спасской башни. И на каждой ступени дежурил «справедливый» палач.

Ягода Генрих Григорьевич (Гершель) — нарком внутренних дел. Агранов Яков Самуилович — первый заместитель Ягоды. Начальники отделов НКВД: Гай, Миронов, Слуцкий, Шанин, Добродицкий, Иоффе, Берензон. Начальники Главного управления лагерей (ГУЛАГ): Берман, Нахимсон, Френкель. Их заместители: Фирин, Раппопорт, Абрамсон. Начальники крупнейших концлагерей: Коган (Беломорстрой и ДМИТЛАГ: канал Волга — Москва), Биксон (СИБЛАГ), Серпуховский (Соловки), Филькельштайн (лагеря Северного края), Погребинский (лагеря Свердловской обл.), Мороз Яков Моисеевич, свояк Ягоды (Печорский лагерь) — дочь Сталина Светлана была замужем за сыном Мороза. На местах начальники управлений: Абрампольский, Балицкий Блат, Гоглидзе, Гоголь, Дерибас, Заковский Залин, Зеликман, Карлсон, Кацнельсон, Круковский, Лечлевский, Пилляр, Райский, Реденс, Суворов, Троцкий, Файвилович, Фридберг, Шкляр[1].

Некоторые палачи разделили участь собственных жертв: Ягода, Коган, нарком земледелия Яковлев (противоестественное сочетание — земля в руках палача!), а их кое-кто пыжится «присовокупить» к «жертвам сталинизма»! Мы не знаем еще имен писателей, отказавшихся уличать, доносить, сюсюкать. Мы не знаем имена чекистов, отказавшихся стращать, пытать, убивать. Но мы точно знаем: были такие писатели, были такие чекисты! И в те черные годы, и в годы менее черные...

[1] Список имен приведен в газете «Колымский комсомолец» за 7 января 1989 г.

Надо называть их имена, это — опора наша. Защита всего того, что осталось прочного, настоящего, необходимого нам и нашим детям!

Отъезд за границу соотечественников, призванных на русской земле творить, возвеличивать ее, — потеря ужасная, и если бы многие не возвратились, физически или произведениями, потеря эта давила бы на поколения гораздо тяжелее, чем давит. Ну, допустим, вдруг потеряли бы Есенина? Потеряли бы Блока? Потеряли бы Маяковского? Представить страшно.

Самобытность, национальная ответственность их слова — на устах у народа, в сердце народа, в деле народа.

Хоть и говорит Евгений Евтушенко, мол, не всегда народ достоин уважения; но разве народ, потерявший миллионы сыновей в годы репрессий, виновен? Виновны троцкие, сталины, «вожаки», виновны «предводители».

Но именно народ обвиняют сейчас! И не один Евтушенко... Уехал от нас Иосиф Бродский... Уехал обиженный, оскорбленный. Теперь Нобелевскому лауреату Иосифу Бродскому отвратительно даже вспоминать Родину. Вот он и называет ее «моя бывшая страна», «страна, в которой я когда-то жил», нельзя, дескать, в нее вернуться, как «нельзя возвратиться в прошлое»... Родина — прошлое? Пусть унизившая его. Впрочем, разве она унизила?

Не так давно я внимательно прочитал довольно солидный том произведений Иосифа Бродского, изданный на Западе. Удивительно: как все-таки иные наши газеты перевирали поэта! В стихах Иосифа Бродского нет прямой враждебности к строю, нет «политики», банальной антисоветчины. Есть обычная чуждосторонняя наблюдательность человека, много читающего, много думающего о себе, о жизни, о странах, где он временно останавливался, о народах, среди которых он временно находил приют.

Есть в творчестве Бродского некая туристская поспешность: сегодня интересуюсь этой зоной, а завтра переберусь в другую. Нет озабоченности о крае, о том, что тебя кормит, поит, делает самобытным...

И все-таки до сих пор не могу смириться: Родина — прошлое! Слово — прошлое! Язык — прошлое! Но, судя по его стихам, Иосиф Бродский именно так и относится к России:

Месяц замерших маятников (в августе расторопна
только муха в гортани высохшего графина).
Цифры на циферблатах скрещиваются, подобно
прожекторам ПВО в поисках серафима.
Месяц спущенных штор и зачехленных стульев,
потного двойника в зеркале над комодом,
пчел, позабывших расположенье ульев
и улетевших к морю покрыться медом.
Хлопочи же, струя, над белоснежной, дряблой
мышцей, играй куделью седых подпалин.
Для бездомного торса и праздных граблей
ничего нет ближе, чем вид развалин.
Да и они в ломаном «р» еврея
узнаю себя тоже; только слюнным раствором
и скрепляешь осколки, покамест Время
варварским взглядом обводит форум.

Далее — не менее оригинально, но мертво:

Лесбия, Юлия, Цинтия, Ливия, Микелина.
Бюст, причинное место, бедра, колечки ворса.
Обожженная небом, мягкая в пальцах глина —
плоть, принявшая вечность как анонимность торса.

Не будем останавливаться на созвучиях типа «какано», есть еще «точнее»: «И как книга, раскрытая сразу на всех страницах», «каккни», не будем, их в одном этом стихотворении более чем достаточно. Но и вся книга да и все разбираемое мною стихотворение — мертвые кости. А это стихотворение — лучшее у Бродского, и строки, приводимые здесь, — не худшие в нем...

Я не уличаю, не критикую Бродского, не считаю его стихи плохими, ненужными, бесталанными. Они — чужие. На русском языке сделанные. Смонтированные расчетливым инженером.

Слово для Иосифа Бродского — материал, найденный в слоях, в породах чужой цивилизации, чужой культуры, дающей ему возможность твердо напомнить о себе, стоящем среди развалин, среди раскопок. Напомнить о себе — мертвым для него словарем, языком. Если бы Иосиф Бродский творил на своем родном языке, он, вероятно, стал бы настоящим поэтом, зорким, обобщающим и живым, и не возникло бы самонадеянной причины у него, еврея, давать зарубежным изданиям и радиостанциям интервью от имени русского.

В них поэт поведал нам, живущим дома, в России, мол, эта страна — голодный слон. Она не знает, куда ей двинуться. А голод мучит. Пойдет назад — там уже побывали слоны и все, что можно съесть, съели, а остальное — вытоптали. Посмотрит вокруг — съедено и вытоптано. Пойдет вперед — там тоже побывали слоны... Эта страна-слон по мнению Иосифа Бродского, должна взбеситься и накуролесить.

Разве могла Марина Цветаева с таким мертвецким равнодушием говорить об измученной России? А Есенин? Уехал бы Сергей Есенин и разве бы он так хоронил Россию? Но не надо нам хвататься за фразы, брошенные поэтом, хотя Иосиф Бродский долбит такое в уши планете, нам в уши. Долбит — как бы со стороны, не печалясь, не плача, не гневаясь. И он по-своему прав. Посторонний.

Пресмыкание же иных наших мелкотравчатых «вздоховедов» перед именем Иосифа Бродского, пресмыкание их перед Нобелевской премией — мышиная вакханалия на ниве отечественной литературной бесхозяйственности, где разбросаны не просто золотые зерна, а вороха золотых урожаев. На родине Павла Васильева, Николая Гумилева, Николая Клюева — ни музеев, ни усадеб, ни даже мемориальных досок, ничего нет. Равнодушие? Расчетливое забвение?

Александр Твардовский не получал Нобелевскую премию, но — автор «Василия Теркина», а Сергей Есенин?..

Неужели достаточно сбежать — очутишься талантливым? Читая стихи Галича, я испытываю все то же ощущение: человек со стороны. С чужим для него языком, с личной драмой в чужом народе. Он доказывает, что мыкался у нас, холодал, голодал, безвинно овиноватенный, непризнанный и, видимо, острее, чем Иосиф Бродский, униженный. «Двадцать лет творчество Александра Аркадьевича Галича да и само его имя находились под запретом. 12 мая этого года Союз кинематографистов СССР восстановил А. Галича в правах, подчеркнув, что «это восстановление справедливости». Спустя два месяца и Союз писателей последовал доброму примеру», — давала аннотацию к подборке стихов Галича «Литературная Россия» в 1988 году.

В интервью радиостанции «Свобода» Бродский на вопрос, как оценивает он ромвн Рыбакова «Дети Арбата», изрек: «Макулатура!» Александр Галич не дожил до счастья оценивать нынешние бестселлеры, но песни его еще и сейчас кое-где популярны. Не в народе, в народе они никогда не были и никогда не будут популярны. Их, эти песни, возили в магнитофонах, в такси, в поездах, в самолетах заблатненные хмыри, интеллектуальные бездельники, умные алкаши, воспитанные ненавистники нормального образа жизни. Но человек, уважающий свою национальную поэзию, не возит песен Галича, не носит их за пазухой.

Был ли Галич запрещен? Нет. Его песнями забазарили, «проспиртовали» все вокзалы, пристани, аэродромы еще тогда, когда их автор жил в Москве, собираясь (или не собираясь еще) отчалить за границу.

Галича, как и Бродского, как и Высоцкого, сделали «запрещенно-знаменитым», у нас купили им билеты на «смотр» в заграницу. А не будь этого спектакля? Присудили посмертно Высоцкому Государственную премию СССР — интерес к нему тут же заколебался. Уже на могиле свежие цветы не только у Высоцкого... Высоцкий лежит недалеко от Есенина, почти рядом, но между ними какое «НО», и это «НО» будет непременно расти. Высоцкий в том не виноват.

Если не было бы «запрещенности», «подпольности», то не было бы и сегодняшнего «дыма» у нас, не было бы тарабарщины по различным «Голосам» и «Свободам». Не было бы и недоумения у серьезных интеллигентов Запада: «Орут о русских писателях на каждом шагу, а читать у них нечего!»

Не надо Александра Гапича путать и с Александром Солженицыным. Страдание страданию рознь.

Галич, оказывается, еще в пионерском галстуке посещал литературные кружки, даже «при всех и вслух» отмечен самим Эдуардом Багрицким. Вот как! А мы-то, простаки, считали: Галич кайлил, голодал, кайлил, голодал, да и выплакал горе русскому ивроду:

Подстелила удача соломки,
Охраиять обещала и впредь.
Только есть на звмле Миссалонги,
Где достанется мне умереть.

Где, уже не пижон и не барин,
Ошалев от дорог и нарет,
Я от тысячи истин, каи Байрон,
Вдруг поверю, что истины нет!

Будет серый и сиверный денечен,
Небо с морем сольются в одно,
И приятель мой, плут и доносчик,
Подольет мне отраву в вино.

Упадет на иолени тетрадиа,
И глаза мне затянет слюда,
Я сиажу: — У меня лихорадна,
Для чего я приехал сюда?!

И о том, что не в истине дело,
Я в последней пойму дурноте,
Я, мечтавший и нощно, и денно
О несносной своей правоте!

А приятель, всплакнув для порядка,
Перейдет на возвышенный слог
И запишет в дневнни:
«Лихорадка».
Он был прав, да простит его бог.

Искренние как будто стихи, а не веришь. Шибает псевдоромансом, будто — сыграно, с чужого «плеча», чужое. Или автор играл все время кого-то, понравившегося ему искренностью, наследственной естественностью? Игра не удалась.

А чего стоят «и глаза мне затянет слюда», «где достанется мне умереть», «будет серый и скверный денечек», — взято «напрокат», не свое, не кровное, смахивающее на резюме Бродского: «пчел, позабывших расположенье ульев и улетевших к морю покрыться медом». «Покрыться» — имеет тут более грубый «животный» смысл и назначение, нежели автор выбранному слову поручает. Опять обожженная пустыней желтая кость.

Трагедия Бродского, Галича — беда одинокого. Трагедия Есенина — кровь народа. Поэтому и не пришел великий язык великого народа к поэтам так называемой «третьей волны». А язык — душа и разум народа, внутреннее око человека. Не фотография времени, а внутренние — лунное тоскующее око.

Галич не замечает безнравственности беллетризации народной трагедии. Там, где у Шаламова — скорбь, заставляющая отказаться от всех ухищрений литературности, у Галича — стихотворная беллетристика:

А там, в России, где-то есть Ленинград,
А в Ленинграде том Обводный канал,
А там мамонька жила с папонькой,
Называли меня «лапонькой».
Не считали меня лишнею,
Да и дали им обоим высшую!
Ой, Караганда, ты, Караганда!
Ты угольком даешь на-гора года!
Дала двадцать лет, дала тридцать лет,
А что с чужим живу — так своего-то нет!

И далее повествуется, как «взял» он ее нахрапом:

А он, сучон, из гулевых шоферов,
Он барыга, и калымщии, и жмот.
Он на тóрговской давт, будь здоров! —
Где за рупь, а где иакую прижмет!
Подвозил ои меня раз в Гастроном,
Даже слова ие сназал, нан полез,
Я бы в крин, да на стенле ветровом
Он иартииочиу приклеил, подлец!
А на картиночке площадь с садиком,
А перед ней камéнь с «Медным
всадником»!
А тридцать лет иазад я с мамой в том
саду...
Ой, не хочу про то, а то я выть пойду!

Да и иезвучное «с свдиком» — ради с «Медным всадником», могло быть поприличнее, поскольку юродства хватает и так, но даже и юродство — подделке под юродство. Неискренность, а вернее, лжеискренность подводит Галичв, лишает ситуацию достоверности, не вызывает естественного участия к несчастной.

А несчастная — дочь генерала, расстрелянного, дочь матери, расстрелянной, разрешит ли, сама пройдя через каторгу, играть с собою нвхалу? Если и рвзрешит — пусть ввтор найдет психологические доказательствв, в здесь — хмырь: шофер — хмырь, ввтор — хмырь. Разумеется, Галич не хотел такого плоского результата от «Песни-баллады про генервльскую дочь»...

Помню, в «Огоньке» я увидел фотографию: три женщины-крестьянки держат в руках трех поросят. Женщины — лица добрые, славянские, измученные работой и нуждою. Поросята — ухоженные, ликующие, боевые. Под фотографией подпись: «Три богатыря — Илья Муромец, Добрыня Никитич, Олеша Попович». Ну, допустим, фотограф или журналист хотели хорошего, не нвмеревались оскорбить святыни, но мало ли оии о чем думали, чего хотели, важен — расистский факт. И «факт» этот долго будет работать не в пользу журнала.

• • •

И все-таки надо было их печатеть. Надо было печатать Бродского, Галича, Высоцкого. Надо было печатать Солженицына, хотя он ничего общего с ними ие имеет и ие имел. Надо было печатать романы «Касьян Остудный» Акулова, «Каиуны» Белова, «Мужики и бабы» Можаева, «Кончина» Тендрякова. Печатать полностью, ие скребя по страиицам, не выбрасывая. Я знаю по работе в журналвх, в издательствах, чего стоило — выдать нв прилввок смелую книгу. И сколь многие соблазнились звучной имитацией правды — тоже знаю.

Ведь шел же в застойное время да и тогда, при Сталине, Евгений Евтушенко пврадом! Вот его «Строители Волго-Дона» («Смена», 1952, № 13):

Я не был на трассе,
не рыл канал,
не управлял земснарядом.
На экскаваторе
я ие стоял
С Иваном Ермолеино рядом.
Но сегодня,
иогда взлетают ладони,
иогда у всей страны торжество,
я говорю
от именк тех,
кто ие был на Волго-Доне,
и все-таки
(я утверждаю!)
строил его!
Геолог,
исиавший руду в Зауралье,
шагавший тайгою,
быть может, не знал,
что эта руда,
ставшая сталью,
скрепером
будет
строить
канал!
Мосиовские верхолазы,
высотных домов
строители,
перекрывая сроки,
строя
за домом дом,
ие были на Волго-Доие,
трассу его ие
видали,
но сила их пример
строила Волго-Дон!
Я ходил недавно с друзьями
в Дом-музей Маяковского,
Маяковский! Здесь жил,
здесь работал он!
Под стеклом, на столе его,
рядом с набросками,
Чуть надорвана
пачка папирос «Волго-Дон».
О чем с папиросой
он думал долго,
мечтал о чем
в папиросном дыме?
На пачке синим —
Дои и Волга,
и красным —
линия между ними...
Я знаю: на трассе,
у берега волжсиого,
свою мечту
одевая в бетон,
в первых рядах
стихи Маяковсиого
строили Волго-Дон!
У нас,
глядящих в завтрашний день
пристально,
зорно, смело,
нету «больших»
нли «малых» дел, —
есть общее иаше дело!
И каждый,
кто Родиной нашей вызван
в дали грядущих времен,
каждый,
нто строит
в стране коммунизм,
строил
Волго-Дон!

Задорные стихи. Но задор-то «фиктивный», неискренний, чужой, и страсти чужие, и радость чужая, с чужого «плеча». А стихи написаны Евгением Евтушенко молодым, даже юным, они бы как раз

должны были нести на себе отпечаток абсолютной искренности. Но трудно, особенно молодому, петь искренне, когда знаешь о миллионах людей, томящихся в лагерях, а Евтушенко знал, он сам признает это в поздней вещи «Фу-ку!», да и в других его вещах. Прекрасно знал. Знал он и о Сталине кое-что из того, что стало известно широкому читателю только сегодня. Знал — и обоболепствовал:

> Слушали и знали
> оленеводы-звенни:
> это отец их — Сталин
> счастье вручил им навеки!

Равнодушие к тем, от чьего имени, жизни, языка, истории и страданий говоришь, равнодушие и безучастность позволили автору опуса о Сталине восхваляемом «перевернуться вокруг своей оси» и выдать иное — «Наследникам Сталина», где гробовой вождь мечтает до «неразумных» солдат, выносящих саркофаг, «добраться». Вчера Евтушенко буквально аллилуйничал, сегодня, «высунувшись» в окно, как в деревне, бранится.

Сталина восхваляли многие: Симонов, Исаковский, Сурков, Щипачев, Твардовский. Пастернак тоже не тайно переводил поэму «Витязь в тигровой шкуре». Кормчий слышал. Пастернак ощущал, что кормчий слышит... Но — мучился Пастернак, замолчал после патетической симфонии вождю Исаковский, долго и тяжело «перебаливал» Твардовский. Даже дробящий колымские руды Борис Ручьев «перебаливал» сталинским временем до конца дней своих. Шолохов унес любовь к Сталину с собою. А Евгений Евтушенко мигом сделался одним из самых чтимых поэтов у Леонида Ильича Брежнева, свежего вождя. В воспоминаниях Никиты Сергеевича Хрущева, — «Женя хороший парень»... А Брежнев, до вставной челюсти, цитировал за дачным столом соратникам строки из Евтушенко. Пятизвездный вождь наизусть запомнил две его строки:

> Со мною вот что происходит:
> Ко мне мой старый друг не ходит...

Ведущие газеты и при Брежневе щедро поставляли в народ стихи «хорошего парня», но «хороший парень», почуяв «жареное», лихо, когда разрешили, обрушился на «пятизвездное застойное время». Как всегда, с наигранной искренностью:

> Трус неглупый,
> вор неглупый
> перестройну
> под себя перестилают,
> словно койку.
> Трусы прежние
> в герои суются,
> словно трусы Советского Союза.
> Все с компьютерами -
> жулики цифирные.
> Перестроившийся вор —
> квалифицированней.

И — далее, в таком же крючковатом стиле!

А сам Евтушенко — герой? Ну я понимаю: нельзя было при Сталине ему, да и не только ему, храбриться. Но ведь сейчас-то быть смелым «задним числом» стыдно. Наверное, сейчас можно и поразмышлять, поплакать сердцем, погоревать над судьбой общей и своею, но откуда же эта личная «безвинность», эта самоуверенность «пророка» среди обманутых и обездоленных? Это и есть — чуждость.

В длиннющем стихотворении «Русские коалы» Евтушенко выговаривает русскому: «Мой современник-согременник, глаза спросонья лишь на треть ты протираешь, как мошенник,— боишься чище протереть. Нет, дело тут не в катаракте. Граждански слеп ты не один. Виной твой заспанный характер, мой дорогой согражданин. Почти нельзя прощупать пульса общественного на руке. Ты от «Авроры» не проснулся. Ты — в допетровском столбняке. Очухивался ты в кальсонах, когда пожар кровать глотал. Марксизм был для тебя как сонник: ты по нему не жил — гадал. Мартены, блюминги, кессоны — вот племя идолов твоих. Ты жил физически бессонно, а нравственно — трусливо дрых. Когда ночами шли аресты и сам себе забил ты кляп, звучали маршево оркестры, как совести позорный храп. Такой сонливистый и зёвкий, ты не проспать не мог войны. Ты прозевал шифровку Зорге под победительные сны. И членом армии чиновной всех несогласточных капелл ты прохрапел во сне Чернобыль, «Нахимова» ты просопел. Нахальный аэрокуренок чуть Кремль не сшиб — все оттого, что был прошляплен он спросонок коалами из ПВО. А разве травлю Пастернака не ты проспал, бурча сквозь сон: «Я не читал роман, однако я им предельно возмущен»?.. Ты дал медальку не задаром, ведя и свой медалесбор, малоземельным мемуарам на всеземельный наш позор».

Верховный поклонник не последний, будем надеяться, несгибаемого Евтушенко, Леонид Ильич Брежнев, тут лично заклеймен. Пристыдил автор и русский народ, указав ему на храпение, лишь забыл — вокруг Брежнева, как вокруг Хрущева и Сталина, крутились не только русские люди. Злее осенних мух жужжали, прорываясь к ним из иного роду-племени... Если у Евтушенко одряхлела память, пусть включит телевизор, «интернациональные выходцы» и ныне на экране, и ныне в моде, как в моде и сам автор стихотворения «Русские коалы» Евгений Евтушенко, «хороший парень». Нравственно ли предъявлять счет народу, которым не менее, чем другими народами, заполняли тюрьмы троцкие, бухарины, свердловы, каменевы, сталины, зиновьевы, микояны, ждановы, маленковы, молотовы, ежовы, кагановичи, ягоды, берманы, коганы, френкели, берии?

Мимикрия, игра «под кого-то», имитация радости, героики, насильственное освоение — ведет ли этот путь к истине? Русского Пушкина от России не оторвать, а нерусского Бродского к России не приставить.

Есть национальные черты и обязанности у слова, а совесть может потерять поэт, рожденный и в Рязани, где до сих пор звенит голос Есенина, как рыдание кукушки.

Как «интернационалисту» валить все промахи на один народ? Как сочинять стихи на русском, орать, что ты русский поэт, а ненавидеть русских? Уметь надо!

Неискренность, чуждость, игра порождают безнравственную ситуацию: сегодня хвалю — завтра откажусь, сегодня назначаю — завтра расстреляю, сегодня защищаю — завтра отрекусь. Конечно, у нас немало неподдельных писателей, идущих к народу, а не сюсюкающих перед ним, не огыгыкивающих его. Они возвращают нас из «творческого блуда» к дому, на отчий порог. На наших глазах истаяли Федор Абрамов, Василий Шукшин, Олег Куваев, Василий Федоров, Владимир Чивилихин, Константин Воробьев, Юрий Селезнев, Анатолий Передреев, Иван Акулов, не смогли жить, видя беспощадное разорение России, удушение рек и лугов, убывание русских, да и не одних русских: посмотрите, что стало с народами Поволжья, Урала, Сибири, Севера!

Мы не забываем и тех, кто слепо восхвалял коллективизацию, слепо призывал к ликвидации «кулаков», расчетливо разрушал национальное — умное, проверенное веками, отобранное природой, взрывал храмы, оплевывал сказку, славу народа. Это они помогали строить лагеря, натягивать вокруг них колючую проволоку.

Не надо говорить за нас, за наш народ. Мы сами скажем о себе, сами за себя ответим.

Слова великого русского поэта Александра Блока не устарели:

> И у тех, кто не знал, что прошедшее есть,
> Что грядущего ночь не пуста, —
> Затуманила сердце усталость и месть,
> Отвращенье скривило уста...
> Было время надежды и веры большой —
> Был я прост и доверчив, как ты.
> Шел я к людям с открытой и детсной
> душой,
> Не пугаясь людской клеветы...

Сколько же тут взято «на себя», сколько же тут пережито, передумано о себе и других, о времени и Родине, о небе и земле?..

Вспоминаю 1984 год, осень... Кремль. Сверкающий зал. Нас, поэтов, прозаиков, публицистов, драматургов, критиков — пруд пруди! Всех приглашают сесть. Садимся. Ждем. Долго, долго. Молчим. Возимся. Оглядываемся. Понемногу начинаем возмущаться. Долго ли так сидеть? Кого ждем? Себя ждем.

И наконец появляется маленький человечек с медленными жестами, медленной выправкой, медленным взглядом, медленным соображением: как быть? Маленький, хотя, говорят, в кабинете — очень подвижный и решительный, иногда — даже большой. Серенький, в сереньком помятом костюмчике, вытаскивает из кармана пиджака серенький помятый платочек и медленно, медленно, в несколько затяжных приемов, начинает сморкаться. Сморкается минуту, две, три, четыре, пять. Зал чувствует насмешку, но, пораженный, еще боится отреагировать резкостью, еще не хочет верить, что над ним свободно, настырно, медленно издевается маленький, серенький человечек. Зимянин...

Вот он здоровается. Улыбается. Делает шажок по сцене. Зачитывает Указ о награждении «за развитие и выдающиеся успехи в советской литературе» огромного количества граждан. Писатели переглядываются, перемигиваются, кажется, лишь в эти минуты догадались, как всех их унизили серым списком, не имеющим границ и пределов.

Так нам и надо! Так с нами и следует обращаться: забыли свое достоинство, а собираемся укоротить чужую самонадеянность? Я никого не упрекаю. Не считаю себя лучше Бродского или Галича, не советую хихикать или восторгаться по поводу претензий к Евтушенко.

В моем времени я избежал соблазна клеветать, доносить, зубоскалить, а своих мучений за свое время не избежал: они тяжелы и постоянны, к тому же — еще в самом начале, ягодки — впереди!..

Надо не стесняться башкиру быть башкиром, русскому — русским. Надо не давить чужой язык, чужую культуру, землю, а помогать им, тогда иссякнут чуждость, желание и необходимость играть кого-то отпадут, на их место явится искренность, естественность и доброта.

Зачем застить Есенина Пастернаком или Бродским, Галича — Мандельштамом или Высоцким, пусть каждый стоит там, куда подала знак встать судьба. Утверждать утвержденное — смешно, утверждать в заурядном величие — бессмысленное занятие, можно надорваться. Нынешние литературные наши баи, отяжеленные медалями и орденами,— жалкое зрелище: недаром так нудно, так невоспитанно при них сморкался Зимянин, понимал, с кем имеет дело.

Лев Толстой говорил: «А как бы я мог быть хорош и счастлив, ежели бы шел по той дороге, которую, вступая в жизнь, открыл мой свежий ум и детское, истинное чувство! Не раз пробовал я выйти из колеи, по которой шла моя жизнь, на эту светлую дорогу. Я говорил себе: употреблю все, что есть у меня воли, и не смог. Когда я оставался один, мне становилось неловко и страшно с самим собой».

Вспомним Лермонтова:

> Великий муж! здесь нет награды,
> Достойной доблести твоей!
> Ее на небе сыщут взгляды
> И не найдут среди людей.
>
> Но беспристрастное преданье
> Твой славный подвиг сохранит,
> И, услыхав твое названье,
> Твой сын душою закипит.

Хочется, чтобы наши дети кипели душою, когда того требует дело, требует время, не завидовали изворотливому и продувному, учась трудолюбию и терпению. И пусть Евгений Евтушенко остепенится: зачем так нервозно, так угрюмо ему поносить русских?

* * *

Однажды, день за днем переваливая в автомобилях через впадины и хребты Гоби, оторванные от русской речи, мы, въехав дружно в захолустную гостиницу, поймали программу «Маяк». По радиэ передавали для соотечественников, тех, кто за рубежом, специальную программу. Грузинская музыка — великолепно. Украинская — великолепно. Литовская — тоже. И вот зазвучала Россия... Приемник захлебывался, откашливался, хрипел, блеял, кукарекал. Плясали. Выли. Дундели. Кто? Русские?

Возможно — русские. Но какие это русские?

Стыдно было перед монголами, сопровождающими нас. Они молчали, понимая наше смущение. А хрипы, оры, улюлюканья сотрясали комнату. Что же в них было русского, национального, да и советского? Но выступали-то артисты, если их так можно назвать, русские: они объявлялись в эфир под русскими именами и фамилиями, летели в пространство русские слова, но изуродованные и омерзительные.

Почему я должен терпеть их, эти слова? Почему я должен выносить эту антирусскую шабашню?

Тимур Пулатов, узбекский прозаик, пишущий на русском языке, вздохнул:

— Сколько вы, русские, будете терпеть позор?

— Сколько вытерпим! — ответил ему Аиатолий Жуков.

— А сколько вытерпите, не триста же лет? — засмеялся переводчик, монгол.

Пишу я, а сам заранее вижу, как, сутулый и дремотный от бумаг, от аккуратных очерков, мой друг-редактор поправит очки: — Опять нарываешься?

— На что?

— На скандал!

— На какой скандал?

— А на такой, позабыл? Русским о русском лучше не говорить!..

Правомерно ли, разумно ли, не неряшливо ли в наше время упрекать тот или другой народ в том, что он недостаточно ретиво изучил марксизм, недостаточно ретиво следует его канонам? Если мы пользовались марксизмом вяло, «как сонником», и виноваты за это, то что же, каких же упреков достоин английский народ, среди которого несколько лет жил Маркс, а народ английский так и не взял его, Маркса, на ежеминутное вооружение?.. А что делать со шведами, американцами, израильтянами? Евтушенко разговаривает с русским народом, не сострадая, не страдая. Он поучает, журит народ. А народ — это народ. Он — то Стеньку Разина даст, то — Пушкина родит.

Народ терпит, но все видит и не нуждается ни в продажно-самонадеянной защите, ни в озлобленно-снобистской демагогии.

Стоило русским писателям объединиться в протесте против отравления Байкала, в один голос не согласиться с поворотом сибирских рек, выразить возмущение разрушением русских памятников культуры, тут же — ярлыки. «националисты», «шовинисты», «фашисты». Как похожи они на те ярлыки, введенные в обиход при Троцком, Свердлове, Ягоде, Бухарине. Похожи и на более «современные» — «почвенники», «деревенщики», «славянофилы», «монархисты» и прочее. Стоило Бондареву, Алексееву, Иванову, Проскурину, Белову, Распутину повернуться в сторону русской тревоги — посыпались насмешки, оскорбления, клевета, иаветы. Кроссворды и те «разоблачают» Бондарева, так захвачено русское слово... а кем?..

Несчастное общество «Память» — общество «дураков, мракобесов, бандитов, идиотов, пьяниц, грабителей», стыдно читать! Правда, нахальная и безразборная брань в адрес «Памяги» дает обществу новых и грамотных сторонников, а России — иовых надежных тружеников...

Все неразберихи, аварии, голод, холод тот же Евтушенко кладет на совесть русского человека — коала, ленивца, австралийского зверя, любящего поспать, повиснуть на чужом «хребте», но разве в армейских казармах, академиях, разве в творческих союзах, институтах, министерствах, на полях и заводах одни русские? Далеко не так!

Программы, научные революции, рекомендации, решения, обещания делаются разве лишь русскими? А уезжают, выступают по радио, в газетах, по телевидению только русские? Почему русский человек в стихах Евтушенко один отвечает за всех, виноват один во всем? Тенденция эта у нас то спадает до невидимой грани, то вновь поднимается, когда находятся ее сторонники, прячущиеся за русскими именами, за русскими болями...

Говорить пора об этом открыто, гласно, не шепча. Считать, что русский — уже здорово, даровито — глупость: есть столько русских графоманов в поэзии, в науке, в хозяйстве, где угодно! Но и вину класть на одних русских — преступление! Россия ныне доведена до погибельной ступени. Чуть в сторону от Подмосковья — Россия обезлюдела, обнищала, разбежалась по городам, по республикам. Не от приятной атмосферы, довели.

Чуждость — безответственность, она не знает меры ни в чем. Евтушенко игриво перетаскивает трагедию века — Чернобыль к поспешному пьедесталу бессмертья Пастернака, за нетрезвую брань Хрущева бранит русский народ, мол, потому и «марксизм был для тебя как сонник: ты по нему не жил — гадал».

Если взять и обвинить во всех грехах тяжких татарский народ, неужели татары не обидятся? Или обвинить во всех наших жестокостях еврейский народ, разве евреи примут это? Почему же русский человек должен принять за истину рифмованный донос Евтушенко?

Сейчас имя Евтушенко похоже на стенобитный таран, бревно, которым космополитическая орда пробивает русские крепости, а он сам, визжа от восторга, бежит

впереди. Выступил против Бондарева, Астафьева, Викулова, Кузнецова, Алексеева, Иванова, «Памяти». Выступил, вроде имея на это какие-то свои причины, личное мнение, но суть выступлений — антирусская.

А способность схватывать «на лету» и Руста, и взрыв атома, и марксизм, и сонного русского коала из ПВО, и шифровку Зорге, когда дороженька ко всему этому открыта, — доблесть невеликая. Суеты много. Замечательный человек духом и нежностью Михаил Львов: он благодарил бога за русскую речь, за русский мир творчества, коль уж так сложилось, что он, татарин, оказался поэтом русским, а не татарским в силу не зависящих от него обстоятельств. Благодарное отношение к любой речи, любому языку любого народа — главный признак подлинности личности, натуры и дарования.

Давайте дадим, думал я, отчет перед народами: сколько у каждого народа, населяющего Советский Союз, кандидатов наук, докторов наук, академиков приходится на тысячу человек, сколько и каких национальностей представители творят нам общую историю, право, науку, музыку, литературу, театр, журналистику, дипломатию и т. д. Давайте! Но уже дали — русские на одном из последних мест.

Сталин — грузин. Берия — грузин. Но Грузия разве одна должна нести ответственность за их палачество? Ягода — еврей. Ежов — еврей. Каганович — еврей. Но разве еврейский народ должен отвечать за их злодейства один? Израильские оккупанты замуровали палестинца в стенах его же дома за то, что он бросил камень в солдат. Но разве все израильтяне виноваты? Разве все немцы — фашисты? Где логика — выставлять русского виноватым во всем? За русского Маленкова, за русского Ворошилова русский расстрелянный Вавилов не виноват. Кто виноват, надо подумать, поизучать, разобраться и рассказать народам и государствам.

Неужели сегодняшняя демократия и гласность — почва для сведения счетов между народами, для объявления мести и взаимного неуважения? Не раздирать узы, а укреплять их пришли мы и наши дети. А ведь дело дошло до того, что слова «дружба», «братство», «долг», «патриот», «Родина», «труд», «герой» кое-кто воспринимает как словесный хлам.

Мещанину из застойной рутины не нужен Есенин, ему подавай певуна-хохмача, хохмача-трибуна, трибуна-анекдотчика: сунь его в вагон — хорош, выведи на сцену — годится, привези на пляж — в точку.

Ушла серьезность у иных из профессии, ушла серьезность у иных из слова, ушла серьезность у иных — из нрава.

Среди трех богатырей
Илья Муромец — еврей?..

Нерусский боится клейма национализма. Русский — шовинизма. Еврей — сионизма. Но есть те, кто ничего не боится. Ездят по странам, берут псевдонимы, представляют тот или иной народ, не получив на это согласия ни от одного народа. Ничего не боятся чурбановы и адыловы. Не стыдятся ни узбеков, ни русских, ни евреев. Я, например, не желаю, чтобы за меня на моем родном языке сочинял стихи башкир, еврей, татарин, грузин, не хочу, я им не поверю, не даст мне музыку моего слова башкир, не даст еврей, даст русский, а башкиру — башкир, еврею — еврей. Конечно, есть исключения, но куда мы торопим, куда мы гоним: нет наций, есть — советская общность, единый язык, русский! Зачем? Кто повелевал таким упрощением и укрощением народов? Русские?

Есть русские писатели, есть национальные, есть писатели, работающие на русском языке, русскоязычные... Но ведь это еще не значит, что мы, русские писатели, не нужны теперь, когда много русскоязычных. И все ли они нужны? Все ли могут заменить нас?

Родясь в Башкирии, я никогда не посягал на их песню, в мыслях не отвергал ее, я любил ее, удивлялся ей, но пел свою, родную, материнскую, рос вместе с нею.

За времена репрессий, застоев, безличья мы довольно сильно покачнули фундаменты национальных культур. Надо их «ремонтировать», возрождать, в том числе — еврейский. Почему у нас нет места полнокровной государственно-национальной жизни евреев, еврейского народа? Надо им пособить доразвить во всех смыслах бытия свою автономную область, свою конституционную судьбу, а как иначе? Самостоятельность в союзе — обычная для наших народов дорога.

Не виноватить друг друга, а помогать друг другу быть самим собою — обязанность наша.

В 1950 году Евтушенко не сомневался:

Я знаю:
Вождю
бесконечно близки
мысли
народа нашего.
Я верю:
здесь расцветут цветы,
сады
наполнятся светом.
Ведь об этом
мечтаем
и я
и ты,
Значит,
думает Сталин
об этом.

Рассказывая о некой фокуснице-аферистке, родной брат Евгения Евтушенко Александр Гангнус заметил:

«На телеэкране мы ясно видели, как сотрясается всем телом Кулагина, чтобы вращать стрелку. Тогда, 23 года назад, Студенцов и Скрынников потребовали у Кулагиной перестать шевелить «талией и бедрами», после чего чудеса прекратились». Аферистка использовала «грудной» магнит. Фокус — не фокус, а обман — обман.

Хочется продолжить мысль Александра Гангнуса: шевеление «талией и бедрами» и поэтам не пошло на пользу, «фокус» оказался банальной конъюнктурой.

Но, повторяю, винить некого — винова-

ты сами. От поколения к поколению идет ответственность, идет истина, и наша задача — увидеть ее.

Если Маяковский и Есенин рассчитались жизнью за социальное разочарование, то нам, пережившим их физически, ставшим намного их старше, непростительно забывать опыт неравенства.

А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется —
и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам,
я — бесценных слов транжир и мот.

Транжир-то транжир, даже мот, но слова его — в цель, с любого, малого или большого расстояния — в цель! Но трудно уберечься от грубых просчетов поэту, не менее трудно уберечься от них руководителю.

Купаков увозили, угоняли, сажали, и все — за их огород, за их луг, за их поле, дававшее им урожаи, кормившее их детей. Зато никого не тронули за уничтожение храмов, сел, рек, морей, плодородной земли, брошенной плотинам и осушениям на распыл, никого. Даже за Арал никого не покритиковали путем, даже за Байкал никого не наказали. Вот и думай: кто мы, чьи мы, куда движемся?

Красавицу Волгу заменили грязной цепью огромных болот, а Сергея Есенина разве не заменим? Вместо него хватит одного Джека Алтаузена или Александра Кушнера, вполне хватит! Потому и Бродский — гений. Потому и Галич — гений. Потому и Высоцкий — гений. Гениев, как сорняков, много! Убегут они в Италию или в Америку — там переполох и шум. Прибегут оттуда назад — у нас переполох и шум. Там они в рекламном почете и у нас они в рекламном почете. Вот молодцы!

В застойные времена кому хорошо? Тому, кто не перебегает границ Родины, охраняет их, работает у станка, склоняется над конструкторским чертежом, сидит с ребенком, стоит в очередях — от Москвы и до Камчатки. Хорошо — манси, русским, грузинам, туркменам. А тем, спешащим в международные аэропорты, спешащим с толстощекими чемоданами, наполненными паюсной икрой и малоодаренными рукописями, — плохо. Надо икру торгануть, рукописи пристроить, наш ВААП не всех их успевает удовлетворить, ублажить. Впрочем, старается, забывая Абрамова, Чивилихина, Федорова, Акулова, Ручьева, не до этих русских писателей ВААПу! ВААП — для обидчивых, для капризных, отлетающих в Израиль, Канаду, США, Францию. Чем Войнович хуже Герцена? Ничем. Его Чонкин — второй «Колокол»... Да и сем Войнович не ниже Салтыкова-Щедрина...

* * *

Москва не забудет, Россия не забудет — поработали вдосталь Хрущев и Каганович над усовершенствованием и облагораживанием столицы: все, что могли, везде, где могли, разворотили, снесли, сровняли. На месте храма Христа Спасителя чадит теперь сырая чертова пасть. Чуть не при каждом «входе» и «выходе» метро столкнут в неизвестность памятник, знак, символ истории, славы.

Никита Хрущев впер, вломил Дворец съездов в Красный Кремль, урезал великолепие Кремля со стороны Троицкой башни, а туда, к набережной Москвы-реки, двинул похожую на сотни западных гостиницу «Россия», сдавив горло маковкам соборов на Китайском проезде, сузив перспективу за Кремлем, обрезав размах левого его крыла. После Никиты Красный Кремль — однокрылый, без величавого полета, Кремль-инвалид... Впрочем, у Хрущева были советчики...

А кто мог запретить разбой? Сами взрывали. Сами себе водружали статуи на скалах. Врагов искали в чужом и терпеливом народе — находили миллионами. Чем объединить людей, как не страхом? Страх — подвижнее воды. Страх — устойчивее снега: не растает, не утечет, а надолго осядет в человеке.

И почему бы не переиначить учебники, карты, древние пути? Разве Самуил Маршак бездарнее Лермонтова, а Михаил Светлов — Пушкина? Нет. Так же, как Александр Безыменский и Маргарита Алигер. Эти в пролетарской массе воюют, сражаются за интернационализм, как Эренбург и Пикассо, Кирсанов и Неруда, отучают своими бодрыми произведениями народ от упаднического Достоевского, богомольного Лескова, «мужиковствующего» Есенина.

Настойчивым надо быть, а талантливых у них — навалом. Вон Коган в «Думе про Опанаса» у Эдуарда Багрицкого, пришел на Украину и давай крестьян учить порывам эпох, давай подсыпать пахарям и сеятелям политического жару, быстро забегали, заскучали по степям аборигены!.. Великое берут нахрапом, с наскока, и перчатки белые — не для атакующих, а для томящихся придворных барышень.

Однажды я заметил:

В понедельник — когорта наших газет посвятила статьи или же комментарии к портрету великого поэта Бориса Пастернака. Во вторник — газеты шумно заговорили о великом поэте Иосифе Бродском, получившем Нобелевскую премию. В среду — рассуждали о великом артисте, певце, мыслителе и страдальце Владимире Высоцком, требуя памятник ему и музей на Таганке.

В четверг — на страницах тех же газет замелькали фотографии Александра Галича, сопровождаемые подписями-всхлипами: ах, кого Россия потеряла, простоволосая дуреха, даже лежит Александр Галич не в центре Москвы, а на чужбине, далеко от милой России.

В пятницу — оголтелая когорта подробно отображает бои Осипа Мандельштама, уже, с их позволения и коронования, классика, с вождем и полководцем племен и народов Сталиным. Задирается Осип Мандельштам первый, потом гневается он, Сталин. Осип, русский классик, срочно пишет примирительно-угодническое стихотворение, но, как доказывает критика, данное угодничество — бунт, и опять против Сталина, опять Осип наносит сокрушительный удар по Сталину, и снова — повторение мятежа, баталии, визг, позорящий скорбную судьбу Мандельштама.

В субботу — в Доме литераторов перед поклонниками выступает Наум Коржавин, вознесенный до небес корешами, сумевшими спастись в России, когда неистовый Наум Коржавин уехал, не снеся ига издевательств, неправд и маеты. Но вдруг из Тель-Авива, из обетованного рая Наум Коржавин обратил тоскующие очи на серую Россию, прилетел, уважил нас, русских. Да, русскому Науму Коржавину, как Ивану Тургеневу, невозможно коротать годы в разлуке с Россией, нет у него сил удержаться, сел в самолет — и дома, в «Цедике»,— так зовут они свой Дом литераторов...

В воскресенье — общий, хоровой гвалт когорты тех же газет во славу названных мною имен, гвалт по радио, по телевидению, гвалт со сцен библиотек, институтов, дворцов культуры, школ... Нормально ли такое? Добровольно ли такое творится? Нужна мощная организация!

Неужели, чтобы о тебе шумели центральные, областные и районные газеты, надо родиться Наумом Манделем, стать Коржавиным (либо кем-то другим — не в Коржавине дело), писать на русском языке, ненавидеть русское, выть о русском в закордонье, издавать антирусские листки, организовывать уголки русской культуры за рубежами России, носить русские псевдонимы и подменять русских на земле, на воде, на небе?

А куда девать самих русских: их композиторов, художников, их ученых? Отправлять — в дояры, в маляры, в шахтеры? Они будут находиться при деле, некогда, да и незачем им тосковать по прекрасному и родному! А куда девать еврейский народ и его древний язык у нас, в СССР? Куда? Кому поручить тысячелетнюю историю евреев? Русским? Узбекам? Татарам? Немцам? Кому?

Лев Давыдович Троцкий произносил: «Нельзя армию строить без репрессий. Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. Надо ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади». И еще добавил, ликуя: «Чтобы победить белых, мы ограбили всю Россию»...

Да, чужому чужое не жаль. Сколько в словах Льва Давыдовича кровавой самоуверенности! Пришел — назначил, наказал — расстрелял, пустил за «общее классовое» дело в расход. Не надо знать чужие боли, чужие муки, чужие привязанности, чужие пляски, чужие песни, не надо: сами сочиним, спляшем, споем, ведь расстреливать чужих не жаль, почему же будет жаль искажать их слово, их музыку? Наша — лучше, наша — новая, наша! А имена — пригодятся. Звучные имена!

Кто обязан жалеть чужие памятники, чужие храмы, жалеть чужих заключенных, чужие родники и реки, чужое здоровье, чужое наследство? И лучшая популярность — охаивание России, когда ты за границей, когда ты за столом у тех, кто подкармливает сбежавших до тебя. Лев Троцкий уничтожал, расказачивал, раскрестьянивал — и ничего: отпустили, да еще прихватил с собой вагоны добра, а тут покритиковать русских нельзя, — чушь!

Счастливо получившая в свои гены брызгу Толстых, молодая писательница Татьяна Толстая так жаловалась западным читателям на Юрия Бондарева, Валентина Распутина, Василия Белова, Петра Проскурина, Михаила Алексеева, Анатолия Иванова по радио «Свобода», что ее, бедную, было стыдно слушать: и неумехи-то они, и неграмотные-то они, и внеисторические, а она — колосочек «интеллигентной интеллигенции». Дай такой волю — хлестче Льва Троцкого понатворит.

Ложь имени, подмена имени, ложь дела, подмена дела, призвания — жестокость эгоистической древней жажды — быть впереди, быть в сытости и тепле, а цена — нуль, платят другие народы, другие люди. Не об этом ли у Маяковского:

Пей, Даша!
Пей, Паша!
Все равно
за вас
заплатит папаша.

Платит народ. Платит — рублем... Платит — кровью... Платит — нищетой... Но, оказалось, нахрапистость, садизм, преступление, запущенные в чужой народ, возвращаются к тебе, мажут кровью тебя самого, грозно бегут к источнику, откуда пущены.

Мессия-Троцкий собирался наставить Новый Свет, Америку, как наставил Россию, на путь истинный — и убили! Дикари. Так и остались жить с недоразвитым вкусом.

Не думал и Лев Авербах о пуле, припасенной ему его же судьбою...

Зачем Сергей Есенин назвал в поэмах имена Троцкого, Зиновьева, Бухарина, если не благоговел перед ними? Значит, и Сергей Есенин — «врио» (это некто Воздвиженский со страниц «Юности» подал голос) не тот — не великий, как Пастернак, Бродский, Галич, Коржавин, Высоцкий, Мандельштам?

Сергей Есенин называл их, эти имена, искренне, пока не ужаснула его чужая, катящаяся по России казнительная жестокость.

Известно, что Авербах доводился родственником Троцкому и Ягоде, а Каменев был женат на сестре Троцкого. Горький, испытывая постоянную травлю со стороны Зиновьева в Петрограде, не мог найти поддержку у Каменевых в Москве, а значит — в Кремле: Каменев, большевик видный! Вот как сказал об этом в то далекое время известный русский поэт Владислав Ходасевич в записке «О Горьком», опубликованной у нас лишь 12 марта 1989 года в газете «Советская Россия»:

«Помимо личного раздражения в словах Каменевой, может быть, следует расслышать отголосок другой, более упорной и деятельной вражды, несомненно сыгравшей важнейшую роль в жизни Горького и в истории его отношений с Советским правительством. Я имею в виду нелады с Григорием Зиновьевым, всесильным в ту пору комиссаром Северной области, смотревшим на Петербург, как на свою вотчину.

Когда и почему и как начали враждовать

Горький и Зиновьев, я не знаю... Зиновьев старался вредить Горькому, где мог и как мог. Арестованным, за которых хлопотал Горький, нередко грозила худшая участь, чем если бы он за них не хлопотал». Лев Авербах изматывал не только Платонова, авербаховцы «разделывали под орех» Серафимовича и Шолохова, и вокруг них — широко «охватывали» русских «писателей-шовинистов»!.. Современным продолжателям поиска «черносотенцев и шовинистов» ходить за уроками куда-то нет надобности: своеобразная «хрестоматия оярлычивания» — перед носом...

Конечно, Сергей Есенин — шовинист. И русский народ — шовинист. Только твердолобый народ-шовинист поставит в центре своей столицы памятники Марксу, Свердлову, Дзержинскому, Энгельсу, Димитрову, Воровскому, чуть в стороне — Тельману, Зорге, и чуть в стороне — Махатме Ганди, Индире Ганди, назовет именами зарубежных прогрессивных деятелей сотни городов и поселков, тысячи улиц, клубов, заводов, фабрик. Только народ-шовинист.

Только народ-шовинист не отметит в Москве памятником имя своего спасителя — Дмитрия Донского, только народ-шовинист будет медлить и с памятником бессмертному полководцу — маршалу Георгию Константиновичу Жукову.

А имена сбежавших и полусбежавших, склоняемые ежедневно в газетах, по радио и телевидению, имена, набившие нам оскомину, называют люди-интернационалисты, объективные люди, широкие, не групповые, не клановые... Помолчали бы, погодили бы с упреками ретивые критики, оседлавшие газеты и журналы ради раздражения, ради скандала, ради межнациональной грызни, помолчали бы!

Дутое, наглое пророчество Льва Давыдовича Троцкого закатилось, а созданные им теория и модель лагерей обернулась миллионами жертв культа личности. Безнаказанная самоуверенная тяга руководить, сочинять, исполнять за других, не за себя, а за чужой народ, — падет, и не принесет носителям лжи ни равновесия, ни покоя.

Спит ковыль. Равнина дорогая,
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь.

Знать, у всех у нас такая участь,
И, пожалуй, всякого спроси —
Радуясь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живется на Руси.

Пусть злобствующий имитатор еще раз прочитает эти строки Сергея Есенина, действительно великого русского поэта, и, может, поймет: подражать русскому человеку, видимо, не сложно, но быть русским — сдвигать скалы!..

Елена ВЯЛОВА-ВАСИЛЬЕВА

«ПРО МЕНЯ Ж, БЕДОВОГО, СПОЙТЕ ВЫ...»

О ТРАГИЧЕСКОЙ гибели моего мужа, поэта Павла Николаевича Васильева, я узнала, лишь вернувшись в Москву после девятнадцатилетнего вынужденного отсутствия. Это был 1956 год. Мне потребовалось немало времени, чтобы я смогла взяться за воспоминания о муже.

Один из друзей посоветовал: «Уезжайте куда-нибудь, уединитесь, сосредоточьтесь и попробуйте восстановить в памяти все, что вы помните о Павле: отдельные эпизоды, случаи, штрихи... Пишите ежедневно о том, что вам вспомнится, не заботясь даже о последовательности событий во времени. Ваша цель сейчас — извлечь из «архива памяти» все, что в нем заключено».

Так родились эти записки.

...А началось все ранней осенью 1932 года, когда мне после долгих и бесплодных хождений на Биржу труда, посчастливилось устроиться на работу секретарем общего отдела в издательство «Советская литература». В то время оно помещалось в Доме Герцена (Тверской бульвар, 25), там, где сейчас находится Литературный институт. Работа в издательстве была живая, интересная. Ежедневные встречи с авторами, знакомства... Каждый день обещал что-то новое.

Однажды вечером мне пришлось дольше обычного задержаться на службе. Давно смолкла трескотня пишущих машинок, посетители разошлись. Ушел и главный редактор издательства Г. Цыпин. Наступила необычная для этого помещения тишина. Только из подвальчика, что был под нами, доносился звон ножей и вилок, долетали смех и обрывки фраз. Литераторы любили сходиться вечером в этом ресторанчике, засиживаясь иногда до полуночи.

Хотелось спуститься вниз, но срочная сверка рукописи приковала меня к месту. Я сидела за столом, углубившись в работу, как вдруг дверь резко распахнулась и кто-то стремительно промчался через приемную к кабинету главного редактора. Через несколько секунд вновь послышались шаги. Подняв голову, с любопытством стала ждать запоздалого посетителя. Он вышел так же стремительно, как и вошел, но вдруг вернулся, постоял некоторое время в раздумье, завязал шнурок на ботинке и снова вышел. На меня он не обратил никакого внимания, как будто меня тут и не было. Но, несмотря на всю внезапность его появления и ухода, я успела заметить, что он выше среднего роста, строен, широкоплеч, с копной кудрявых, темно-русых, слегка золотистых волос, что у него скуластое лицо и чуть раскосые глаза...

...Спустя несколько дней я зашла к Гронским — моей родной сестре и ее мужу Ивану Михайловичу. И. М. Гронский в то время работал ответственным редактором газеты «Известия» и журнала «Новый мир», был председателем оргкомитета Союза писателей, словом, весьма заметной в литературных кругах фигурой.

Сестра, сославшись на занятость хозяина, пригласила к себе в комнату. Нашу тихую беседу прервал Иван Михайлович, предложив пойти послушать новую поэму «замечательного поэта, который сидит сейчас в соседней комнате».

Мы с сестрой молча переглянулись. Сказать по правде, нам не хотелось идти и не хотелось слушать, так как недавно нас уже угощали одной «неопубликованной поэмой». Жаль было потерянного вечера. Поэма оказалась скучной, тягучей — о травках, ручейках и камешках.

Неохотно переступила я порог соседней комнаты и... увидела того самого стремительного молодого человека, приходившего в издательство. Нас познакомили. Я уловила острый взгляд его зеленых глаз.

— Васильев, Павел Николаевич, — опередил юношу Иван Михайлович. — Поэт-сибиряк. Я уже знаком кое с какими произведениями Павла Николаевича, а сейчас давайте послушаем его первую большую поэму.

При этом он обнял Васильева за плечи, подвел к столу и усадил. Перед гостем не было ни тетради, ни исписанных листов — ничего. На некоторое время в комнате наступила тишина. Васильев медленно поднялся, обошел стул,

положил руки на его спинку. Полные, резко очерченные губы мягко улыбнулись, и спокойным четким голосом он начал читать:

Что же ты, песня моя,
Молчишь?
Что же ты, сказка моя,
Молчишь?
Натянутые струны твои —
Камыш,
Веселые волны твои,
Иртыш?

Редко приходилось слышать столь блистательное чтение собственных стихов. Стало немного не по себе, когда, чуть склонив голову, он с затаенной угрозой произнес:

Атаман, скажи-ка, по чьей вине
Атаманша-сабля вся в седине?
Атаман, скажи-ка, по чьей вине
Полстраны в пожарах, в дыму, в огне?

Голос иногда снижался до чуть слышного шепота, но слова выговаривались четко.

Так я впервые услышала «Песню о гибели казачьего войска».

Замерло последнее слово. Васильев обвел всех взглядом и сел за стол. Видно было, что поэт устал. Непокорные волосы немного растрепались, а глаза лукаво смотрели на нас: «Что, здорово? Знай наших!»

...В тот вечер мы долго засиделись за ужином. Павел Николаевич оказался на редкость остроумным рассказчиком. Держался он скромно, но свободно. С интересом слушали мы его рассказы о Дальнем Востоке, золотых приисках, о его скитаниях по Сибири.

Было уже далеко за полночь. Павел пошел меня провожать. Мы вышли на улицу. Проходя мимо одного из уличных фонарей, он остановился, взял меня за плечи, повернул к свету и пытливо вгляделся в мое лицо:

— Послушайте, у вас глаза маленькой речной русалки. Да и ваше лицо мне знакомо.

— Ну конечно же,— улыбнулась я.— Вы видели меня в издательстве. Эта русалка плавала среди чужих рукописей.

Я напомнила ему о нашей «первой встрече». Он наморщил лоб, долго думал, а потом сказал:

— Нет. Я помню, как однажды поздно заходил в издательство, но вас я там не видел,— помолчал, потом решительно добавил: — Нет, не видел.

Он проводил меня до дому. Мы попрощались, не условившись о новой встрече. Но она состоялась на другой день неожиданно для меня.

В обеденный перерыв, как обычно, я спустилась в подвальчик. Каково же было мое удивление, когда за одним из столиков увидела Павла Васильева. А ведь его я там никогда не встречала...

...Теперь мы виделись почти ежедневно. Если я не спускалась в столовую, Павел поднимался ко мне в издательство.

Однажды среди зимы я простудилась и несколько дней не была на работе. Лежала дома с какой-то скучной книгой.

Слышу, в прихожей мужской голос спрашивает меня. Наскоро приведя себя в порядок, я открыла дверь и увидела Павла. Он стоял, широко улыбаясь. Его пыжиковая шапка и пальто были сплошь облеплены снегом. Даже на бровях лежали белые полоски. Обрадовалась, но смутилась ужасно: у меня в доме он был впервые.

Я пригласила его в комнату. Расспросив обо всех последних событиях, попросила почитать что-нибудь из новых стихов.

Особенностью Павла Васильева было то, что его не нужно было дважды просить читать. Это не было стремлением блеснуть. Нет! Читать свои произведения он считал таким же естественным состоянием, как разговаривать...

...За всю нашу совместную жизнь мне никогда не приходилось видеть праздного Павла. Если он не писал, то в его руках всегда была книга, газета или какая-нибудь рукопись, данная в издательстве для прочтения. Комната вечно была завалена книгами, журналами — всем тем, где только есть печатное слово.

Прежде чем сесть за завтрак, он бегло просматривал утреннюю корреспонденцию, а за столом уже основательно прочитывал то, что привлекло его внимание. Это меня всегда приводило в ярость. Первое время я настойчиво высказывала свое недовольство, а потом смирилась, так как на мои замечания все время получала один и тот же ответ:

— Послушай, Елочка, жизнь человека, к сожалению, слишком коротка, а так много нужно еще узнать...

Работоспособность Павла была исключительной. Он мог писать в любое время и в любых условиях: на подоконнике общего номера гостиницы, на сеновале, на скамье бульвара, в шумном плацкартном вагоне.

Когда рождались стихи, он стремился их тут же записать. Как-то мы приехали в Салехард — тогда еще совсем маленький городишко. Гостиницы не было — поселились в Доме колхозника — небольшом двухэтажном здании, где на первом этаже помещалась столовая. Утром спустились завтракать. Сели за покрытый белой клеенкой стол. Вдруг Павел достал карандаш и начал что-то быстро-быстро писать на клеенке.

— Подожди! Сейчас я схожу наверх, принесу тебе бумагу.

Убежала к нам в комнату, а когда вернулась, увидела: сидит очень смущенный Павел, а перед ним стоит буфетчик и мокрой тряпкой протирает стол...

...Однажды утром, проходя по Тверскому бульвару, мы с Павлом встретили Клюева.

Отец Миколай, как звали его за глаза близкие знакомые, был в сапогах, поверх косоворотки надето что-то вроде зипуна.

— Здравствуйте, Николай Алексеевич. Как живете? — поздоровался Павел.

— Ну что ж ты, кутенька-ляля. Как же я живу-могу. На осиновом полене сплю.

— Как так?

— Да вот так, на осиновом полене.

Клюев куда-то спешил, и потому разговор наш длился не более пяти минут. Дома Павел сказал мне, что Николаю Алексеевичу необходимо помочь, послать ему хотя бы подушку. Я отобрала несколько простынь, подушку, байковое одеяло, завязала в узел, и через знакомых мы передали все это Клюеву.

Прошло какое-то время.

— Хочешь, зайдем к Клюеву? — спросил меня как-то Павел.— Это в Гранатном переулке, здесь рядом.

Я согласилась, и через несколько минут мы уже спускались по ступенькам к клюевской квартире — он жил в полуподвале. Самого хозяина дома не было. Дверь нам открыл постриженный по-деревенски отрок в русской рубашке и лаптях. Мы вошли в крохотную прихожую. С левой стороны — плитка, справа — вешалка, под вешалкой валялся цилиндр. Павел сказал, что это цилиндр Есенина. Лежит он здесь давно. Клюев бросил его под вешалку в знак протеста против любых проявлений цивилизации.

Прошли в комнату. Обстановка ее меня поразила. В углу было невероятное количество икон. Возле иконостаса — лампада, с опущенной в нее электрической лампочкой. Вдоль стен стояли деревянные резные скамьи, на вид им было лет по триста. Рядом — небольшой столик, на нем — огромных размеров книги.

— Рукописные библии,— объяснил Павел.

Над столом висел сшитый из лоскутов ковер [1]. Горка с посудой чуть ли не екатерининских времен.

Я заглянула в примыкавшую к этой комнате спаленку. Снова была поражена обилием икон. Но, пожалуй, не меньшее впечатление произвела на меня кровать. Почти до потолка громоздились на ней подушки, полдюжины — не меньше. Я рассмеялась, вспомнив «осиновое полено», на которое жаловался Клюев...

...Помню, как во время декады казахской литературы и искусства в «Новый мир» пришли писатели из Казахстана.

— Послушайте, Иван Михайлович,— обратились они к редактору,— какого такого Мухана Башметова вы печатаете?

О, я гордец! В письме набивший руку,
Слагавший устно песни о любви,
Я не постиг прекрасную науку,
Как возвратить объятия твои.
Что делать мне, как поступить? Не знаю!
Великая над степью тишина.
Да, тихо так, что даже тень косая
От коршуна скользящего слышна.

— Стихи, конечно, хороши. Но такого поэта у нас нет.

Иван Михайлович покосился на сидящего тут же Павла:

— Это его надо спросить. Он переводчик.

---

[1] У северных народов был обычай: каждая девушка должна была вышить лоскут. Рисунок говорил о ее настроении: счастлива она, нет ли, радостна или грустна и т. д. Эти лоскуты вешали на «священное дерево». Через определенное время их снимали, сшивали, подбивали рысьим мехом и получившийся ковер дарили шаману (примеч. автора).

И только когда Павлу уже некуда стало деться, он признался:

— Это я все написал. Хотел, как Козьма Прутков. Чтоб был целый цикл о Казахстане под этим именем.

— Так ты ж получал за стихи пятьдесят процентов, как переводчик,— тут же сообразил присутствовавший при разговоре поэт Сергей Клычков

— Ну и что ж?

— Ну и дурак, ничего больше...

...Деньги для Павла, несмотря на ежедневный труд, подчас превращающийся в изнурительную, опустошающую душевную пытку, имели какое-то абстрактное значение. Казалось, что они тяготят его. Бывало, получая гонорар в редакциях, Павел подымал пачку высоко над головой и громко, с расстановкой произносил: «Страждущие! Не стесняйтесь и подходите!» Бравшим добавлял: «Вернешь словами».

Когда бабушка Павла, Мария Федоровна, получив от внука двести рублей «на церковные свечки», спросила, откуда такие деньги, Павел только улыбнулся:

— Эх, бабушка, я ведь деньги из дыма делаю,— и, помолчав, добавил: — Ну а потом из денег делаю дым.

Отчетливо помню один летний день. Рано утром нас разбудил телефонный звонок. Звонил Гронский с предложением поехать к ним на дачу в Подсолнечное. Этот день был у Павла свободен, он согласился, и вскоре синий «бюик» уже сигналил под нашими окнами. Быстро миновав уже заполненные людьми улицы, мы выехали на Ленинградское шоссе.

Настроение у Павла было прекрасное. Он пел какие-то частушки, сочиняя их тут же на ходу, озорно на нас посматривая.

Солнце стояло уже высоко. Но от быстрого хода машины, идущей по ровному шоссе, мы не ощущали зноя.

Внезапно шофер резко затормозил. За поворотом дорогу перекрывал шлагбаум с табличкой «Тише ход!», оставляя сбоку узкое место для проезда. Дальше шоссе было перерыто. Всюду громоздились горы земли и песка. Экскаваторы, скрежеща гусеницами, сыпали целые ковши породы в кузова грузовиков, отчего машины вздрагивали и как бы глубже уходили колесами в землю. Десятки мужчин, обнаженных до пояса, работали с лопатами, кайлами и носилками. Их тела, лоснящиеся от пота, казались лакированными фигурами, вырезанными из темного дерева. У некоторых на головах были выцветшие кепки, у других же головы были повязаны носовыми платками с узелками на углах. Но легко можно было заметить, что волосы у всех чисто сбриты. В стороне я заметила военных, стоявших в ленивой позе, опершись на винтовки. Сначала мне показалось, что они наблюдают за работой, но оказалось — за людьми.

На мой удивленный взгляд Павел произнес одно слово:

— Заключенные.

Из-за плохой дороги наша машина шла очень медленно. Многие из работавших провожали нас хмурыми взглядами. В одном месте нам пришлось остановиться — шоссе перегородил тягач, перетаскивающий огромную трубу. Павел, сдвинув брови, осматривался по сторонам.

Заметив рядом более чисто и опрятно одетого заключенного, Павел попросил его подойти к машине. Стрелок, заметив движение бригадира, которым оказался заключенный, громко крикнув на ходу «Не разрешено!», почти бегом приблизился к нам. Многие с любопытством повернули головы в нашу сторону и стояли, прислушиваясь к разговору. А Павел, зная, что расспрашивать людей, лишенных свободы, об их судебных делах запрещено, завел самый невинный разговор — о бытовой стороне жизни лагеря, спросив, между прочим, есть ли при лагере ларек.

— А как же, конечно, есть. Не хуже Елисеевского магазина, что на Тверской,— широко улыбнулся охранник, довольный своей остротой.

— А деньги на всю бригаду можно передать, чтобы они купили себе в ларьке то, что им нужно? — спросил Павел.

— Это можно, передайте бригадиру — он у нас лицо доверенное,— ответил охранник, улыбаясь еще шире.

Павел, обернувшись ко мне, показал глазами на сумочку, в которой у меня лежал пакет с деньгами — что-то около двух с половиной тысяч. Эти деньги предназначались к отправке Глафире Матвеевне, матери Павла. Накануне я почему-то не смогла их отправить. Павел об этом знал. Я достала пакет и передала его Павлу, а он, не раскрывая, отдал бригадиру. Бригадир, определивший по толщине пакета, что там немалая сумма, принялся благодарить Павла. Охранник же, округлив и без того круглые глаза, смотрел то на Павла, то на пакет.

В это время тягач перетащил трубу на другую сторону дороги, и шофер, дав газ, быстро повел машину, оставив позади только облако пыли.

Некоторое время все молчали. Встреча с заключенными, которых я видела впервые, произвела на меня тяжелое впечатление. Я не знала вины этих людей, но мне было жаль их, лишенных самого дорогого — свободы. Могли ли мы тогда догадываться, что трое из нас вскоре тоже потеряют ее...

...В конце 1932 года в одиннадцатом номере журнала «Новый мир» должна была появиться первая поэма Васильева — «Песня о гибели казачьего войска».

Для Павла это произведение значило многое. Работа, длившаяся свыше шести лет, была завершена. За это время он написал несколько вариантов поэмы, либо утерянных при частых переездах-скитаниях, либо уничтоженных требовательным к себе автором. Еще в мае 1928 г. он прочел перед аудиторией омских литераторов поэму «Прииртышье», прозвучавшую в форме казачьих запевок. К сожалению, я не могу сказать, когда и при каких обстоятельствах родилось окончательное название произведения, далеко не безобидное для того времени [2].

В то время, когда должен был выйти журнал с поэмой, Васильева не было в Москве. О судьбе своего детища он не знал. Со страхом ждала я возвращения мужа, не зная, как примет он это известие. Павел приехал домой рано утром, радостный, возбужденный, какой-то обновленный и словно бы помолодевший. Больно было омрачать ему радость приезда, но решила — пусть лучше узнает от меня, чем от других, да и никогда он не простил бы мне этого молчания. Сказав о случившемся, с тревогой ждала какой-нибудь бурной вспышки.

Павел как-то сразу обмяк, медленно подошел к письменному столу, тяжело опустился на стул, обхватил голову руками. Я стояла и молчала.

Не отнимая рук от лица, не попрощавшись со мной, как он это обычно делал, когда я уходила на работу, Павел попросил оставить его одного.

В тревоге и смятении прошел у меня день в редакции. Была рассеянна, отвечала невпопад, чем вызвала недовольство редактора.

Едва дождавшись окончания работы, побежала домой, и чем ближе приближалась к дому, тем сильнее росла тревога. То состояние, в котором остался Павел, не предвещало ничего доброго. Но, распахнув дверь в комнату, я увидела его склонившегося над столом. А вокруг — на столе, на диване, на полу были разбросаны исписанные листы бумаги. Я поняла: работает. Тихо закрыла дверь, так как знала, что в такие минуты ничто не должно его отвлекать. Вдруг слышу — зовет меня к себе. Вошла. Он живо поднялся из-за стола, подошел, крепко сжал мои плечи, усадил на диван и, приблизив свое лицо к моему, сказал:

— Знаешь что, Елочка, не думай — эта неудача не выбила меня из колеи. Нет! Я только стал злей. Ты еще прочтешь не одну и не две мои поэмы, о которых заговорят и которые признают. Я свою силу знаю и верю, что со временем мое имя будет не последним. А сейчас? Что сейчас я представляю из себя как поэт? Ни-че-го!..

Так Павел начал работу над поэмой «Соляной бунт».

...Павел Васильев легко наживал себе врагов. Это не удивительно. Непосредственность, открытость и горячность его натуры не могли ужиться с отрицательными сторонами бытовавшей тогда групповщины, с ее подсиживаниями, демагогией и т. п. Скандалы и даже «хулиганство», о которых стали поговаривать, были пусть слепым, во многом неправильным, но все же протестом против той литературной среды, в которой он оказался.

Сейчас было бы глупо скрывать пристрастие Павла к дружеским пирушкам. Иногда он перехватывал через край. Таких случаев было, к счастью, немного. Но разговоры они вызывали большие. Васильев — большой поэт. Имя его гремело. Поэтому естественно, что все его похождения немедленно становились предметом пересудов, сплетен, шушуканья. Слухи раздували, выдумывали невероятные подробности. Одним словом, все эти истории докатились до А. М. Горького, вызвав его достаточно широко известную статью.

Статья Горького «О литературных забавах» была напечатана 14 июня 1934 года сразу в нескольких центральных газетах:

«Жалуются, что поэт Павел Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин,— писал Алексей Максимович.— Но в то время, как одни порицают

---

[2] Судьба поэмы сложилась драматически. В 1931 году П. Васильев был арестован по так называемому «делу сибирских писателей». Арестованы были также Н. Анов, Л. Черноморцев, Л. Мартынов, С. Марков. В произведениях бывших сотрудников журнала «Сибирские огни» кто-то обнаружил «симпатии к белому движению», «воспевание колчаковщины» и т. д. Дело, правда, как-то удалось замять. Васильев и Черноморцев были освобождены, остальные писатели получили высылку. «Песню о гибели казачьего войска» принял «Новый мир». Уже вышел сигнал ноябрьского (1932 г.) номера журнала, где поэма была набрана, когда в редакцию позвонил зав. культпропом ЦК ВКП(б) А. И. Стецкий, предложивший воздержаться от печатания «Песни...». Мотивировалось это тем, что «материалы следствия по делу сибирских писателей получили для ознакомления члены Центрального Комитета. Публикацию поэмы могли счесть как противопоставление позиции журнала позиции следственных органов...» **(Здесь и далее примечания Д. Гронского и Н. Белова.)**

хулигана,— другие восхищаются его даровитостью, «широтой натуры», «его кондовой мужицкой силищей» и т. д. Но порицающие ничего не делают для того, чтобы обеззаразить свою среду от присутствия в ней хулигана, хотя ясно, что, если он действительно является заразным началом, его следует как-то изолировать. А те, которые восхищаются талантом П. Васильева, не делают никаких попыток, чтобы перевоспитать его. Вывод отсюда ясен: и те и другие одинаково социально пассивны, и те и другие по существу своему равнодушно «взирают» на порчу литературных нравов, на отравление молодежи хулиганством, хотя от хулиганства до фашизма расстояние «короче воробьиного носа».

Говоря о «восхищающихся», но «ничего не делающих, чтобы перевоспитать», Горький, очевидно, намекал на мужа моей сестры. Узы семейного родства, которые связывали Гронского и Васильева, давали повод всевозможным рассуждениям типа: Вот, мол, Васильеву легко печататься, когда у него родственник в «Новом мире» сидит. И вообще, мол, поэт привык прятаться за «сильных мира сего». Думаю, что это неверно. Гронский-редактор действительно много печатал Павла в «Новом мире», но порой в том же журнале Васильеву крепко доставалось от Гронского-критика.

В статье Горького есть еще одно упоминание о Васильеве. Алексей Максимович цитирует письмо «партийца, ознакомившегося с писательской ячейкой комсомола».

«...Несомненны чуждые влияния на самую талантливую часть литературной молодежи. Конкретно: на характеристике молодого поэта Яр. Смелякова все более и более отражаются личные качества поэта Павла Васильева. Нет ничего грязнее этого осколка буржуазно-литературной богемы. Политически (это не ново знающим творчество Павла Васильева) это враг. Но известно, что со Смеляковым, Долматовским и некоторыми другими молодыми поэтами Васильев дружен, и мне понятно, почему от Смелякова редко не пахнет водкой и в тоне Смелякова начинают доминировать нотки анархо-индивидуалистической самовлюбленности, и поведение Смелякова все менее и менее становится комсомольским...»

Статья Горького больно задела Павла, однако оптимизма не лишила. Алексей Максимович писал, что Васильева надо «изолировать», дабы он не оказывал дурного влияния на молодых поэтов. Уже через несколько дней после выхода статьи из уст в уста передавалась васильевская эпиграмма:

Пью за здравие Трехгорни.
Эй, жена, завесь-ка шторни,
Нас увидят, может быть,
Алексей Максимыч Горький
Приказали дома пить.

Иван Михайлович рассказывал, что когда Горький услышал от него эту эпиграмму, то долго смеялся, хотя можно было и обидеться. «Приказали». Ведь так в прежние времена говорили о своих господах: «барин приказали», «барыня приказали».

Разумеется, реакция Павла на статью не исчерпалась только эпиграммой. Он обратился к Алексею Максимовичу с открытым письмом, где обещал «исправиться».

Ответил Васильеву и Горький:

«Я не стал бы отвечать Вам, Павел Васильев, если бы не думал, что Вы писали искренне и уверенно в силе Вашей воли. Если этой воли хватит Вам для того, чтобы Вы серьезно отнеслись к недюжинному дарованию Вашему, которое — как подросток — требует внимательного воспитания, если это сбудется, тогда Вы, наверное, войдете в советскую литературу как большой и своеобразный поэт.

О поведении Вашем говорили так громко, писали так много, что я должен был упомянуть Вас — в числе прочих, как Вы знаете. Мой долг старого литератора, всецело преданного великому делу пролетариата,— охранять литературу Советов от засорения фокусниками слова, хулиганами, халтурщиками и вообще паразитами. Это не очень легкая и очень неприятная работа. Особенно она неприятна тем, что как только дружески скажешь о ком-либо неласковое или резкое слово — то тотчас же на этого человека начинают орать люди, которые ничем не лучше его, а часто хуже...»[3]

---

[3] Несмотря на всю дружелюбность тона горьковского письма Васильеву, Алексей Максимович продолжал относиться к поэту весьма настороженно. 25 октября 1934 г. редактор журнала «Колхозник» В. Зазубрин, заботясь о следующем номере журнала, писал Горькому:

«Я не включил в план еще стихи, т. к. не уверен, что Вы дадите амнистию поэтам. Однако стихи посылаю Вам... Павел Васильев — человек Вам известный, и Вы понимаете, конечно, что печатание его в нашем журнале может вызвать злобные шепотки со стороны некоторых литературных группочек. Я лично пренебрегаю всем этим, поэтому и посылаю Вам Васильева.

Я вычеркнул красным карандашом те места из поэмы, которые послужили материалом для обвинения автора в симпатиях к кулацкому укладу жизни — «В горних избы крашены» и т. д. ...»

Горький ответил Зазубрину 3 ноября.

«Песню юраков (имеется в виду перевод с юракского Фил. Дудорова.— **Ред.**) печатайте. Васильева — **не надо»**.

Горький как в воду глядел. «Орать» стали сразу после опубликования статьи. «Литературная газета» сообщала, что только за неделю в Москве состоялось три больших собрания, посвященных обсуждению «Литературных забав». И хотя Павел отнюдь не был «главным героем» статьи, зато стал «главным героем» этих обсуждений. А определение, что «от хулиганства до фашизма расстояние «короче воробьиного носа», стало буквально крылатой фразой и цитировалось почти во всех статьях, где речь шла о Павле Васильеве.

Чтобы закончить разговор о «Литературных забавах», я хотела бы вспомнить об одной фальсификации, которую я обнаружила лишь в 1956 году. В цитируемом Алексеем Максимовичем «письме партийца» досталось, конечно же, не только Павлу Васильеву и Ярославу Смелякову. Следующим объектом критики был тоже поэт, однофамилец Павла Васильева — Сергей.

«...О Смелякове мы говорили. А вот — Васильев Сергей, он бьет жену, пьянствует...» и т. д.

Каково же было удивление тех, кто хорошо помнил горьковскую статью, когда в ее последующих переизданиях обнаружилось, что все грехи Сергея Васильева таинственным образом переадресованы Павлу. Сделали это просто: имя «Сергей» заменили на «Павел».

Я ни в коем случае не берусь обвинять автора широко известных песен в этой «опечатке». От кого исходила инициатива, узнать сейчас, пожалуй, невозможно. Хотя о мотивах догадаться несложно — «мертвому и оклеветанному поэту хуже уже не сделаешь, а вот живому, ох, как могли повредить напоминания о грехах молодости».

Павел почти не встречался со своим однофамильцем. Однако заочным чувством была неприязнь. В начале тридцатых совсем еще юный Сергей Васильев подрабатывал, читая свои стихи в кинотеатре «Художественный» перед началом сеанса. Публика наивно полагала, что перед ней — автор нашумевшего «Соляного бунта». Павла Васильева, считавшего чтение стихов по кинотеатрам чуть ли не позорным занятием для уважающего себя поэта, такие «перепутывания» приводили в бешенство. Во время одной из случайных встреч Павел предложил Сергею «быстренько взять псевдоним, назваться хотя бы «Курганом», по названию города, откуда приехал». Так Павел нажил себе еще одного недоброжелателя.

Зачем нужно было вспоминать эту историю? Просто во всех посмертных изданиях статьи Горького упомянутая фальсификация сохранена. Этому пора положить конец, тем более что сейчас выходит в свет новое академическое издание Горького. На Павла Васильева вылили и без того немало грязи...

«...В Васильеве под тонкой оболочкой бурлили различные страсти, было нечто трагическое в его проказах и вспышках,— вспоминала Галина Серебрякова, хорошо знавшая поэта.— Трудный это был человек и для самого себя и для всех окружающих...» Неудивительно, что в условиях, которые способны довести до отчаянья самого сильного и стойкого человека, Павел давал волю чувствам. Он то ожесточался и нередко буянил, то замыкался и становился недоверчивым к людям. «Держался он почти всегда ершисто,— пишет Серебрякова.— Но за этой грубостью я вскоре усмотрела своего рода «защитную функцию». Поэт склонен был видеть в людях желание унизить его». Отсюда многочисленные конфликты с писателями, отсюда продолжение «ресторанных историй», связанных с именем Павла. Долго так продолжаться не могло.

10 января 1935 года «Литературная газета» опубликовала постановление об исключении Павла Васильева из Союза писателей. Не скажу, что Павел воспринял это постановление совсем равнодушно, но и убиваться не стал. Он не пользовался никакими льготами союза — ни дачами, ни путевками, ни пайками... А о том, что писательская организация могла бы гарантировать Васильеву защиту его «правовых и экономических» интересов (как записано в уставе), просто и говорить смешно. Для Павла не было секретом, что среди его коллег-литераторов на одного доброжелателя приходится сразу десять недругов.

Васильева перестали печатать.

Кому-то показалось, что и этого мало. Наверное, даже вынужденно замолчавший поэт слишком пугал завистников своей величиной, и поэтому «дело об избиении», которое рассматривал народный суд Краснопресненского района в июле тридцать пятого, было логическим завершением — нет, не васильевских проступков, а той кампании травли, которая преследовала поэта на протяжении всех недолгих лет его творчества.

На поэтическую вечеринку, которую устроил у себя Джек Алтаузен, был приглашен и Васильев. Во время застолья хозяин квартиры позволил себе грубые, циничные высказывания в адрес одной общей знакомой. Павел потребовал, чтобы Алтаузен взял свои слова назад. Тот отказался, за что и поплатился пощечиной.

Так описывал инцидент сам Павел. Даже если он как лицо заинтересованное в чем-то смягчил свою роль в происшедшем, все равно картину, которую

нарисовали авторы письма в редакцию «Правды», объективной никак не назовешь[4].

Видно, от Васильева всерьез решили избавиться, раз документ этот пришлось подписать не только явным недоброжелателям поэта — Безыменскому, Суркову, Инбер,— но и людям, с которыми у Павла складывались добрые отношения. Васильев был дружен с Корниловым (который, кстати, жил в Ленинграде и потому не мог наблюдать «масштабов васильевского хулиганства»), уважал и любил Николая Асеева. Васильев сумел сохранить эти чувства даже после тюрьмы, куда его не замедлили отправить после «Письма двадцати». «...Не могу удержаться от того, чтобы не послать Вам и Ксане мои приветы и низкие поклоны. Я страшно Вас люблю и часто вспоминаю,— писал Васильев Асееву в августе 1936 года.— Месяца через полтора увидимся, и я вновь с бо-о-льшущим удовольствием пожму Вашу хорошую золотую руку...»

Автор письма в редакцию «Правды» (я все же надеюсь, что письмо это — не плод коллективного творчества всех двадцати подписавших его литераторов) говорил о «литературных молодчиках», которыми окружил себя Васильев. Сейчас трудно сказать, о ком шла речь. У Павла спустя двадцать с лишним лет после его смерти появилось очень много «друзей», «закадычных приятелей», называвших поэта «просто Пашкой». При жизни же он был близок с очень немногими. Из своих ровесников по-настоящему дружил разве что со Смеляковым и Корниловым, часто встречался с Поделковым и Островым... Все это хорошие поэты, и стали они ими совсем не потому, что от них вовремя «изолировали» Павла Васильева. Наоборот, спустя годы они (исключая, конечно же, Корнилова, который разделил в 1937 году судьбу Васильева) с любовью и болью вспоминали своего погибшего товарища.

Мы шли втроем с рогатиной
на слово
и вместе слезли с тройки удалой —
три мальчика,
три козыря бубновых,
три витязя бильярда и пивной.
Был первый точно беркут
на рассвете,
летящий за трепещущей лисой.
Второй был неожиданным,
а третий —
угрюмый, бледнолицый и худой.
Я был тогда сутулым и угрюмым,
хоть мне в игре —
пока еще — везло,
уже тогда предчувствия и думы
избороздили юное чело.
А был вторым поэт
Борис Корнилов, —
я и в стихах и в прозе написал,
что он тогда у общего кормила,
недвижно скособочившись, стоял.
А первым был поэт
Васильев Пашка,
златоволосый хищник ножевой —
не маргаритной
вышита рубашка,
а крестиком — почти за упокой...

Эти строки напишет в 1967 году Ярослав Смеляков.

Сергей Александрович Поделков очень много сделает для восстановления доброго имени Павла и посмертного издания его стихотворений и поэм.

«...Никто так несправедлив к своим поэтам, как современники. Если бы мы тогда знали, что рядом с нами ходит прекрасный поэт!.. Я очень горд тем, что мне судьба подарила этого человека, подарила встречи с ним...» — так будет говорить Сергей Островой на вечере в ЦДЛ, посвященном 75-летию Павла Васильева.

Но в 1935 году никто и не думал, что спустя пятьдесят лет в ЦДЛ может состояться такой вечер. «Сигналы» же, подобные поступившему в редакцию «Правды», без последствий не оставались.

Пятнадцатого июля мы с Павлом пришли на суд. Какие выступали свидетели, что они говорили — все это я еще тогда постаралась поскорее забыть. Помню только приговор: «за бесчисленные хулиганства и пьяные дебоши» — полтора года лишения свободы.

О том, что это был за суд, можно судить по отчету «Подвиги» Павла Васильева», напечатанному за подписью некоего Дельмана 20 июля в «Литературной газете».

«...На суде Васильев держался, конечно, овечкой, даже признавал себя заслуживающим... порицания за неблаговидный поступок. Дело, мол, в том, что он, Васильев, ворвавшись в квартиру Алтаузена вместе с каким-то пьяным управдомом, которого он выдал за своего «дядюшку» и «грузинского поэта», никаких насилий над Алтаузеном не совершал, а лишь злоупотреблял блатным жаргоном. Правда, жаргон этот отличался самым определенным контрреволюционным содержанием, обнаруживая чрезвычайно неожиданное и разительное сходство с тем казацким фольклором, который Васильев так культивирует в своем творчестве,— но об этом наш герой стыдливо умолчал; столь же стыдливо умолчал он и о своих угрозах «размозжить голову предателю (?!) Асееву», «посчитаться с пролетарскими поэтами, которым скоро конец», и т. д., и уже совсем выпали из его памяти сцены избиения Алтаузена, с запусканием боржомной бутылки в голову, со срыванием с вешалки и бешеным топтанием одежды — за отказ угостить водкой...»

Жаль, что в газету не попали другие, не менее абсурдные слухи о «подвигах» Васильева, передававшиеся тогда из уст в уста, как-то: срубание топором креста на церкви, выкидывание из окна рояля (каким должно быть окно, не говоря уже о том, что работа эта достойна бригады грузчиков), опять же выкидывание в окно мраморного умывальника... Уже в восьмидесятые годы поэт Я. З. Шведов рассказал, что якобы «сам он не видел, но ему говорили о том, как Павел Васильев ходил по Москве с дубинкой и хвастался всем, показывая на ней запекшуюся кровь Джека Алтаузена». Вот на таких и им подобных «фактах» строилось обвинение.

«...Суд восстановил в ослабевшей памяти хулигана все эти факты, так же как и ряд других обстоятельств, отлично дополняющих представление о моральном облике Павла Васильева: избиения домработниц, пьяные оргии с неизбежными драками, проживание в Москве в течение нескольких лет без прописки, дача неправильных сведений о своем возрасте и т. д.

Но ведь признаться во всем этом — значит самому открыть свою идейную наготу, свое моральное убожество, выступить перед своими собутыльниками из числа неудавшихся поэтов в прозаической роли обыкновенного дебошира и громилы. А Васильеву нужна поза, нужны гордые жесты, нужна мина оскорбленного и непонятого гения. И вот он в заключительном слове роняет величественный и скорбный афоризм: «Литератор — литератору волк», желая этим сказать, что он только жертва нездоровой обстановки, господствующей в советской литературной среде.

Лжете, Павел Васильев! Нагло клевещете на советскую литературную общественность, которая мужественно борется за новый, социалистический тип писателя, которая, как ни одна литературная среда в мире, стремится создать и создает у себя атмосферу дружбы, творческого соревнования, чистых и искренне-товарищеских отношений, которая вас вышвырнула из своих рядов, именно из-за ваших волчьих повадок, несовместимых с высоким званием советского писателя. Вам не удастся прикрыть свою уголовную сущность громкими фразами. Вам не удастся скамью подсудимых превратить в пьедестал для монумента самому себе. Вы разоблачены до конца...»

Единственно ценное в этом отчете — фраза Васильева: «Литератор — литератору волк», которую Дельман пытался повернуть против самого поэта. Прав был все же Васильев: с ним расправились именно по-волчьи, стаей.

Павла почему-то не арестовали в зале суда. Еще несколько дней он прожил дома. За ним приехали как-то вечером и, не дав толком собраться, увезли. Утром я позвонила на Петровку, 38, где мне любезно разрешили поговорить с мужем по телефону. Он успел сказать, что завтра его отправляют с этапом в исправительно-трудовой лагерь ст. Электросталь. Потом Павла вернули в Москву — какое-то время он сидел в Таганской тюрьме. А поздней осенью его вновь этапировали. На этот раз в рязанскую тюрьму. Мне удалось передать Павлу теплые вещи.

В Рязань к Павлу я ездила почти каждую неделю. Не знаю, чем было вызвано подобное расположение, но начальник тюрьмы был со мной крайне любезен. Он не только смотрел сквозь пальцы на наши частые и долгие свидания с заключенным мужем, он снабжал Павла бумагой и карандашами — давал возможность писать стихи.

---

[4] Письмо это, составленное при живейшем участии тогдашнего редактора «Правды» Л. З. Мехлиса и подписанное двадцатью писателями, газета напечатала 24 мая 1935 года.

«В течение трех последних лет в литературной жизни Москвы почти все случаи проявления морально-богемских или политически-реакционных выступлений и поступков связаны с именем поэта Павла Васильева.

Последние факты особенно разительны. Павел Васильев устроил отвратительный дебош в писательском доме по проезду Художественного театра, где он избил поэта Алтаузена, сопровождая дебош гнусными антисемитскими и антисоветскими выкриками....

...Васильев окружил себя группой «литературных молодчиков», носителей самых худших богемских явлений...

Мы считаем, что необходимо принять решительные меры против хулигана Васильева, показав тем самым, что в условиях советской действительности оголтелое хулиганство фашистского пошиба ни для кого не сойдет безнаказанным» (См.: «НС», 1988, № 9).

Удивительно, но в тюрьме, где даже у самого жизнерадостного человека оптимизма заметно убавляется (в этом мне пришлось убедиться на собственном опыте), Павел пишет поэму «Принц Фома» — легким пушкинским слогом, полную юмора и иронии.

Помню, как-то зимой я зашла на почту рядом с домом. Случайно взглянула на полочку, где работники почты выставляли на всеобщее обозрение не нашедшую адресата корреспонденцию, а также письма и открытки, показавшиеся им курьезными. На одном из конвертов узнала почерк Павла:

Чтоб долго почтальоны не искали,
Им сообщу с предсумрачной тоской:
М о с к в а, в Москве 4-я Т в е р с к а я,
Та самая, что названа Я м с к о й.
На ней найди д о м н о м е р 26,
В нем, горестном, к в а р т и р а 10 есть.
О почтальон, я, преклонив колени,
Молю тебя, найди сие жилье
И, улыбнувшись В я л о в о й Е л е н е,
Вручи письмо печальное мое.

Павла совершенно неожиданно для меня освободили весной 1936 года.

Я задержалась на работе, и когда вернулась, увидела у дверей узел мужа. Вещи были завязаны в одеяло, которое я отвезла ему в тюрьму. В сильном волнении выбежала я на улицу. В это время к дому подъехала машина. Из окошка выглянула моя сестра:

— Лена, поедем. Павел у нас...

...У другого после таких передряг не то что руки опустились, голос бы пресекся. Но Павлу за последний год своей жизни удалось создать одни из лучших своих произведений — поэмы: «Принц Фома», «Кулаки», «Христолюбовские ситцы». После более чем полуторагодичного перерыва его стихи снова появились в печати. С июня по октябрь в каждом номере печатал «Новый мир» произведения Васильева. Таким потоком новомировских публикаций мог похвастаться тогда разве что Борис Пильняк. Правда, «Христолюбовские ситцы» так и не успели появиться в печати при жизни Васильева. Поэма должна была увидеть свет в третьем номере «Нового мира» за 1937 год. Арест поэта, произведенный органами НКВД в феврале тридцать седьмого, этому помешал. Машинописную копию подготовленной Павлом к печати поэмы сохранил поэт Г. А. Санников, работавший в то время ответственным секретарем редакции журнала. Поступок этот требовал гражданского мужества...

...Когда у Павла было свободное время, он любил ходить пешком по Москве — в любую погоду, будь то холод или жара, дождь или снег. В такие «походы», как он называл эти прогулки, всегда брал меня. Вспоминается январский вечер. Синел снег. Солнце медленно клонилось в морозную мглу. Опускались сумерки. Звонче скрипели шаги пешеходов. Мы переходили Каменный мост. Вдруг Павел остановил меня, показал рукой на дымящиеся полыньи в Москве-реке, на стаи птиц, рассевшихся на голубом снегу, на багрово-красный закат:

— Такую картину нужно где-то написать!

Его «Автобиографические главы» начались словами: «Широк и красен галочий закат»...

...Как-то в один из погожих дней осени я долго бродила по Новодевичьему кладбищу. Мой взгляд упал на один из памятников, настолько простых и скромных, что, кажется, он ничем бы не мог привлечь внимания. На белом мраморе — старые засохшие цветы. Отстранив их рукой, прочла два простых слова: «Отзвучала жизнь». Сколько глубокого смысла и безысходного горя в этих словах. Невольно вспомнила Павла, у которого так же быстро отзвучала жизнь, не успев еще зазвучать в полный голос.

Припомнилось лето 1934 года. С большим букетом роз мы пришли на могилу Чехова. Мы были полны сил, полны жажды жизни, любви ко всему, что окружало нас.

Прими признание простое, —
Я б ни за что сменить не смог
Твоей руки тепло большое
На плит могильный холодок!..

...На протяжении всей недолгой творческой жизни Васильева критика не баловала его лестными отзывами. «Кулак», «кулацкий», «воинствующий натуралист» — такие эпитеты всегда были в ходу при оценке творчества поэта. Со временем критики даже перестали подкреплять свои обвинения хоть какими-то аргументами, полагая, что у читателя уже сформировался стереотип отношения к Васильеву, как к врагу. Д. Мирский в статье «Вопросы поэзии» походя бросает такую фразу: «Всякий сколько-нибудь ловкий стихотворец легко научается писать так, чтобы выходило похоже на большевистское чувство. Даже П. Васильев писал первомайские стихи».

Надо сказать, что князь Дмитрий Петрович Святополк-Мирский, вернувшийся из эмиграции в 1932 году, сам сумел удивительно быстро приспособиться к новым условиям.

В 1936 году, когда Васильев в очередной раз вышел из тюрьмы и стихи его вновь появились на страницах периодики, критика отнеслась к поэту еще настороженнее. Единственный, кто решился опубликовать статью о поэзии Васильева, был А. Тарасенков. Статья называлась — «Мнимый талант».

А когда Павел Васильев был арестован в третий и последний раз, в газетах начался самый настоящий шабаш.

Выступая на страницах «Литературной газеты», В. П. Ставский вопрошал: «Как могло случиться, что в числе группы ближайших сотрудников журнала (имеется в виду «Новый мир».— Ред.) подвизался враг П. Васильев. Нашей общественности стоило немалого труда разоблачить этого заклятого врага советской власти, доказать советскому суду необходимость привлечения его к ответственности за хулиганство, от которого «до фашизма расстояние «короче воробьиного носа» (А. М. Горький). Он был призван к ответу, суд его осудил.

Через довольно продолжительный срок Васильев был освобожден. И вот нашлись у него сразу покровители (И. Гронский), начали печатать и принимать к печатанию его контрреволюционные издевательские произведения в «Новом мире», начали оказывать ему большую материальную поддержку. Кому? Заклятому врагу, ныне изобличенному до конца. И все это вопреки предупреждениям писательской общественности...»

За Васильева били не только «Новый мир». Страсти разгорелись до такой степени, что от обвинений в «попустительстве врагам народа» пришлось обоpонять даже Елену Усиевич — автора большой статьи о творчестве П. Васильева. О содержании статьи говорило ее название — «От чужих берегов».

«Но вот Елена Усиевич,— размышлял на страницах «Литературной газеты». А. Безыменский.— Она провозгласила П. Васильева — поэта тысячи и одного хулиганства — грядущим поэтом народных миллионов. Она объявила Ярослава Смелякова светлой надеждой советской поэзии. Оба — и Васильев и Смеляков — контрреволюционеры. Значит ли это, что Елена Усиевич, наш товарищ, член партии, причастна к преступлениям Васильева и Смелякова? Ни в коем случае! Но не политическая слепота налицо? Налицо!»

«Слепы» были не все. Налицо была «политическая зрячесть» группы писательских жен (Т. Ивановой, Э. Финк, Ф. Лейтес, А. Нейштадт и др.), решивших принять участие во всеобщем разоблачительстве. О результатах проведенного мероприятия они сообщили в «Правде»: «...По поручению Литфонда мы произвели жилищно-бытовое обследование писателей.

На квартире писателя Гарри наши товарищи-обследовательницы застали омерзительную пьянку средь белого дня. Пресловутый П. Васильев сидел за столом без платья... вдребезги пьяный и ругался площадной бранью...» Нет смысла цитировать эту бульварщину дальше. Даже не верится, что держишь в руках центральную партийную газету.

Еще в течение нескольких месяцев после исчезновения Васильева упоминания о нем то здесь, то там можно встретить в печати. Целую страницу ругани посвятил поэту В. Кирпотин в обзоре «Журнал «Новый мир» за 1936 год». Уже упомянутый нами А. Тарасенков уделил абзац своей статьи «На поэтическом фронте» творчеству «кулацкого бандита» Васильева. В 1938 году писать и говорить о П. Васильеве перестали. Единственную книгу — изданный небольшим тиражом «Соляной бунт» — легко было изъять. Газеты и журналы с его стихами мало кто хранил, а в библиотеках и они стали недоступны читателю. И стихи, и само имя поэта на долгие годы были преданы забвению.

...6 февраля 1937 года. Мы с Павлом решили провести выходной у наших друзей — Касаткиных. Приехали к ним на Новинский бульвар накануне вечером, чтобы наутро, не теряя времени, Павел сел за работу.

С полудня начал звонить телефон. Павел просил сказать, что его нет. Звонки продолжались. Наконец я не выдержала и поинтересовалась, кто спрашивает Павла Николаевича. Звонивший назвался «доктором Филипповым». Я пошла в комнату, где работал Павел.

— Подойду. Видно, все равно не отстанет.

Разговор длился минут десять. Человек настойчиво убеждал Павла куда-то пойти, тот не менее настойчиво отказывался.

— Кто это? — спросила я, когда муж положил, наконец, трубку.

— Да так, один...— нетерпеливо бросил Павел, снова берясь за ручку.

Вечером мы собирались навестить Гронских. Перед отъездом Павел решил сходить на Арбат, в парикмахерскую, побриться.

— Я с тобой,— попросилась я.

— Не выдумывай. Я скоро вернусь...

Он ушел с сыном хозяина дома. Прошло томительных полчаса. Юноша вернулся один.

— Витя, где же Павел?

— Лена, я ничего не понимаю. Мы вышли из парикмахерской. Возле дверей стояла машина, Павла затолкнули на заднее сиденье и увезли.

Ни в какие гости я, конечно, не поехала. Осталась ночевать у Касаткиных. Павел не вернулся. Ждала и на другой день — тоже напрасно. Я думала, что с Павлом приключилась очередная история вроде «драки с Алтаузеном», и потому обратилась в МУР. «Не задержан»,— ответили мне.

Через два дня к Касаткиным приехали с обыском. От них меня привезли на нашу с Павлом квартиру, где тоже учинили обыск. Два огромных мешка набили рукописями Павла. Забрали фотографии. Единственное, что я не отдала,— «Соляной бунт» — муж успел издать только эту книжку.

Я поняла, что на Петровку обращаться бесполезно — на этот раз все оказалось куда серьезнее. Начались мои долгие хождения по присутственным местам. Была в прокуратуре на Большой Дмитровке, 15. Там меня целый день гоняли из одной комнаты в другую... Потом была где-то на Никольской, там, по слухам, давали точные сведения обо всех задержанных. Была и на Кузнецком, 24... Везде слышала один и тот же ответ: «Не задержан». Это могло бы повторяться до бесконечности, если бы не научила одна женщина:

— Обойди все тюрьмы. Где примут передачу для мужа, там он, значит, и сидит.

Передачу — 50 рублей — приняли в Лефортовской тюрьме.

— Слава богу, что он у вас. Нашелся! — вырвалось у меня.

Из окошечка уставились удивленные глаза тюремщика:

— Следующую передачу можете принести через месяц — 16 июля.

Через месяц в том же окошечке передачу не приняли:

— Вчера ушел с этапом.

На Кузнецком мне выдали справку: «десять лет дальних лагерей без права переписки».

В 1937 году я, конечно, не могла знать, какая страшная правда скрывается за формулировкой «без права переписки». Но в любом случае помочь Павлу в чем-нибудь я была уже не в силах. Я осталась совсем одна. Гронским после ареста мужа я уже не звонила, чтобы не навести на них тень. Да и вряд ли Иван Михайлович смог бы на этот раз вызволить Павла. Вокруг него самого все трещало и ломалось. Газеты наперебой ругали Гронского, «пригрел», мол, в «Новом мире» «троцкистских бандитов»: Васильева, Корнилова, Пильняка... Позже я узнала, что Иван Михайлович пытался заступиться за многих, но после звонка Сталину в защиту Тухачевского к Гронскому домой пришли сотрудники НКВД и срезали кремлевскую «вертушку». Арестовали Ивана Михайловича 1 июля 1938 года, но когда это произошло, меня в Москве уже не было — за мной пришли 7 февраля — через год и один день после ареста Павла...

...Поздно ночью в дверь нашей коммуналки позвонили, а затем тихо, но настойчиво постучали в мою комнату. Я открыла. Вошли трое в форме НКВД, предъявили ордера на обыск и арест.

После прошлого визита сотрудников этого наркомата в доме почти ничего не осталось из материалов Павла, но они еще долго копались в альбомах и книгах, искали рукописи и документы. Наконец, удовлетворившись несколькими экземплярами «Соляного бунта», попросили меня «следовать за ними».

Трудно было поверить в то, что это — арест, впереди — тюрьма. Из вещей я догадалась взять, да и то только потому, что на дворе была зима, беличью шубку — подарок Павла. Шубке этой суждено было еще долгие годы согревать меня в стужу. Комнату опечатали. Меня посадили в машину и привезли на Лубянку. Впереди были сотни дней и ночей, проведенных на нарах, в бараках и под открытым небом, в зной и в дождь.

Многое выбито побоями и надругательствами из памяти, но первые сутки, именно сутки, так как теряешь счет времени, ночь превращается в день и наоборот, останутся ясными до конца дней моих.

Сопровождающий сдал меня дежурному: «Примите арестованную». Принесли бумагу, где вся жизнь Вяловой Елены Александровны была расписана по строчкам и графам. Отрезали пуговицы, резинки, вынули шпильки, и все что-то настойчиво искали. Оставили растерзанную, будто перед казнью, — такую и повели в камеру. На Лубянке продержали суток трое и наконец поздно ночью вместе с другими заключенными в фургоне с надписью «Хлеб» перевезли в Бутырскую тюрьму.

В комнату вводили по очереди. За столом сидели человек пять мужчин. Снова бумаги. Заставили раздеться донага. Не вынимая папиросы изо рта, с похабными комментариями, искали на теле «особые приметы». Так прошла ночь. Утром повели по бесконечным лестницам и коридорам. Втолкнули в камеру, где я увидела два ряда длинных нар. На них стояли женщины и махали какими-то тряпками. Подумала, «камера сумасшедших», и потеряла сознание. Очнулась лежащей на нарах с мокрым полотенцем на голове. Оказывается, женщины вернулись из бани и сушили жалкие остатки своей одежды. Прошло много времени, прежде чем меня повели к следователю. Через бесчисленные коридоры и лестницы, с лязганьем ключей, гулкими шагами сапог.

Войдя в кабинет, я увидела за столом худощавого мужчину с неприятным злым лицом. Фамилия его была Вихнич. По неопытности села без разрешения. Он долго смотрел мне в лицо и вдруг включил бьющую светом прямо в глаза яркую лампу. Я резко отвернулась. Вихнич ударил кулаком по столу и закричал: «Смотреть и не отворачиваться!» Начался допрос. Он настойчиво добивался моего признания в том, что Павел Николаевич Васильев занимался контрреволюционной деятельностью, а я знала и не донесла об этом. Отказавшись подписать протокол допроса, я сказала: «Если бы (чего просто не могло быть) Васильев занимался контрреволюционной деятельностью, то почему он должен был говорить мне об этом? Вы же своей жене не говорите о своей (хотелось добавить — грязной) работе?» Вихнич взбесился, выхватил револьвер и ударил рукояткой мне по зубам. Я схватила чернильницу и швырнула ему в лицо, но, к сожалению, промахнулась и попала лишь в грудь. Вихнич лихорадочно нащупал кнопку звонка: «Убрать... в карцер!»

Заломив руки, бросили в небольшое помещение, шагов пять в длину и три в ширину. Стены обиты резиной. Койка опускается только на ночь. Посередине — привинченная к полу табуретка. Вместо окна — горевшая сутками лампа. Карцер, видимо, был недалеко от кабинета следователя, откуда постоянно доносились рвущие душу крики и стоны, перекрываемые отборнейшими ругательствами. Наказание мое длилось около месяца. Молодость и здоровье, видимо, помогли мне не сойти с ума. Затем снова общая камера, где было нас человек двести пятьдесят. Спали, тесно прижавшись друг к другу, лежали и под нарами до тех пор, пока одна из женщин не вскрыла себе вены осколком стекла. Отчетливо помню одну ночь. Стояла непривычная, пугающая тишина. Казалось, и охрана уснула. Вдруг в открытую форточку донесся мужской сдавленный крик: «Товарищи, прощайте! Я не виноват...» Что тут началось. Крики, припадки, кто-то бросился выламывать дверь.

Через несколько дней вновь вызвали к следователю. К моему удивлению, за столом сидел другой человек. Лампу уже не зажигали. В протокол было записано только то, что я говорила. Вернувшись в камеру, заметила несколько человек новых. Со временем мы познакомились. Помнится, что среди них была и жена Вихнича.

Вскоре был назначен этап. После долгих мытарств по станциям и вагонам нас, человек двести, привезли в Темниковские лагеря, что в Мордовии. Там мы пробыли недолго. Снова этап, но уже ближе к северу, между Ленинградом и Мурманском, на Сегежский бумажный комбинат. Там были до начала войны, в связи с приходом немцев все северные лагеря были переброшены на Урал. Нас в конце концов привезли на пересыльный пункт Карабас, что под Карагандой. В бараках мест не было, разместились под открытым небом. По ночам располагались прямо на земле, шел не дождь, а ливень, я это хорошо помню, так было не один день; днем нещадно палило солнце. Удивительно, что никто не простудился и не заболел. Через две недели перевели в Центральный хутор, который находился в степи, недалеко, километрах в двадцати, была Долинка, где находилось наше управление. А вокруг на многие километры бескрайняя степь. Меня всегда восхищали стихи Павла, посвященные степям Казахстана, но никогда не думалось и не гадалось, что придется провести в них несколько лет своей жизни лишенной всех прав.

Все делалось руками заключенных. Мы делали саман — самодельный кирпич. Выкапывали глубокую яму, куда складывали навоз, глину, резаную солому и все это месили ногами, забивали в формочки, сушили на солнце и получали глиняный кирпич, из которого строили домики. Вскоре с Центрального хутора нас развели, под конвоем, на животноводческие участки. Группы были человек по двадцать заключенных. В нашем этапе были две женщины, совершившие какие-то незначительные уголовные преступления, мы их называли «бытовички». Одна из них была беременна. Колонна достаточно далеко отошла от лагеря, как вдруг начались роды. Женщина повалилась на землю и, схватившись руками за живот, застонала. Мы окружили ее. Охрана с криками «разойдись» стала прикладами разгонять нас. Мы разбежались. Раздался выстрел...

Карашако — так называлась овцеводческая ферма, состоявшая из одного саманного барака и загона для овец. Поначалу пасла отару, голов в двести, потом меня перевели в родилку, где принимали ягнят. Нельзя сказать, что работа была более легкая, но крыша и тепло были рядом. Здесь я заразилась страшной болезнью бруцеллезом. Лечение в общей сложности длилось полтора года, отнимались руки, ноги, лечение проводили переливанием крови тех же заключенных. Врачом в больнице работала сестра Гамарника, также осужденная, как и мы. Очень чуткий, отзывчивый человек. Последствия перенесенной болезни сказываются и по сей день.

В 1943 году кончились мои пять лет, но о свободе лишь думалось и мечталось, а наяву прозвучало сухое канцелярское «до особого распоряжения» — ограничена без права выезда. Освобождение пришло лишь летом 1949 года. Нам разрешили покинуть лагерь и устроиться на работу в пределах Караганды. Долго не могла устроиться на работу, попала в шахтерский поселок Актас, три месяца проработала нормировщиком а шахте 105. Потом работала в гараже до зимы 1956 года. Раньше, в 1950 году, ко мне приехала сестра Ли-

дия с детьми, жена И. М. Гронского, срок заключения которого подходил к концу. Ак-тас входил в число тех мест, где было разрешено селиться бывшим заключенным. Наша встреча с Иваном Михайловичем произошла в конце апреля 1953 г., через год он уехал в столицу. В конце 1955 года я получила от него письмо, в котором он советовал все бросить и ехать в Москву. Разрешение на выезд я получила, купила билет, собрала свои небольшие пожитки и села в поезд.

Прошло 18 лет после февраля 1938 года. Увозили меня на Лубянку двадцативосьмилетией Елкой, Леночкой, а вернулась в столицу Еленой Александровной. Лучшие, полнокровные годы прошли в тюрьмах, лагерях, пересыльных пунктах, по чужим углам. За что? За то, что любила и не предала талантливого, писавшего прекрасные стихи человека? Во всяком случае, я разделила участь своего поколения, до конца испила чашу...

Москва. Дом Гронских вновь стал и моим домом. В конце февраля 1956 года Иван Михайлович и я написали письма Молотову с просьбой помочь реабилитации Васильева, через четыре дня мне позвонили из ЦК КПСС и предложили обратиться в Гослитиздат для заключения договора иа издание произведений поэта. Я не ожидала этого, и у меня невольно вырвалось: «Но он еще ие реабилитирован!» В ответ прозвучало: «Идите и заключайте договор».

На следующий день я сидела в кабинете главного редактора издательства ГИХЛ, где собралось много сотрудников, пришедших посмотреть на жену Васильева, человека, который вернулся через многие годы лагерей в Москву. Мне кажется, что редактором ГИХЛ был Котов, он-то и посоветовал мне обратиться к Павлу Леонидовичу Вячеславову, у которого, он знал, храиятся стихи Павла Васильева. После ареста Васильева он собрал все что мог, вырывая из журналов, и хранил это в деревне у матери. Многим мы обязаны ему за сохранение поэтической жизни Павла Николаевича Васильева.

В конце 1957 года сборник был подписан к печати и вышел в свет 25-тысячным тиражом. Работа над ним была напряженной, но мы, составители — Вячеславов и я,— чувствовали огромную ответственность и радость, завершив ее.

Надо сказать, что к Молотову Гронскому и мне пришлось обратиться еще раз — по вопросу восстановления Васильева в члены Союза писателей СССР. Привожу второе письмо полностью, так как оно, помимо всего, объясняет отдельные моменты биографии поэта[5]. Одновременно приходилось оформлять документы, бегать по соответствующим инстанциям, собирать разные свидетельства и справки, иеобходимые для реабилитации как Павла, так и своей. Хорошо помню день, когда вызвали на улицу Кирова. Встретил меня средних лет мужчина, в отличие от своих предшественников, вежливый и корректный в вопросах. Из сейфа он достал обьемистую папку и положил иа стол: «Дело Васильева! Хотите посмотреть?» Я смогла лишь молча кивнуть головой. На первой странице были помещены фото Павла с какой-то непостижимой, невиданной тоской в глазах, а чуть ниже — отпечатки пальцев — отпечатки пальцев Поэта. Эти кольцеобразные рисунки показались тайнописью, последним посланием к нам, оставшимся в живых.

— Елена Александровна! Кто может дать поручительство за Васильева?

Я без колебаний назвала Гронского и, подумав, Санникова Г. А. Расспросив о работе над сборником, он подбодрил меня и, пожелав всего доброго, проводил до двери. Для сегодняшнего читателя это покажется малозаметной деталью, но для нас, бывших десятилетиями бесправными, это значило многое. Медленно, но неотвратимо наступали новые времена. 2 июля 1956 года я получила на Павла и себя справку о реабилитации.

Приближается 80-летие со дня рождения П. Н. Васильева. В Алма-Ате готовится к выходу в свет книга воспоминаний друзей и близких поэта. Надеюсь, что в скором времени появится и собрание сочинений. Хотелось бы увидеть мемориальную доску на доме, где он жил и работал последний год своей короткой жизни: «Москва, в Москве 4-я Тверская, та самая, что названа Ямской. На ней найди дом номер 26, в нем, горестном, квартира 10 есть...». Одним словом, мы должны сделать как можно больше для выполнения своеобразного завещания поэта, которое последней строчкой звучит в стихотворении «Прощание с друзьями»: «Про меня ж, бедового, спойте вы...»

ПОДГОТОВКА ТЕКСТА И КОММЕНТАРИИ Д. ГРОНСКОГО И Н. БЕЛОВА.

---

[5] 15 декабря 1988 г. я получила ответ на запрос из военной коллегии Верховного суда СССР: «Васильев Павел Николаевич осужден военной коллегией Верховного суда СССР 15 июля 1937 г. к расстрелу по ложному обвинению в том, что был якобы участником контрреволюционной Террористической группы правых Сведениями о дате приведении в исполиение приговора не располагаем, но известно, что по существовавшему в то время положению такие приговоры исполнялись немедленно после их вынесения. Места захоронения осужденных к расстрелу не фиксировались... Большими сведениями не располагаем, т. к. прекращенное дело Васильева П. Н. в 1958 г. было направлено нами в КГБ СССР».

В полноте информации этого ответа я нвчала сомневаться, прочитав в № 36 еженедельника «Семья» статью А. Мильчакова «Пепел казненных стучится в иаши сердца».